НЁМАН

2/2012
ФЕВРАЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкая*

Подписано к печати 04.02.2012 г. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,22. Тираж 3280. Заказ 324.
Цена номера в розницу 12 500 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



АЛЕНА БРАВО

Эффект присутствия

Рассказы

Змея, покрытая перьями птицы Солнца

И даже после того, как главный врач, ее ровесник, с крашеными, что ли, волосами и на удивление ухоженными ногтями, раздраженно пояснил, что он здесь ни при чем, область взяла да и прекратила поставки, ведь всего на всех, разумеется, не хватает («Вы же не маленькая, понимаете — экономический кризис, так откуда в бюджете возьмутся деньги?» — громко увещевал он, как она сама когда-то, будучи учителем, распекала хулиганистых школяров), — он, кстати, добился своего: на мгновение ей действительно стало стыдно, как будто она пришла требовать для себя каких-то незаконных льгот, — так вот, даже после того, как этот озабоченный своей внешностью деятель, демонстрируя тонкую кожу импортного пиджака, театрально развел руками — мол, ничем помочь не могу, — она не догадалась еще про энтропию. Тысячу раз, а может, и больше — никто не считал — объясняла она ученикам физико-математического колледжа второе начало термодинамики, быстро писала на классной доске формулы, мел крошился в уверенных пальцах, — но в том кабинете просто растерялась, как девчонка, и мысль про энтропию, приди она в тот момент, показалась бы ей, вероятно, неуместной. Да и что, скажите на милость, было ей за дело до *остывания* любых систем — а хотя бы и до тепловой смерти Вселенной, которую предсказал Клаузиус! — ее в то мгновение волновала лишь собственная смерть, которая не заставит себя долго ждать, если бывшая учительница физики, а теперь пенсионерка Валентина Валович не добудет то, за чем пришла. И поэтому, вспомнив, как главврач заруливал на шикарной тойоте во двор, полный добитых «скорых», она овладела голосом и достаточно твердо спросила, сколько ей еще ждать. «Не знаю. Покупайте препарат в Минске». — «Но у меня скромная пенсия». — «Ну покрутитесь как-нибудь! — нервно повысил голос доктор. — Между прочим, вы не одна такая. У нас в городе это лекарство необходимо трем сотням женщин!»

Бессонной ночью, уставившись в каменный колодец двора, — приглушенно-голубой свет в окне дома напротив напоминал о процедурном кабинете в онкологическом стационаре, где по вечерам синели кварцевые лампы, — она пыталась понять, почему в бюджете нет денег, если с осени квартплата взлетела до небес. К примеру, за свою двухкомнатную ей приходится выкладывать теперь аж пятьдесят шесть тысяч «бээр». Метастазов у нее, слава богу, не обнаружили, и потому льгот по квартплате нет никаких: среди онкологически больных этими льготами дальновидно наделяют только умирающих. «Ты все сидишь, Валентина, а я вот суб-си-ди-ю выбегала», — похвалилась соседка, тоже пенсионерка. Обратилась и она за той субсидией. «Вот если бы пенсия у вас была на восемь тысяч меньше… и квартира однокомнатная...» — проблея-

ли в домоуправлении, и она не стала спорить, пошла себе, думая лишь о том, чтобы поскорее выбраться из поля действия бюрократического магнита, который искривляет все простое и понятное в соответствии со своими магнитными линиями, не имеющими ни начала, ни конца. После оплаты «коммуналки» у нее оставалось пятьдесят тысяч. Жить было можно (ела она — клевала поптичьи, одежду старую перешивала), даже сыну помогать умудрялась. Пока тамоксифен был бесплатный.

Эти таблетки при выписке из стационара молодой хирург, которому она, стесняясь, сунула десять долларов «на развитие науки», рекомендовал ей принимать на протяжении пяти лет после операции, не пропуская ни одного дня, потому что химическое вещество, которое сдерживает рост клеток-убийц, быстро выводится из организма. И она, думая, конечно же, про сына — потому что только ради своего мальчика и держалась за жизнь! — педантично принимала препарат ежедневно. Но вот он исчез из всех аптек райцентра, и льготные ее рецепты (недолго радовалась, что хотя бы это бесплатно) превратились в бесполезные бумажки с круглыми печатями.

Неужели три сотни ее землячек, с горечью думала Валентина, многим из которых еще поднимать детей (из всех ее знакомых по онкологической палате только у нее был взрослый сын), — неужели нас, несчастливиц, просто *кинули*? Словечко из лексикона внучки — как все языковые «эксцентризмы», пульсирующе-горячее, живое; внутри языка, впрочем, тоже происходили какие-то необратимые процессы (возрастание энтропии, но это Валентина поняла позже): отдельные слова *остывали*, превращались в мертвые оболочки-скорлупы, внутри которых — пустота. Когда она почувствовала это впервые? В кабинете главврача? Или еще раньше — в онкологии? Кстати, там, в онкологии, она от тоски взялась читать зарубежный роман, книжка принадлежала самой младшей из них, студентке Светлане, — в том романе муравьи сожрали новорожденное дитя, оставив от него лишь оболочку. Такие вот выпотрошенные оболочки остались от слов «СОВЕСТЬ», «СОЧУВСТВИЕ», «ЛЮБОВЬ». Разве в наших больницах — да и не только в них! — завелись мифологические термиты, горько усмехалась она, но и тогда — не задумалась еще про энтропию.

Вместо этого записалась на прием к депутату, за которого голосовала на выборах, — он изредка приезжал из столицы, где устроился, в родной округ. «Не ходи, пустое, — отговаривал ее Андрей, сын, по детской привычке низко наклонив голову над тарелкой супа, — машиностроительный завод, где он за сто пятьдесят тысяч в конструкторском бюро «кантовался» (так выражалась невестка, сватья же говорила: «просиживал штаны»), — завод тот был в двух шагах от ее дома, и в обеденный перерыв сын забегал перекусить (в столовой было дорого). Приходил и пересказывал услышанное от Наташи, жены, которая работала на том же заводе на складе цветных металлов: как директор с подельниками «одолжили» на складе «энзе» — стратегический запас сырья, который лежал на чрезвычайный случай, как сделали из того металла неучтенную продукцию, как загнали ее, а денежки, само собой, прикарманили, как списали и заменили — так ловко, что ни одна проверка не подкопалась, — израсходованные медь и серебро на новые (не с помощью ли того самого депутата — прежнего директора завода?). Потом Андрей, как обычно, переходил к личному, жаловался на нищету: дочка болеет, нужны лекарства, хорошая еда, а зарплату копеечную снова задерживают… жена, чтобы подзаработать, потянулась на Белостоцкий рынок за товаром и, взвалив на плечи огромный ковер (заказ директорской секретарши), с ним и свалилась... разумеется, товарки втащили ее в автобус вместе с проклятым ковром, но теперь Наташа лежит — не поднимается, скрипит зубами от боли в позвоночнике...

От монотонного голоса сына, дрожания его пальцев (в последнее время, жаловалась невестка, он все чаще возвращался домой выпивши, говорил, друзья угостили), от его затравленного вида в левой груди, где прежде была опухоль, начинало как будто бы покалывать тупой иглой и хотелось сделать что-то невероятное, но что она могла сделать? Разве что швырнуть на стол перед тем депутатом бесплатные инвалидные лифчики, которые получила на протезном заводе: пускай забирает назад свою «льготу» обедневшее государство, а она, Валентина, обойдется как-нибудь, перешьет старые, только бы триста женщин их города могли по-прежнему получать тамоксифен! Да, она, как и те женщины, должна была жить, потому что никогда еще сын не казался ей таким беззащитным — даже тридцать пять лет назад, в роддоме, когда акушерка положила рядом два свертка с одинаковыми красноватыми мордашками (сейчас в роддоме двое родов одновременно — редкое чудо); то, второе дитя продолжало себе спать, не уразумев еще, что навсегда выкатилось спелым яблочком из райского сада, а ее сынок нетерпеливо, с гримасой страдания на личике, крутил головой туда-сюда, пока не ухватил в рот краешек казенного одеяльца, в которое был запеленут, не начал жадно сосать ту пожелтевшую, в разводах марганцовки, тряпку... Ах, Господи! Ей в тот момент зашивали что-то там, внизу, разорванное новой жизнью, только что рвавшейся из нее бешено, напролом; она видела, как мелькает в руке врачихи иголка с ниткой, но боли не чувствовала — только счастливое умиление… Поздней она узнала, что некоторые женщины способны пережить в родах невероятное наслаждение, более сильное, чем оргазм, — наверное, она была из таких. Та нежность, что затопила ее, когда акушерка оголила ей грудь и поднесла дитя, чтобы оно высосало первые капли молозива, — та нежность была наслаждением куда более сильным, чем неуклюжие дергания в кровати с мужем, который быстро ушел от них и про которого она не любила вспоминать.

Но было в том счастье с самого начала что-то чужеродное, червоточина в райском яблочке: страх. Да, именно в то мгновение, когда розовый ротик начнет требовательно и неумело теребить ее сосок, она почувствует… страх смерти, который с того времени уже не оставит ее, да, не оставит. И теперь, когда взрослый сын растерянно сидел перед нею, низко склонив голову, она ощущала, как страх покалывает в груди тупой иголкой, подбирается к сердцу. Ей нельзя умирать! Как же Андрей останется без нее в этом мире мертвых слов и выпотрошенных понятий?! Но... нитка, которая казалась бесконечной, выскользнула из узенького ушка, иголка превратилась в имитацию древнего инструмента смерти.

Валентина оттолкнула лезвие остро наточенной косы и пошла-таки к депутату. И только там, увидев в приемной лицо народного избранника — багровое, точно разломанный арбуз, с черными мелкими семечками глаз, и этими алчно поблескивающими глазками со стороны увидев себя — интеллигентную женщину в старомодной шляпке, с желтовато-пергаментной кожей обвисших щек, она внезапно — так в миг катастрофы асфальт, которому положено мирно лежать под ногами, занимает вдруг место неба — догадалась, наконец, про энтропию.

Догадалась? Нет. Это не было усилием ее мысли; скорее, было похоже на то, что *кто-то другой* написал мелом на школьной доске, с которой стерт весь предыдущий, отлично усвоенный материал, — написал на поверхности ее сознания, словно на доске, хорошо знакомую формулу, которая — вот это-то и потрясло! — оказалась чем-то большим, чем просто соотношение между энтропией S и термодинамической вероятностью W. Природные процессы всегда стремятся перевести материальную систему в такое состояние, в котором она имеет наибольшие шансы сохраниться неизменной. Иными словами, дети, вероятность выживания системы и есть энтропия. Изящный храм навер-

няка будет разрушен, поскольку имеет низкую энтропию, а булыжник пролежит столетия. Горячие вулканы рано или поздно потухнут и застынут плевками мертвой лавы, которая никогда уже не воскреснет, зато такой плевок сохранится, вероятно, до конца времен, ведь энтропия у него высокая. Возможно ли, что и человек подчиняется тому же закону? Как и любая материальная система, он склонен к саморазрушению, и, по-видимому, тем в большей степени, чем больше в нем собственно человеческого. Теперь вам, наконец, понятно, дети, почему СОВЕСТЬ, СОСТРАДАНИЕ и… правильно, ЛЮБОВЬ! — ограничивают наши шансы на выживание? Просто-таки сводят их к нулю! Зато все грубо-толстокожее, примитивное имеет завидную энтропию и, соответственно, беззаботное существование — язык не поворачивается назвать это жизнью, да и не жизнь это, а почти что состояние неорганической материи. Ведь человек во Вселенной отличается именно любовью и способностью к самопожертвованию... Но не все ли равно той человеко-системе с лицом-арбузом и цепкими глазками, в какую именно категорию зачислит ее бесстрастный Высший Разум, — если Он, конечно же, есть, а все эти мысли, которые *некто* пишет мелом на доске ее, Валентины, сознания, — не болезненный бред?

...О, те мертвые человеко-оболочки всегда хорошо «устроены», и перекормленные их дети лениво жуют жвачку за окнами недешевых авто! Напрасно ходила она по кабинетам сытых: никогда они не пойдут вопреки закону энтропии, не посочувствуют другому. Сгорбившись, словно состарившись в одно мгновение, она покинула приемную депутата, так и не поговорив с тем, к кому пришла.

А что же из всего этого следует? — уже дома продолжала она в мыслях свой урок, монолог, так сказать, перед пустым классом (ученики давно на каникулах, и лишь чудак-учитель одиноко стоит у доски с мелом в побелевших пальцах), — а результат, дорогие мои, простой: если человек не поддается всеобщему оскотиниванию, приходит смерть со своим древним инструментом. Да, смерть подчиняет-таки отщепенца железному закону, поскольку прах, в конце концов, имеет максимальную энтропию.

Она, Валентина Валович, с самого начала была осуждена на поражение в этой борьбе со смертью, потому что любила и боялась, а страх и любовь — самые человеческие из всех чувств. Да и что есть любовь к ребенку, если не вечный, ни на мгновение не отпускающий страх, который, точно жало змеи, раздваивается на страх умереть самой (ведь до боли жаль дитя, которому оставаться в чужом враждебном мире) и страх за его жизнь: без сына терялся смысл и ее существования. В детстве Андрей часто болел, однажды у него случился приступ фебрильных судорог, — боже, она едва не сошла тогда с ума, и хоть врачи объясняли после всех обследований, что никакой эпилепсии у ее мальчика нет и судороги могут больше не повториться, она все же не поверила эскулапам и впадала в панику, стоило Андрею простудиться. Ночи просиживала у его постели, следила за спящим, не дрожат ли у него, упаси Господи, ручки и ножки. От уроков физкультуры, сельхозработ освобождала его, униженно выклянчивая справки у школьного врача. Когда он учился в институте, добывала «освобождения» от стройотрядов. Наконец сын устроился на завод рядом с домом, женился… Она вздохнула с облегчением, но тут грянула эпоха перемен. Товарищи Андрея поуходили с умирающего предприятия, начали «крутиться», заимели собственные дома и машины, а он продолжал сидеть в КБ, вычерчивать ирреальные картинки никому не нужных агрегатов, жить с семьей в деревянной пристройке к тещиной хате…

Все чаще сын являлся к ней навеселе — и это с его-то здоровьем! Пьяный, бывал с нею ласков, как в детстве, — ее маленький мальчик! — а протрезвев, молча лежал на диване и курил или жаловался на жизнь погасшим,

монотонным голосом, и ей делалось страшно: казалось, перед нею не сын, а его пустая оболочка. Догадывалась, что жена и теща регулярно «пилят» его за безынициативность, неумение заработать более-менее приличные деньги, и неизвестно чего стыдясь, — это же ее ребенок, кровиночка! — тихонько совала ему в карман сэкономленную от пенсии десятку. Чтобы не огорчать Андрея, солгала, что побывала на приеме у депутата: «Знаешь, он обещал, добрый человек, разобраться и помочь!» — и сын, как ни странно, этим удовлетворился, не интересовался больше, получила ли она препарат; не успокоилась только невестка — кстати, именно Наташа вытолкнула его сегодня с кипой бесплатных рецептов на утреннюю электричку в Минск: «Мать умирает, а ты так и будешь лежать, смолить в потолок?»

Ну что же, не один ее сын такой, утешала она себя, стоя у окна в ожидании, — двор был застелен простыней снега с желтым пятном собачьего следа посередине, с больничным штампом почерневшей от сырости песочницы, — не один Андрей наливается по вечерам дешевым «бырлом»: таковы большинство мужчин в их городке. Сейчас — только сейчас! — она начала понимать, что тянутся к алкоголю тоже, наверное, из-за энтропии: таким образом мужчины заставляют замолчать совесть, сочувствие и страх, временно *уподобляются мертвым*. Но по утрам они просыпаются в еще большем страхе и отчаянии, в железных тисках тоски. И… сводят счеты с жизнью, умирают от болезней. Так, умирают на самом деле.

Да и разве чего-нибудь стоит такая жизнь?!

Эти мысли взволновали ее, сильно взволновали; тем временем ветер за окном ошалело бился, как клаустрофоб, в замкнутом пространстве из четырех пятиэтажек, и так же билась в клетке привычных представлений ее душа… Вспомнилась студентка Светлана, соседка по онкологической палате, — на тумбочке у той лежало много книг, она, Валентина, еще подумала: вряд ли девушка успеет все прочитать: прямо на глазах сжирал ее быстротечный рак. Светлана однажды рассказала им, несчастным бабам, про каких-то людей, которые живут вопреки закону энтропии — живут, не убивая в себе любовь, а, наоборот, распространяя ее на все вокруг. А смерть приходит к ним тогда, когда они *внутренне дают на это согласие*, ведь смерть, наподобие школьной учительницы, всего лишь стирает с классной доски усвоенный материал, превращая ее гладкую поверхность в имитацию нетронутых вод, над которыми носился Божий Дух… Да, те люди, словно бессмертные боги, сами творят свою судьбу от начала до конца.

Валентина тогда лишь усмехнулась: разве существуют люди, которые не боятся смерти? А теперь задумалась: кто знает, может, и правда есть такие. Ветер разъяренно бросался на стены домов, аж дрожали металлические карнизы, а потом взмывал выше крыш, и оттуда, выгибая по-змеиному гибкий хребет, дул в трубу бетонного колодца… В одной из тех книжек, что читала Светлана, — Валентина взяла ее полистать, чтобы прогнать страх и боль после операции, — был рисунок, на котором изображался бог Ветра древних индейцев. «Змея, покрытая перьями птицы Солнца» — так звучало странное имя этого божества, нелепого, с ее точки зрения, создания: не имея настоящих крыльев, Змея не могла летать, а перья вдоль туловища, пусть даже и были они как у птицы Солнца, только мешали ползать по земле. Тогда Валентине, разумеется, было не до языческих суеверий, а теперь, слушая вой ветра за окном, она упорно размышляла над тем, для чего той Змее ангельское оперение.

И на самом деле — для чего?..

Хлопнула входная дверь; Андрей, худой, в поношенной куртке и вязаной шапке, небритый, прошел в комнату, выложил на стол ненужные бумажки с круглыми печатями: «Зря съездил. Бесплатно по местным рецептам в Минске

не дают». Оторвалась от окна: «Я же говорила, сынок, не надо было и время терять…» Подошла, обняла своего мальчика. И — отшатнулась: в лицо ударил запах алкоголя. Он понял, отстранился, неохотно объяснил: «Друга встретил в электричке, он пивом угостил… Кстати, — продолжал Андрей, — купить препарат в столичных коммерческих аптеках можно, я подсчитал: на месячный курс надо около двадцати тысяч».

Смотрела, как он ест, низко наклоняясь над варевом из субстанции, которую лишь с присущей торговле склонностью к эвфемизмам можно назвать суповым набором. Ветер бился о землю, словно содрогаясь в экстатическом танце под бубен шамана… Невольно она подсчитала все, и когда сын встал из-за стола, уже знала расклад: пенсия — 106 тысяч, квартплата — 56. Тамоксифен — 20. На существование телу, еще живому, еще требующему каких-то забот о себе, остается 30 тысяч рублей. Словно прочитав ее мысли, Андрей хмуро сказал: «У меня через неделю получка. Если не задержат, конечно. Куплю тебе твое лекарство». Ее слух неприятно резануло «тебе, твое», но дело было не в этом: внучка, прозрачная голубоватая кожа похудевшего личика, огромные глаза… Внучка уже месяц лежала в больнице с воспалением легких. «Не вздумай! — решительно сказала она. — Деньги потрать на дочь. Купи фруктов, витаминов...» — «Куплю тебе твое лекарство», — с пьяной настойчивостью повторил Андрей.

После его ухода помыла посуду, убрала в квартире. Сейчас сын вряд ли осознает, что сказал; но завтра, протрезвев, окажется перед невозможным, нечеловеческим выбором: кого спасать — мать или дочь, на кого потратить последние деньги. В нем проснутся еще живые совесть, сострадание, любовь, которые не поднимут его на крыльях вверх, не заставят действовать — на это он не способен, а еще ниже пригнут к земле, как, наверное, отяжелевшие от дождя, запачканные грязью солнечные перья — ту неуклюжую Змею. И он не выдержит, опять побежит за бутылкой, чтобы забыть про тот ужасный выбор…

Подошла к телефону, набрала номер. Ответила сватья. После стандартных вопросов о здоровье — на месте левой груди между тем кололо тупой иглой — попросила позвать Андрея. «Спит твой Андрей, — не без ехидства отозвалась сватья. — Дрыхнет без задних ног». — «Тогда передайте ему, пожалуйста, Антонина Петровна, только сразу же, как проснется: мне только что позвонили от нашего депутата… так вот, он разобрался, помог! Тамоксифен завтра поступит в городские аптеки, и я снова буду получать его… бесплатно…»

Вернулась на кухню. В прооперированной груди снова почувствовала как будто пульсацию. Она купит препарат на свою пенсию, да, купит. Главное сейчас — спасти внучку. А тридцать тысяч, что останутся от пенсии, — это полбуханки хлеба и пакет молока на день. Ничего, в войну люди хуже жили. Разумеется, она не сможет больше помогать сыну, но… Андрей должен привыкнуть к тому, что скоро останется в этом мире без нее. Да, без нее. Сколько она выдержит убойную силу химии при такой диете? Месяц? Год? Может, совсем не сможет принимать на голодный, считай, желудок и скоро решит бросить такое лечение-мучение. Впрочем, это уже неважно.

Она, Валентина Валович, больше не боится смерти.

Снова вспомнилась студентка Светлана, ее спокойствие, ее необычайная теплота в отношении к больным и даже грубым санитаркам… Э-эх! Человеку не дано крыльев, чтобы вознестись над железными законами жизни, над собственной немочью и скорой, как ни крутись, смертью; но перья птицы Солнца, глянь, вырастают-таки у некоторых из нас. Как же неуютно с таким украшением на остывшей, пустой оболочке Земли! И не спаслись ни инки, ни майя, не спаслись, когда сошли на берег, и бородатые испанцы Кортеса…

Так для чего же Змее перья птицы Солнца? Для чего?

2002 г.

Сон пионерки

Теперь она обвиняет врачей — зачем обнадеживали, не говорили правды, повторяли пустое — «молодой организм должен справиться», и еще — «надежда умирает последней», даже неврологиня Галина Аркадьевна, которая Раису, конечно, не забыла — как ее привезли сюда два года назад с сорванным позвоночником (таскала неподъемные сумки с Черкизовского), и, выписываясь из больницы почти без боли в спине, она подарила врачихе настоящую люваловскую супницу, а как же, назад забросишь — впереди найдешь. Эту тонкую науку обхождения с нужными людьми Раиса знала, — местная невробогиня, которой она на самом деле верила, как Богу, тоже обманула. У дверей реанимационного отделения Раиса бросилась к знакомому голубовато-седому «ежику» Галины Аркадьевны, ухватилась за ее чистый, ни пятнышка, халат:

— Ну как он?

И та — разумеется, она Раису узнала — сначала сделала слабый жест рукой, как будто хотела прикрыть ладонью рот, растерянно переспросила:

— Так это... ваш сын?

А потом, обученная лгать, зачехлила лицо, словно тем стерильным халатом — свою пеструю блузку (Турция, барахло, Раиса такие давно не возит), не лицо — снеговая пустыня, и, уже на бегу, прошелестела дежурную утешающую фразу, бесцветную, точно кусок бинта.

Надежда умирает последней.

Она отдала бы под суд их всех за то, что заставили ее, как курицу в луже, суетиться и хлопать крыльями, унижаться и клянчить, обещать и угрожать, и — надеяться, надеяться вопреки тому бесспорному факту, который понимали все, кто входил за белые двери реанимационной палаты, где из хрупких человеческих сосудов вытекает жизнь, — двери, за которые ее не пускали. Да, она точно знала, ей сказали, что Василь потерял правый глаз, — ее дитятко выбросило из того проклятого фольксвагена на асфальт в нескольких метрах от покореженных остатков обеих автомашин, такой силы был удар! — и Раиса, неожиданно обнадеженная этой страшной вестью (как будто слепая судьба приняла жертву — васильково-синий глаз, насытилась и все остальное теперь будет, не может не быть, хорошо), принялась лихорадочно звонить в известную офтальмологическую клинику, выяснять, сколько стоит сделать искусственный глаз и можно ли без очереди, простите, вы не расслышали, наверняка можно без очереди, вы просто не в курсе, и добавляла про себя: надо только знать, кому и сколько, — а тем временем мозг Василя умирал, клеточка за клеточкой, и ничем необратимость смерти нельзя было остановить, сколько и кому ни давай на лапу.

Тут буксовали доступные ей рычаги, а других она не знала.

И вот что странно: та лихорадочная, хотя, как выяснилось позже, абсолютно бессмысленная деятельность на некоторое время отвлекла ее внимание и помогла *не отъехать*. Может, в этом и заключен смысл заведомой лжи врачей, если, конечно, ложь может иметь какой-нибудь смысл. Но каково же ей было потом, когда ее надежда умирала, как Василев мозг! В отличие от сына, который так и не пришел ни разу в себя за две реанимационных недели, она ведь все-все чувствовала. И продолжала им, врачам, верить. Только когда они попробовали отключить аппарат искусственной вентиляции легких, а дышать самостоятельно Василь не стал, внезапно все поняла, но и тогда что-то в ней еще цеплялось за безрассудную надежду, и она стала кричать натренированным голосом рыночной торговки:

— Вызывайте медицинскую авиацию! Я заплачу́!

Потому что от кого-то слышала, что *по блату* (а значит, и за деньги) можно вызвать из столицы какую-то непонятную медицинскую авиацию, где будто бы работают самые лучшие врачи. И консультант — надо же! — прибыл, на чем — на вертолете или на гуманитарном реанимационном мерседесе, она не видела, одно ясно — не на машине «скорой помощи» для простых смертных (вот именно — скоро смертных!). Впрочем, какая разница, на чем он приехал, тот доктор. Она ждала у дверей реанимации, пока он смотрел Василя — абсолютно бесплатно, — а потом вышел в коридор в сопровождении завотделением, лысоватый усталый мужчина с мешками под глазами, сам подошел к ней:

— Осталось несколько часов.

Ее впустили в палату. Отведенные сыну часы искусственного дыхания сидела неподвижно, словно тоже утратила способность дышать.

Вечером Василь умер.

После похорон она положила перед собой чистый лист бумаги, полная злой решимости заклеймить и покарать — писать, скорей писать «наверх», жаловаться на бригаду «скорой помощи», которая мало того, что приехала на место аварии с опозданием, так еще не имела с собой какого-то нужного препарата, об этом она догадалась из разговоров врачей (много чего подслушала в коридоре), и, конечно, на них, этих самых реанимационных докторов, которые нагло бездействовали, когда — она в этом уверена! — нужно было предпринять что-то чрезвычайное, тогда Василь наверняка бы выжил, и на кого-то еще, чья вина ею самой пока еще не была до конца установлена... И остолбенела от внезапной мысли, даже ручку выронила: теперь ее жизнь — как этот чистый лист.

Она жила ради сына. Из-за него оставила пригородную школу-интернат для детей «с особенностями» (так теперь называют умственную отсталость), где преподавала рисование, — оставила, впрочем, без сожаления, ей не нравилось возиться с этой заторможенной мелкотой, все как один в бесформенных гуманитарных майках, с чертами алкогольного вырождения на одинаковых, словно по трафарету сделанных лицах. Обостренным нюхом она — первая среди педагогов интерната — почуяла: пришло новое время. И не ошиблась: следом за ней подались в торгаши и другие учителя. Да, она хотела, чтобы у ее Василька все было не хуже, чем у людей, — не тех, разумеется, что навещали в интернате своих потомков: тетки с отекшими лицами, на которых проступали позавчерашняя косметика и свежие синяки, их всякий раз новые (тоже на одно лицо) спутники в грязных спортивных штанах и с неизменным запахом перегара, — а совсем на других людей: сытых, хорошо одетых, дезодорированных, которые рассеянно что-то говорят по мобильнику, не выпуская из рук руль шикарного авто. Завелась уже такая порода и в их провинциальном городе. И она добилась бы своего, обязательно добилась бы! Не земляничное мороженое, между прочим, были все эти годы: моталась по польским да российским рынкам, волокла на себе тяжелые торбы, нажила радикулит, — зато у сына еще в школе было все: и видик, и джинсы, и компьютер с Интернетом, и юркий, как серебристая рыбка, мобильник с цветными картинками. Она клала чудо-телефончик на ладонь, взвешивала, любовалась совершенством плавных линий, всех этих выпуклых кнопок, что горели в темноте голубым светом, и мечтательно улыбалась: будет и у ее Василя такой же серебристый «Фольксваген-гольф» (от одного названия легонько кружилась голова), будет и он так же лениво, положив руку на руль, отвечать по мобильнику какой-нибудь крале с нарисованными на длинных ногтях целыми цветочными композициями: «Да... ну я не знаю... может, вечером... надо спросить у мамы...» Вот-вот — у мамы! В этой последней фразе сходились, как в фокусе, все ее мечты. Потому что ее жизнь посвящена была ему одному, а за любовь по справедливости полагалась награда.

Ничего у нее не было для себя, ничем она не увлекалась, разве что в школьные годы рисовала, и между прочим, не без успеха: ее идейно выдержанная работа «Сон пионерки» (мальчики и девочки с красными галстуками, в синих пилотках, с ненатурально синими, зато прекрасно соответствующими общепринятой символике глазами вскидывают руки в салюте) — ее работа победила на каком-то всесоюзном конкурсе, и учительница рисования как приклеилась: поступай да поступай в художественное, и она, дурочка, послушалась и поступила, а надо было идти хотя бы на бухгалтера. Рисование скоро забросила: влюбилась, родила сына, вышла замуж — именно в таком порядке, и отец Василя, имеющий все же чувство долга, отрисовал за нее все, что было надо, диплом включительно, а потом собрал мольберты, подрамники («Тебе все равно не понадобятся») и ушел к лохматой художнице по батику, с которой, как выяснилось, спутался еще во время ее, Раисы, жестокого токсикоза, и сейчас они вместе создают на местном комбинате прикладного искусства свои «космические» гобелены.

Вообще, с мужчинами у нее как-то не складывалось, хоть она старалась, очень старалась, в ее квартире всегда был настоящий уют и горячая вкусная еда (какие пельмени она наворачивала!), и пол мыла, бешено охотясь за каждой пылинкой, словно кому-то доказывая свою женскую полноценность. Да уж, надежда умирает последней... Таскаясь туда-сюда то за платьями да майками, то за будто бы тефлоновой посудой, первой приходя на рынок со своей палаткой и последней уходя (там, на рынке, она не имела имени, а была «торговое место номер двенадцать»), все надеялась, что если будет очень-очень стараться, у Василя появится новый чудесный папа. Так должно быть! По справедливости! И когда ее последний, ипэшник по джинсовке, исчез, прихватив с собой спрятанные по бабьей глупости в белье три штуки зеленых, она неделю провалялась на диване: отнялись ноги. Лежала, изучая незапланированную трещинку на идеальной белизне потолка: после недавнего, с размахом сделанного ремонта эта трещинка казалась более чем неуместной, ее просто не должно было быть, как не могла жизнь, даже если бы захотела, нанести своим резцом морщины размышления на гладкие лбы ее, Раисы, воспитанников из спецшколы. Где же ошибка? Что она сделала не так? Она ведь честно старалась! Честно! Кухню заказывала по каталогу из Польши, под мрамор, с барной стойкой. Шторы — из Германии. Потолок в сортире подвесной, светильники галогеновые — стрекозиные глазки, и даже, как там его, биде, модный каприз, а то ж, пусть знают: она — женщина современная. Чего им всем не хватало? За неделю неподвижности она так и не решила извечный женский вопрос, вместо этого пришло прозрение: единственный ее мужчина — сын. Он и только он — ее семья, смысл жизни.

Жизни, которая теперь — чистый лист.

…В тот вечер его задержал начальник цеха. Василь позвонил с автобусной остановки:

— Не волнуйся, мама, я опоздаю на ужин.

Она, идиотка, еще и поторопила его:

— Сынок, ты же не любишь разогретое мясо.

— Может, попутку поймаю...

Выехать после семи часов вечера из пригорода, где он работал, было непросто.

А потом он сделался «временно недоступным» (она еще не знала, что — навсегда), так прошло несколько жутких часов, она все жала и жала с тупым упорством на зеленую кнопку, чтобы услышать ненавистную музычку, и проклинала это дурное изобретение — мобильник, без него ей было бы сейчас спокойнее. В двенадцатом часу в дверь позвонили милиционеры.

— Собирайтесь.
— Куда?
— На опознание. Ваш сын в больнице.
— На опознание? Зачем? Опознают же… мертвых?
— Он живой, — коротко ответил старшина.

Хорошо хоть, у нее не совсем отбило мозги от страха — догадалась позвонить отцу Василя (а больше и некому было), — тот всю обратную дорогу, сильно сжимая ее локоть, успокаивал: «Живой, живой», и только через два дня признался:

— Если бы ты его тогда увидела, сама бы рядом легла.

Менты! Вот на кого она будет жаловаться, писать, бить в колокола! Это ж надо — тащить мать на опознание сына! Им только бы свою работу побыстрее сделать!

Чистый лист...

— Вы воспитали дитя для Бога, — сказал ей священник в церкви. Да уж, Бог будет доволен: ее Василек вырос сильным, красивым. Спортом занимался. Не болтался по двору, как другие. Все бы ему листать альбомы по живописи, что от отца остались, все бы тихонько сидеть на диване с книгой.

— Сынок, иди погуляй!
— Нет, мама, я лучше почитаю.

Закончил школу — никуда его от себя не отпустила (да и зачем оно в наше время, образование?), устроила на блатное место — на «мясуху», то есть на свинокомплекс, в колбасный цех, и кроме хорошей зарплаты он приносил домой еще и пайковый довесок: колбасы, сало, копчености. Не могла нарадоваться: ее мужчина приходит с работы, а дома — намытый пол аж блестит, горячий ужин на столе — пожалуйста! Белье «Леопард» душистое (ополаскиватель фирменный из Польши привезла), тарелки люваловские — белые, все в тон, на стенах маски в стиле «афро» — это теперь модно. Не то что у ее бывшего с той лахудрой, Василек там бывал, она выпытала: кухня «Ольга», еще советская, в начале девяностых по записи брали, обивка на мебели заштопанная, на перетяжку денег нет, на стенах картинки, собственноручно намалеванные. Смех, да и только.

— Ты доволен, сынок? Хорошо тебе дома?
— Да, спасибо, мама.

Все больше молчал. Закрывался в своей комнате (дверная ручка итальянская, с защелкой). Рисовал.

— Мама, может, мне... в художественное поступить?

— Зачем, сынок? Работа у тебя — лучше и желать нечего, сытый, обутый, одетый, вот я денег подкоплю, недолго еще ждать осталось — павильон собственный на рынке откроем, сувениры восточные, знаешь, колокольцы, статуэтки — пузатые такие китайцы, картинки из янтаря, в рамочках — настоящее искусство! Сейчас это за милую душу берут. А училище — кому оно надо? Вон твой отец: заказов нет, последний гобелен по его эскизам выткали полгода назад для коронации какого-то азиатского короля, так это ж не каждый день бывает.

Отмалчивался. Не перечил — понимал: мама всегда права. Только как-то совсем редко стал с ней разговаривать.

…Когда на место аварии приехали гаишники, он успел еще назвать свое имя и фамилию (нет, удивительная все-таки штука — человеческий мозг, открытая травма черепа, а он живет и помнит!), а потом, в машине «скорой», только звал маму и какую-то Зою, она всех его знакомых девчат перебрала — не было среди них Зои. А на кладбище... когда засыпáли... она подняла голову,

чтобы набрать в легкие побольше воздуха для крика, и вдруг увидела надпись на соседнем памятнике: Зоя Ивашкевич. Дата смерти совпадает с днем, когда Василь попал в аварию, — это она дома потом подсчитала. А было той Зое чуть больше восемнадцати. Потом, на кладбище, и с мамой Зоиной познакомилась: дочку привезли в гробу из Турции, куда уехала на заработки сразу после школы. В документах написано — передозировка наркотика. Все мечтала про отдельное жилье. Вот и добыла — отдельное…

Получается, теперь рядом с ним будет не она, мать, а та наркоманка Зоя?!

После похорон отец Василя долго сидел в его комнате, перебирал рисунки. Позвал ее:

— Смотри...

На большом листе ватмана — цветными фломастерами: лицо. Разбитое, в крови. Правого глаза нет, вместо него — рваная рана. И, отдельно от лица, немного в стороне, нарисован глаз, целый, неповрежденный. И так тот глаз чудесно выписан, каждый сосудик виден, и радужка василькового цвета, и зрачок…

— Так это он себя нарисовал! Свое будущее!

После сына остался рисунок. После его отца останется гобелен в далеком южном дворце. А после нее, Раисы, — что? Биде с блестящим краном? Так зачем же все было — синие пионерские пилотки, вскинутые в салюте руки, нарисованный костер? Зачем был тот декабрь семьдесят какого-то года, когда мать отправила ее за мандаринами, — огромная очередь на улице около гастронома, мороз градусов под десять, от двухчасового стояния она замерзла до ледяного хруста, но была невероятно счастливой от того, что порадует мать, которая после смерти отца была то хмуро-отчужденная, то разъяренно сметала со стола ее краски и альбомы. Отец был плохим человеком, объяснила Раисе пионервожатая, его распекали на очень важном партийном бюро, а потом выгнали из школы, где он преподавал родную литературу и читал детям неправильные стихи местного поэта, расстрелянного врага народа; после того бюро отец заболел и умер от разрыва сердца, и Раиса, как настоящая пионерка, должна на совете отряда его осудить, и она осудила. Торговка незаметно наложила в ее дырчатую авоську подгнивших плодов, и мать, увидев мандарины с трупными пятнами, влепила ей затрещину. Все новогодние праздники Раиса вместо того, чтобы кататься с девчатами на коньках возле городской елки, провалялась с гнойной ангиной, и в цветном бреду перед ней скакали по снегу оранжевые мандарины, а потом выяснилось, что это и не мандарины вовсе, а прозрачные, похожие на елочные, шары, только внутри каждого горит живой трепещущий огонек. Шары опускались откуда-то с неба, пробивались сквозь слепой снег; некоторые сразу же гасли и чадили едким дымом, а другие продолжали гореть ровным, чистым пламенем.

2005 г.

Эффект присутствия

Я молча гляжу, как она кормит собаку: болонку со свалявшейся шерстью, которая когда-то была белой, а теперь землисто-серая. Ее ночная сорочка, в которой она ходит с утра до вечера, точно такого же цвета. Сдвинув голые жирные ноги, зажав между коленями жертву, что вырывается как может, она старается впихнуть ложку с жидкими мясными помоями в стиснутую пасть. Ее собственное ротовое отверстие, компенсируя недостаток старания со стороны собаки, широко открывается и захлопывается с глухим звуком:

— Гаааааам!

Собака старая и злая. Она громко фыркает, разбрызгивая вокруг себя пищу, полузадушенная туго стянутым на шее клеенчатым «слюнявчиком», который сохранился — кстати, от кого? — ни семьи, ни детей у хозяйки никогда не было.

— Уна, солнышко! Еще ложечку!

В однокомнатной норе на первом этаже хрущевского дома стоит удушающий запах урины (из лени или по недомоганию собаку она давно не выводит) и слежавшегося старого тряпья: на диване, спинках кресел, на твердой, как земля, постели в отгороженном шкафом углу, где несколько лет умирала ее парализованная мать, навалены какие-то вязаные кофты, изъеденные молью пальто, некогда кокетливые, а теперь убогие шляпки и сарафаны на узких бретельках, которые даже во сне невозможно соотнести с ее бесформенной грузной фигурой. Почему она не выбрасывает весь этот доисторический хлам? Когда-то я считала это проявлением старческой скупости, теперь думаю иначе. Вероятно, она ощущает бессознательный ужас перед разрушением вещей, которые были частью ее самой; поэтому по вечерам, склонившись над каким-нибудь древним костюмом, который никогда не наденет, выполняет бессмысленную его починку, словно старается таким образом противостоять кропотливой работе времени. Моя попытка выбросить изношенную блузку или покалеченную сумочку вызывает у нее приступ паники. (От своих собственных старых вещей я избавляюсь с неизменным чувством облегчения; значит ли это, что и свою жизнь, когда она износится до дыр, смогу выбросить так же легко, как ненужное платье?)

Впрочем, не одни только груды тряпья создают беспорядок: на полу и на столах, во всех углах квартиры громоздятся банки — закатки собственного изготовления, Ее Величество Еда. Хозяйка перехватывает мой взгляд и понимает его по-своему:

— Погоди, сейчас салат открою.

Протестовать бесполезно. Когда она не кормит собаку и не латает старые платья, то занята едой: ее приготовлением или употреблением. Недавно ей удалили часть кишечника, пораженную раковой опухолью; сначала она ходила с трубкой в боку, потом ей сделали еще одну операцию, которая восстановила нормальный ход вещей. Врачи рекомендовали диету. Приехав из больницы в свое логово, прежде всего она потребовала, чтобы я купила на базаре несколько кило свинины («Да пожирнее — окорок, что ли») и забила мясом морозилку.

— Хочешь салат из перца?

— Спасибо, нет.

— Зря. Вкуснятина!

Ненавистное с детства слово вызывает судорогу отвращения. Я знаю, что не сумела бы проглотить и чайной ложки этой убойно-маслянистой отравы, раздражающей рецепторы острым вкусом. Она между тем с наслаждением уплетает прямо из полулитровой банки горчично-желтые маринованные перцы, хрустит дольками чеснока. Ее ротовое отверстие жадно заглатывает куски жареной свинины, вдогонку отправляется сладкий вишневый компот. Я хорошо знаю, что будет потом (и она знает): ее будет тяжко выворачивать в туалете. Осужденная слушать эти утробные звуки, я с трудом могу поверить в то, что это она несколько десятилетий назад молодой девушкой вон в той ярко-малиновой шляпке и сарафане с открытым лифом садилась в поезд, отходящий на юг. За пыльным стеклом вагона проплывали беленые домики с палисадниками, в купе шумно пила чай старая еврейка, которая, сразу же оценив ее наивность и комсомольскую честность, предложила поселиться вместе в домике у моря: «Договорилась на двоих, а муж не смог

поехать. Тебе ж все равно, где отдыхать!» Ей и в самом деле было все равно: музыка молодой жизни звучала повсюду. «Домик» оказался комнаткой с двумя кроватями в многосемейном бараке, но двор был действительно волшебный: сплошь увитый плющом и диким виноградом, с креслом-качалкой на дощатой веранде. До моря можно было дойти пешком. Она вставала в шестом часу и, пока Анна Исааковна готовила завтрак, отправлялась на пляж — занимать места поближе к воде. До полудня жарилась под солнцем, а вечером гуляла по необычному городу, где дома росли не вверх этажами, а куда-то в землю, укореняясь в ней обжитыми подвалами с загадочными вывесками «Изготовление зеркал» или «Ремонт старинных часов»; где пыльная зелень акаций и каштанов почти закрывала и без того маленькие окна, за которыми и днем горел электрический свет в огромных, низко подвешенных оранжевых абажурах.

Она позволяла себе одну романтическую вольность: ходила на пристань встречать теплоходы. Там, на пристани, к ней и подошел однажды высокий элегантный мужчина средних лет и на ломаном русском поинтересовался, где находится один из лучших приморских отелей: он, мол, вчера приехал из Чехии и должен передать соотечественнику, который здесь отдыхает, письмо из дома. Она с удовольствием проводила симпатичного чеха к отелю, выяснив по дороге, что зовут его Малина́, он артист уникального пражского театра черной магии, да-да, единственного в мире, только представьте — в полной темноте вы смотрите на множество экранов, которые благодаря особой конструкции (это, конечно, профессиональная тайна) создают у зрителя эффект присутствия в спектакле. Впрочем, он надеется, что пани окажет ему честь и увидит все своими собственными — кстати, весьма необычного для светловолосых цвета — глазами... Разумеется, билеты распроданы задолго до начала гастролей, и, между прочим, так везде — в Париже, Берлине и, как видите, здесь — но он, конечно же, найдет для нее контрамарку… нет, таких глаз ему не приходилось видеть у европейских женщин, он в этом разбирается… и форма кисти… Не будет ли пани так любезна показать ему город, он ведь только вчера приехал?

Ночью, устраиваясь на жесткой постели под трубный храп соседей, она подумала о том, что чех, скорее всего, завтра не придет, — впрочем, так оно и лучше, все же иностранец, хоть и из братской социалистической страны. Но артист стал приходить каждый день. Вдвоем они отправлялись на пышно декорированный базар за грушами, черешней и персиками; древесная кровь, претворенная солнцем в роскошь южных плодов, перетекала в ее вены, и было это не принятием пищи, а молитвенным ритуалом. Случалось, они гуляли по городу до рассвета, и луна напоминала ей доверху наполненную емкость для сбора живицы (такие легкие серебристые конусы прикреплял к стволам сосен ее отец-лесник), вот только луна переполнялась не смолой, а человеческими мечтами и надеждами, фантазировала она (эх, знать бы, кто там, на небесах, собирает всю эту эфирную субстанцию для переработки на что-то сугубо утилитарное вроде скипидара, — но так далеко ее мысли, конечно же, не шли). Когда солнце, как сумасшедший убийца с окровавленным лезвием, бросалось на неосторожные звезды, чех церемонно целовал ей руку («Какая кисть…») и провожал до дома. Рядом с Малино́й, как когда-то рядом с отцом, она чувствовала себя необычайно спокойно; даже расставаясь с артистом на несколько часов, продолжала находиться словно бы в его энергетическом поле, где не могла существовать ни одна молекула страха.

А иногда ближе к полуночи, когда натуральный мрак служил наилучшим затемнением, начиналось представление театра черной магии. Малина́ обе-

спечил контрамарками весь их многолюдный дворик, и соседки, благодарные за дармовую забаву, каждый вечер завивали ее на горячие бигуди, делали ей маникюр, так что на лавке летнего театра она сидела точно свежераспустившаяся роза. За один вечер на сорока особым образом устроенных экранах можно было посмотреть и мелодраму, и комедию, и сказку, и то, что мы назвали бы триллером, — сюжеты следовали один за другим естественно, как день следует за ночью, и эта последовательность успокаивала. После спектакля одетые в черное актеры выходили на сцену, и это тоже вызывало удовлетворение: окончательно выяснялось, что ужасающая авиакатастрофа, в которой все присутствующие погибли четверть часа назад, всего лишь обман зрения, хитрый оптический эффект. К этому и сводилась «магия с ее последующим разоблачением» (никаких ассоциаций у нее не возникло ни тогда, ни позже: опальных авторов она не читала).

Закончились гастроли у Малины, плавно закруглился и ее отпуск. Настала эпоха открыток, на которых она аккуратным почерком писала поздравления с легализованными календарными праздниками. А спустя год — вот где настоящая магия! — ей свалилась на голову поездка в Чехословакию «по комсомольской линии». Девчата бешено завидовали: из всего райцентра поехать предложили ей одной. Впрочем, случайных людей — она это скоро поняла — среди тридцати счастливчиков не было. Руководитель группы, секретарь обкома комсомола, разбил всех на «пятерки» и назначил старших, которых — она была одной из них — собирали отдельно. Среди чешских комсомольцев распространились троцкистские настроения, сказал руководитель, и именно им, цвету советской молодежи, партия доверила высокую миссию: разъяснить братским чехам единственно правильное ленинское учение. Жить они будут вместе с ровесниками из разных стран; обо всех фактах идейных шатаний и левачества в своем окружении члены «пятерок» обязаны докладывать старшим, а те — руководителю группы.

Их поселили в международном лагере под Прагой, где в летних домиках жили чехи, поляки, восточные немцы. Покидать лагерь было строго запрещено, денег на руки не выдавали, корреспонденцию можно было пересылать только через руководителя. Прожив неделю в этой комфортабельной тюрьме, она начала беспокоиться, сможет ли хотя бы отправить открытку Малине́. Почему-то ей не хотелось докладывать о знакомстве «наверх». К счастью, приставленная к ним переводчица-чешка, хоть и была перегружена просьбами «узников», охотно согласилась разыскать артиста. Открыто заявлять о своем несогласии с режимом затворничества осмеливался только ветеран войны; этот старик с заправленным в карман пустым рукавом пиджака был тяжело ранен при освобождении Чехии и оказался в немецком тылу. Жители деревни, которая переходила из рук в руки, по очереди прятали его на чердаках и в погребах, делились едой. Он ехал в Чехию, чтобы повидаться со своими спасителями, но в деревню его не пустили; на встречу с ним разрешено было приехать только одному жителю той местности — пожилой женщине, которая все время плакала, что, однако, не помешало ей накормить всех белорусов чудесным виноградом.

После лагеря их перевезли в Прагу, где поселили в студенческом общежитии. Ежедневно встречаясь на диспутах с чешскими студентами, которые, обсуждая важный политический вопрос, бесцеремонно клали скрещенные ноги на стол и потягивали пиво из металлических банок, она поняла, что именно здесь-то и есть самое гнездо троцкизма. На какое-то время она даже забыла о Малине́, настолько интересно было ощущать себя в «логове врага». Впрочем, рассуждения опасных чехов сводились к следующему: мы любим

русских братьев, говорили они, но не мешайте нам строить свое государство. Естественно, про такие крамольные речи следовало докладывать по инстанции. Однажды ее пригласил на день рождения чешский студент, и на ее вежливый отказ ехидно заметил: «Вам же нельзя без сопровождения!» — «Глупости!» — вспыхнула она и вечером, замирая от собственной дерзости, проскользнула в соседнее общежитие, где в комнате именинника на столе стоял незнакомый бородатый портрет, а на тумбочке лежало множество книг одного автора, — разобрав на обложке фамилию, она мгновенно поняла, что спасет ее только чистосердечное раскаяние и скорейшая готовность «проинформировать». Ее слегка пожурили, как ей показалось, для вида, но номер комнаты и имена гостей переписали внимательно.

А Малина́? Увы, артист оказался на гастролях в Америке. На ее просьбу передать известному «черному магу» по возвращении письмо переводчица с радостью согласилась.

Уезжали. За окном вагона проплывали деревья, прихваченные первой желтизной. Ближе к границе их сменили составы с зачехленными танками и часовыми, стоявшими на открытых платформах. Шел август 1968-го.

Письмо ее Малина́ все же получил: через полгода пришел ответ, в котором артист кратко сообщал, что в связи с трагическими событиями на его родине решил навсегда остаться в Америке и предлагает ей приехать к нему — о, у него с самого начала были серьезные намерения! — чтобы сочетаться браком. Отвечать в Америку она не стала: как раз предложили поступать в партшколу…

Вытирая неопрятным рукавом рот, она направляется к холодильнику. Господи, неужели она снова будет терзать едой свой и без того отравленный организм? Но она, рассеянно оглядев яства, захлопывает дверцу и поворачивается ко мне. В ее глазах страх.

— Мне дали направление в гинекологию ложиться. Слушай, зачем это, а?

Я пожимаю плечами и отворачиваюсь, хотя хорошо знаю зачем: ей будут делать диагностику — подозревают метастазы. Сейчас я уйду, а страх снова заставит ее мучить пищей перекормленную собаку и саму себя. Я буду идти мимо деревьев, прихваченных первой желтизной, и думать о том, что же такое жизнь: вонючий угол, куда мы сами себя загоняем, где в почете лишь тупое животное терпение и ничего нельзя изменить, кроме ширины просвета аорты, которая сужается от страха смерти, тем самым смерть приближая, где только написанная строка способна ненадолго оттянуть боль — так компресс размягчает затвердевшее в грудях неопытной первородки молоко. А может, это что-то вроде сеанса черной магии в летнем театре, где пресыщенные курортники клюют носом, и только маленькие дети то бледнеют от ужаса, то смеются в строгом соответствии с мельканием сменяющих одна другую картинок на стереоскопических экранах, что безупречно создают эффект присутствия?

2005 г.

Перевод с белорусского автора.





СЕМЕН ШИКУН

Полоска света

* * *

Прикоснусь к плечу губами только, —
ты во сне неслышная такая, —
и полоска света на востоке, —
как ребенок дверь приоткрывает!

Невдомек стареющему дому,
что он жив благодаря дыханью,
легкому и чистому по тону,
что сродни ручьям и мирозданью.

Что сродни свободе для деревьев,
открестившихся от черных листьев…
Спи пока.
Коль я проснулся первым —
чай за мной и сапоги почищу.
Выйду на балкон. Синички хлебом
не насытятся — к морозу, что ли?
Просыпайся.
                    Задохнулся небом
Сквер, как комната,
где сдали в стирку
                              шторы…

* * *

День осенний вспыхивал, как порох.
Испугался за него — так спал с лица.
Бомбами висели на заборах
Тыквы возле нашего крыльца.

Пополудни он притих немного,
Осмотрелся, и я видел сам, —
Как иголку, в руку взял дорогу
И пошел стежками по лесам.

Проводя уверенной рукою
По лекалам вздрогнувших озер,

Мастер-класс давал он по раскрою,
Грех не поучиться, хоть на спор.

И служило облако паролем,
Подойти и дернуть за подол,
Где ручей обметывает поле
Маминой машинкою «Подольск»…

* * *

До дрожи вымерзшие сумерки
сверяют день по голосам.
Один идет Василий Суриков
молиться полю и лесам.

И видит взгляд и пальцы грозные, —
не пожелаешь и врагу, —
узнал боярыню Морозову
в вороне черной на снегу…

* * *

Казалось, в ночь кричала стая
и холоднее стало в мире —
я послезавтра улетаю
надежным АН-24.

Полкруга будет над Ростовом,
к земле придвинутся посадки,
ругай меня последним словом
до самой в Гомеле посадки.

Я буду сверху видеть осень,
ее печальную походку
на дикий холм, который в восемь
надвинет тучу, как пилотку.

Я заберу тоску вокзала,
разлуки, встречи и ошибки,
и родинку, что задержалась
на самом краешке улыбки…



ЖАННА МИЛАНОВИЧ

Story

Рассказы

Весенний снег

Весна словно раздумывала, когда же ей начаться. Вчера вечером опять лепил мокрый снег, большими хлопьями падая и накрывая все вокруг. Подсвеченный проспект был такой торжественно нарядный, будто в белой меховой шубке. Погодное несоответствие конца марта слегка тревожило.

Она взялась поливать рассаду. Серое небо грустило вместе с ней по весеннему солнцу. Когда уже эти природные катаклизмы закончатся? А в Мексике снова ураган. Но надо думать о хорошем. Например, о нашедшемся пакете семян бархатцев. Он завалился за подкладку старенькой сумки, и столько печали было по этому поводу. Как же мало надо пожилой женщине для радости. Скорее бы дача! Только с приходом сезона выращивания цветов и овощей она немного оживала. Ведь зима в городской квартирке так похожа на заточение в компании с телевизором и изредка звонящим телефоном.

Она прошаркала на кухню, чтобы набрать воды в пустую пластиковую бутылку. Раньше этот путь казался раз в пять короче. Из-за больных суставов каждый шаг давался с трудом. И прогулки от электрички по широкой тропинке до дачного поселка станут для нее реальным испытанием на стойкость. Но когда еще это будет. Она смотрела в окно, где белым покрывалом лежал поздний весенний снег и не таял.

Ада Петровна жила одна. Три года назад ушел из жизни ее муж, Всеволод Сергеевич. Они прожили вместе сорок четыре года. Их маленькие дети, двухлетний мальчик и трехмесячная девочка, умерли от скарлатины один за другим. Больше детей им Бог не дал. Так и маялись они долгую и трудную, а все же по-своему счастливую жизнь. Когда сердце любимого перестало биться, ей казалось, что и ее жизнь закончилась. Долго выходила Ада Петровна из тяжелейшей депрессии, осложненной возрастными заболеваниями, но справилась. И с тех пор перестала бояться смерти. Да и ждать ее себе запретила. Просто жила ежедневными заботами престарелой одинокой женщины, находя смысл в борьбе с собственными хворями, умении распорядиться невеликой пенсией бывшей школьной учительницы истории. Разве что дачные хлопоты помогали ей теперь от весны до осени скрасить одинаковые будни.

Она изредка общалась с такой же старенькой двоюродной сестрой, ее вечно замотанным сыном и говорливой долговязой невесткой, а их дочки-подростки по просьбе бабушки приезжали поздравить бабу Аду с днем рождения и 8 Марта. Хорошие росли детки, все в учебе, да еще танцами занимались. Единственная подруга Ады Петровны уехала к эмигрировавшему сыну за океан. Звонила раз в полгода.

С соседями Ада Петровна почти не общалась, все они гораздо моложе, у них своя жизнь. Но знала о них многое: кто ремонт затеял, собаку какую завел, у кого гости засиделись. Поздороваются и — полно. Все спешат. Иногда пара стариков Утяткиных, живших двумя этажами выше, перекидывалась с ней во дворе последними сплетнями. Эти двое вечно брюзжали на весь белый свет, особенно на тех, кто, по их мнению, «жил не так». И очень любили разговоры про нынешнюю молодежь. Мол, совсем от рук отбилась, бездельничает. Ада Петровна как бывший педагог пыталась спорить, что дело не в этом, всегда были и плохие, и хорошие, время нынче такое, непонятное. Веский довод пожилого соседа: время — это есть время, а мы были не такими. И Ада Петровна предпочитала не возражать.

Бывало, в начале февраля о ней вспоминали бывшие ученики. Открытку пришлют, цветы. И даже в ресторан как-то пару раз приглашали. Волновалась Ада Петровна тогда страшно. Мало ли какая история приключится? Но все равно приятно, что не забывают. Она-то знает, как это, когда почти взрослые дети незлобиво обзывают тебя истеричкой. А учить этому «сказительному», как она любила повторять, предмету ей было не в тягость. Когда-то дочь советского офицера, погибшего в первые дни Второй мировой, и юной библиотекарши уехала из районного центра в столицу учиться в университете, вышла замуж за будущего инженера, да так и осталась жить в большом городе. Жили как все.

Ей несказанно повезло с соседями сверху. Милейшие люди, преподаватели математики. Пока росли их дети, погодки Кирюша и Надюша, всякое бывало — и топот в ходунках, и громкий ночной плач, падающая с грохотом мебель, удары мяча с одновременными прыжками со скакалкой — слышимость в панельных домах отличная. Все это осталось в прошлом веке, когда Ада Петровна и Всеволод Сергеевич, изредка разбуженные среди ночи объяснимым шумом чужой жизни, включали лампы на прикроватных тумбочках и читали каждый свою книгу. Утром перед работой к ним забегала с извинениями и тарелкой пирожков с капустой мама «чадов», как ласково называл их Всеволод Сергеевич. Эти «чады» давно выросли, Кирюша стал бизнесменом, аккуратно паркующим блестящий мерседес возле подъезда и к Новому году балующим соседку Аду Петровну то сеткой мандаринов, то коробкой вкусных дорогих конфет, а Надюша выучилась на доктора и уехала работать вместе с мужем на Дальний Восток. Хорошие выросли детки. Вот только родителей своих похоронили они в один день, когда те первый раз за свою жизнь решили отдохнуть на юге одни, без детей, купили путевки, а самолет взял и упал в море. Вот где горе-то.

Ада Петровна стояла у окна, глядя на заснеженные дома и деревья, как вдруг ей что-то послышалось. Может, показалось? Но на слух она не жаловалась. Через минуту опять какой-то звук, похожий на стон, да, это на лестничной клетке. Она подошла к двери и глянула в глазок. Никого. Стон повторился. Долго не решалась Ада Петровна открыть дверь, но когда в звуках отчетливо прозвучала просьба о помощи, любопытство взяло верх.

Она открыла входную дверь и увидела лежащего молодого человека прямо на своем половичке. Ох уж этот первый этаж. Соседей, скорее всего, нет дома, время-то рабочее. Первая мысль — поскорее захлопнуть дверь, позвонить в милицию, мало ли какие пьяные наркоманы валяются. Она слишком слабая, чтобы что-то делать. Но парень выглядел немощным и вроде бы неопасным, и естественным порывом женской души явилось желание попытаться ему помочь. «Ах ты, господи, боже ж мой. Что с тобой, миленький?» — Ада Петровна разволновалась не на шутку, сердце учащенно билось, и при плохом освещении парень казался смертельно бледен. «Спаси…» — только и сказал

он и закрыл глаза. Ада Петровна позвонила в соседние две квартиры, никого. За металлической дверью третьей глухо залаял ротвейлер Блэк, его хозяев тоже нет дома. Что же делать? Женщина оставила приоткрытой дверь, а сама пошла к телефону на кухню, чтобы позвонить в «скорую помощь».

Не успела Ада Петровна набрать номер, как дверь захлопнулась. Обернувшись, она так и застыла с трубкой в руках — «умирающий» стоял перед ней, пошатываясь и держась обеими руками за голову: «Никуда не звони, поняла?» От таких слов доброе сердце старушки на минуту замерло, а потом опять зачастило. «Не паникуй, бабуля! И не вздумай кричать. Будешь правильно себя вести — все будет тип-топ», — незнакомец безжалостно оборвал телефонный провод вместе с розеткой. И тут до Ады Петровны начало доходить, что то, как бывает в сериалах по телевизору, случилось с ней. «Он сейчас потребует деньги, ограбит меня и пристукнет, как мышь», — подумала она, а вслух непонятно откуда взявшимся твердым голосом спросила: «Что вам угодно, молодой человек?» Парень, продолжая стонать и держаться за голову, пошел в ванную комнату.

Оставшись одна на собственной кухне, женщина попыталась сообразить, что можно сделать. Бежать к входной двери — мимо открытой ванной не получится. Ада Петровна схватила два ножа побольше, завернула их в кухонное полотенце и замешкалась, куда бы их спрятать. В морозилку? За шкафчик? В форточку! Попыталась добросить до дорожки во дворе, на котором в эту минуту, разумеется, никого не было, и ножи упали в мягкий снег. Может, разбить заклеенное на зиму окно? Она стукнула ладонью по стеклу. И что? Самой прыгать, невысоко, но не в шестьдесят семь. Растерянность и беспомощность не мешали ей думать. А может, он ничего плохого не сделает? Ну да, он просто умоется и уйдет. Ада Петровна вяло присела на табурет, обитый выцветшим велюром. Будь что будет.

Вернулся гость, вытирая свое лицо ее любимым бирюзовым полотенцем. Сняв куртку, он приподнял байку и, сморщившись от боли, потрогал место ссадины с внушительным кровоподтеком на левом боку. Затем полез в морозилку, достал пакет с замороженным фаршем и, обмотав полотенцем, приложил к ране. А ведь ему действительно нужна помощь. Ада Петровна мысленно облегченно вздохнула. Может, бандиты какие-то били бедолагу, а он убежал.

Вдруг громко откуда-то зазвучала песня: «Ты дарила мне розы, розы пахли…» Парень достал из кармана штанов мобильный телефон. «Да, киса. Где-где? Фиг его знает. Попал я. Сама такая. Все, отбой. Ну, позвоню, может быть. Не верещи. Бай!» Положив маленький блестящий телефон на стол, молодой человек присел на корточки у стены, откинул голову назад и прикрыл глаза.

Следующие две минуты он сидел молча. Ада Петровна смогла рассмотреть непрошеного гостя. На вид лет двадцать с небольшим, стройный, среднего роста, аккуратная стрижка, обыкновенное лицо. Что он за человек? Зачем здесь? Спросить об этом? И тут она вспомнила, что на плите варится фасоль, надо супчик к обеду доварить. Женщина растерялась. К мойке не подойти, там сидит этот. «Молодой человек! Можно, я буду кухарить?» — дерзкий тон ее вопроса подействовал на дремавшего нашатырем. Он почти вскочил и с испугом в серых глазах промычал: «Да, да, конечно». Но потом вдруг вспомнил, кто он, и решил дальше исполнять роль злодея: «Так, бабуся! Я у тебя надолго! Ты будешь делать то, что я тебе разрешу. Сейчас ты пойдешь в комнату и принесешь. Нет! Давай нож! Шевелись, а не то!»

Эти слова как-то совсем не испугали Аду Петровну. Конечно, перспектива долгосрочного пребывания в компании с этим «прекрасным» незнакомцем не радовала, но страх пропал. Он словно выпал вместе с ножами в

форточку — как же правильно она их выбросила. Юный бандит стал рыться среди лежащих в сушилке вилок и ложек и нашел только маленький ножик для чистки овощей. Матюкнувшись, он в сердцах бросил прибор со словами: «Режь, бабка, что хочешь!»

Ада Петровна полезла под мойку за картошкой. Суета временно избавила ее от волнений. Привычные действия. Картофель — морковь — луковица — соль. Суп почти готов. А то, что на кухне присутствует еще кто-то, както отошло на второй план. Или ей это показалось? Движения непрошеного гостя волновали, и она осмелилась спросить: «Как звать-то тебя?» Наверное, не совсем хорошо он себя чувствовал, чтобы грубить, поэтому не то чтобы бросил с долей вызова, а скорее извлек из себя самого имя: «Коля я, Николай». — «Царское имя», — отметила вслух Ада Петровна и осеклась, видя, как нервно ухмыльнулся при этих словах молодой человек. «Ну да. Я — почти царь. Зато сам себе. А ты типа учить любишь? Лучше заткнись, не до тебя, бабушка!» Опять запел мобильник, только на этот раз что-то на английском. Николай посмотрел на экран телефона и нажал кнопку. Тот замолчал. Затем он прошел в туалет и, не закрывая дверь, справил малую нужду.

Вернувшись, Коля позвонил кому-то: «Алло, киса? Да, а кто ж еще? Так, я отрубаю связь. Запиши адрес и лети, — он устрашающим жестом приказал Аде Петровне назвать номер дома и квартиры. — Да, на проспекте. Возьми водки, сока, чего прикусить. Так, на такси лети, быстро чтобы. Да дам я тебе денег, жмотка! Потом. Конечно. Бай». Ада Петровна совсем не обрадовалась еще и гостям, но ничего ей не оставалось, как ждать дальнейшего развития событий спокойным мартовским утром, так внезапно сделавшим ее заложницей обстоятельств. Она посмотрела на висевшие на стене часы и подумала, что прошло примерно всего полчаса с тех пор как этот наглец расхаживает на ее кухне и пугает. А сам-то хуже волчонка загнанного. Боясь злить юношу, сидевшего на полу у выхода в коридор, Ада Петровна то помешивала в кастрюльке, то поочередно открывала холодильник и кухонные шкафчики и пробовала соображать, как быть дальше. Ничего спасительного в голову ей не приходило.

Тем временем парень решил обследовать ее жилище более обстоятельно. Приказав не выпендриваться и не мешать, он прошел в комнату, зачем-то заглянул в шкаф, балкон открывать не стал. Включил телевизор, устроился на диване, развалившись и вытянув ноги. Скоро время сериала, который она любит смотреть, а сегодня, видимо, придется пропустить. Словно прочитав ее мысли, Николай позвал женщину: «Эй, хозяйка! Иди сюда, садись на стул, что смотреть будешь?» И сам переключил на музыкальный канал. Повинуясь, Ада Петровна присела на краешек стула и вдруг спросила вероломца: «А ты теперь, стало быть, жить у меня собираешься? И как долго?» — «Как только, так сразу», — отрезал Коля. На экране извивались голоногие девицы, попеременно выставляя то губы, то задние места. Теперешних песен ей не понять, музыка и танцы молодых были просто инопланетной культурой. Хорошо, хоть звук громко не делает. Что ж, придется смотреть всякое.

Раздался звонок в дверь. Они встали одновременно. «Сидеть!» — бросил он, как собаке, а сам пошел открывать. «А дружков зачем он позвал, помочь меня грабить?» Ада Петровна вслушивалась в приветственные звуки в прихожей. Женские вопли радости, что ли? Так и есть. В комнату вошла девушка, мало чем отличающаяся от тех, что на экране, разве что курточка с мокрым пушистым воротничком да на смоляных волосах каплями растаявший снег напомнили о реальности происходящего. Длиннющие белые сапоги, крупная сетка колготок, юбка, короче некуда, сильно накрашенные глаза. Словно не замечая Аду Петровну, девушка томно прошлась по комнате, откинула штору,

взглядом сфотографировала вид из окна и с возгласом: «О! Рассада — засада!» — удалилась на кухню.

Оставшись одна, Ада Петровна прислушалась к стуку собственного сердца. Частит, давление бы померить. И тут ее осенило. Надо перепрятать деньги от этих иродов! Не думая, что ее могут застать за этим занятием, она открыла секретер и достала резную шкатулку. Да так и замерла с ней в руках. Ада Петровна держала сейчас не просто деревянную коробку, а ларец со всей своей жизнью. Небольшая сумма откладываемых с пенсии денег на черный день (а если этот день уже сегодня?), бережно перевязанная стопка писем из редких командировок мужа и ее отдыха в санатории, несколько старых фотографий, пара широких обручальных колец, мамина золоченая брошь с потускневшим от времени аметистом, документы на квартиру, мундштук Всеволода Сергеевича и ее паспорт. Слезы подступили к когда-то ярким, голубым, а теперь блеклым старческим глазам. Да что ж это, Господи? И это все? Неужели мало на ее долю выпало испытаний? Не могут эти двое, годящиеся ей во внуки, обидеть. Они хорошие. Просто такая история вышла.

Запах сигаретного дыма отвлек Аду Петровну от невеселых мыслей. Когда-то ее Сева дымил на балконе, убивая до срока свое сердце. Когда врачи запретили ему это, бросил в один день за год до своей смерти. В дверном проеме стояла гостья, держа в пальцах с цветастыми огромными ногтями тонкую сигаретку, и смотрела на нее с нескрываемым пренебрежением: «И что мы тут прячем?» Ада Петровна растерялась и крепко прижала к себе шкатулку.

Вошедший следом Николай бедром игриво толкнул девушку и со словами «Да не трогай ты ее!» по-свойски полез за хрустальными рюмками: «Так, бабуля! Мы тут поговорим слегка, ты только не вздумай совершать нелепые телодвижения, поняла? Сиди себе тихо, в ящик уткнись. А не то придушу». — «Колян! Ты с ума сошел? — девица округлила подведенные глаза. — Надо ее где-нибудь закрыть, в ванной, например. Нет, мне туда надо будет. Еще орать начнет или по батарее дубасить. Давай ее к стулу для надежности примотаем, а что, жива будет». От такой наглости Ада Петровна потерялась окончательно. И почему-то в памяти всплыл фильм про дорогую Елену Сергеевну с любимой Нееловой в главной роли. «Да что вы себе позволяете? Вон из моего дома! Я сейчас милицию позову!» — попробовала возмутиться хозяйка. «И пожарных тоже», — Николай как бы шутливо усадил ее на стул, дав при этом ощутимую затрещину. Потом связал ее руки за спиной поясом от халата, а чернявая тем временем держала ее за ноги, затем полотенцем перевязали и ноги. Пожилая женщина не сопротивлялась. Николай швырнул в угол комнаты отнятую шкатулку: «На фига нам твое барахло? Мы не грабители с большой дороги, правда, киса?» Девушка, распалившись от действий, пританцовывая и припевая, метнулась на кухню и вернулась с бутылкой водки в одной руке и пакетом сока в другой: «А давай здесь погуляем. Бабка не мешает, пусть смотрит. Наливай, милый, за встречу!» Николая слегка шатнуло, но он сделал погромче звук в телевизоре, где чернокожие и гладколицые певцы бормотали непонятные слова под однообразную музыку: «Колбаски принеси, без закуски — пьянство. Что-то меня мутит».

Ада Петровна беззвучно заплакала. Парочка чокнулась и, выпив, поцеловалась взасос. Стесняться было не в их правилах. Мир принадлежал им, молодым и сильным. А страдания пленницы волновали их меньше малого.

Время стало похожим на резиновый бинт. Так же туго и растянуто. И если Ада Петровна чувствовала себя как бы внутри этой ленты, вся скованная физически, а особенно морально, то молодые будто бы запеленали собственные ограничения и освободились от совести. Или творили все в силу ее

неразвитости? Николай, похоже, пил без удовольствия и немного. А вот киса прикладывалась как-то не по-женски рьяно, а хмелея, раскрепощалась до низменных проявлений своей сути. Разговаривали они мало, вспоминали какого-то Карена, до униженной и полуживой Ады Петровны долетали обрывки фраз. «Не гони, если не рубишь», «бабки нехилые», «он не сука, а хозяин», «не будет он тебя сейчас искать», «а если опять не покатит». И все это щедро пересыпалось непривычными ругательствами.

«Зачем я только открыла дверь? Что они удумали? Я не смогу сидеть так долго. Господи, помоги!» — Ада Петровна старалась не думать о плохом. Получалось не совсем. Молодежь тем временем продолжала выпивать и разговаривать, не замечая присутствия связанной хозяйки.

Внезапно зазвучала какая-то особенная для них песня, потому что девушка вышла на середину комнаты и заизвивалась в непонятном танце, а молодой человек, откинувшись на диване, даже подпевал. «А что? Квартирка, конечно, убогая, но мне без разницы, я у тебя девочка неприхотливая», — с этими словами она по-кошачьи уселась на колени к Николаю и перешла к вполне объяснимым действиям. Постанывая и похихикивая, она гладила ему волосы, целовала, елозила, запуская его руку себе под юбку и вскоре, расстегнув молнию на его джинсах, опустилась перед ним на пол. «Подожди, не заводись», — Коля резко остановил партнершу. «Ой, Николя? Я же тебя хочу! Ты что, этой стесняешься? Ну, знаешь!» — «Отвянь, дура! Хреново мне, не до тебя. Болит, блин». Отвергнутая красотка отхлебнула сока, запила его водкой и молча затаилась в углу дивана, закуривая сигарету.

Ада Петровна постепенно свыклась с неудобным положением и перестала бояться. Ну, или почти перестала. Она не смогла больше молча наблюдать, решив обратиться к молодым людям. Здравый смысл подсказывал ей, что выпившую девушку лучше не трогать, но ситуация требовала какого-то разрешения. «Он не шутит, — тихим твердым голосом сказала она. — Ему нужно к врачу».

Бледный Николай приоткрыл глаза и попытался встать. Ему это удалось. В следующую секунду он перегнулся пополам и блеванул прямо перед собой. Девушка никак не ожидала таких его действий и, вскочив как ужаленная, заорала: «Да ты охренел, что ли, придурок?» Затем она бросилась к нему и стала пьяно причитать, вытирая его лицо руками и пытаясь поить «миленького» соком. Ада Петровна лихорадочно соображала, каким словом убедить девицу успокоиться и освободить ее, чтобы помочь бедняге. Парень тем временем корчился на полу и громко стонал, не забывая при этом материться.

Так продолжалось пару минут. Потом девушка резко замолкла, встала и подошла к старушке. С недобрым выражением лица она некоторое время смотрела в глаза Аде Петровне, а после вместо того, чтобы освободить связанную и перепуганную женщину, принялась колотить куда попало сначала руками, а когда та вместе со стулом завалилась на бок, и ногами. Крики о помощи потонули в грязной брани: «Это все вы, пердуны старые! Все из-за вас. Вечно мешаете, учите. Пенсия проклятая! Довели до такой жизни, бабульки сраные. Шуруйте на свои дачи, копайтесь там в говне своем старинном! Рассады захотела. Получай, деревня!» Киса сорвала штору и смела с подоконника поддон с перцами. Швырнула рюмку в стену, на которой висела фотография пары с серьезными лицами. Схватила вилку и принялась кромсать полированную дверцу секции. «Ты что, совсем с катушек съехала?» — Николай попытался схватить разбушевавшуюся подругу за ногу, но она увернулась. И остановилась. Тяжело дыша, как после бойцовского поединка, стояла она посредине комнаты и что-то соображала. А потом усталым жестом убрала с лица растрепавшиеся темные волосы, засунула в сумку начатую шоколадку, пачку

сигарет и направилась к выходу. У двери обернулась: «Пока, милый! Меня здесь не было. Выпутывайся сам из своей лажи».

Ада Петровна лежала и боялась пошевелиться. Кажется, ничего не сломала, и то ладно. А что теперь будет, ей было все равно. Пережитое измотало ее. Некоторое время и Николай не издавал ни звука. Помер, что ли? Но молодой человек нашел в себе силы встать и подойти к лежавшей женщине. Он развязал ей руки, освободил ноги и отодвинул стул. Затем, сидя рядом на полу, достал мобильный телефон и набрал номер: «Алло! «Скорая»? Тут бабушка упала. Адрес? Какой у тебя адрес?» Ада Петровна взяла у него трубку и, назвав проспект, номер дома и квартиры, попросила приехать быстрее, мол, дело не в ней и очень серьезно. Диспетчер приняла вызов и про себя подумала, что сегодня это уже третье падение пожилых людей. Скользко, скорее бы весна.

…Весна вовсю хозяйничала на земле, и от весеннего снега не осталось и следа. Ада Петровна возвращалась с рынка, бережно неся в ведерке десять ростков сладкого перца. Крепкая рассада, должна прижиться.

Прошло три недели с того дня, когда она пережила такое. «Скорая» приехала быстро. Ей измерили давление, сделали укол. Пара синяков да шрамы на душе — вот и все последствия. А вот Николаю не повезло. Или наоборот? Разрыв селезенки. Как он там, после операции? Они никогда больше не встретятся. Парень уже на носилках сказал: «Прости, мать». Но почему-то это прозвучало, как в телесериале.

Происшествие в квартире Ады Петровны соседи восприняли сочувственно. «Скорая», милиция. Помогли прибраться, первое время заходили к ней с предложениями разными и просто поговорить. А Кирилл из квартиры сверху, тот вообще телефон маленький подарил, чтобы звонила в случае чего. Теперь и у нее есть мобильник. На дачу отвезти обещал и настаивал, чтоб заявление в милицию написала. Она сначала тоже хотела, чтобы все было по закону. Но потом передумала. Николай сам себя наказал. А девушка? Бог простит. И жизнь научит. Мало ли какая история может случиться?

Маттиола

Она спешила. Ее руки уверенно лежали на руле, нога давила на акселератор, глаза держали коридор пустынной ночной дороги с разбрызгивающейся в свете фар разметкой. Она едва успевала переключать дальний свет перед приближающимися изредка встречными машинами. А в голове зудела одна мысль — мне надо успеть.

И вот, наконец, указатель поворота. Сбросив скорость почти на нет, переключив передачу, она едва справилась с управлением своей подержанной тойоты. Еще полкилометра пыльной гравийки — и замелькают первые дачные домики.

Ночь, душная июльская ночь, прибила землю огромным черничным телом звездного неба. В такие ночи, безветренно-тихие и пронзительно-романтические, хорошо купаться в каком-нибудь озере без всякой одежды, ощущая каждой родинкой ласку теплой воды и первозданность бытия. Кто знает, сколько влюбленных смотрят сейчас на россыпь звезд и клянутся достать для своих единственных с неба или из-под земли все что угодно? И сколько приятных воспоминаний оставит для кого-то именно эта ночь десятого июля. Но только не для нее.

Въезд на территорию дачного товарищества обозначал одиноко светящий фонарь. Его тусклый свет еще больше сбил ее с толку. Куда теперь? Она и днем с трудом ориентировалась среди прижимающихся друг к другу построек. Да и бывала она здесь крайне редко, последний раз — почти год тому

назад. Проехав еще метров сто и повернув пару раз совершенно по наитию направо, она остановила машину и вышла в ночную пустоту. Спросить было не у кого. Где-то глухо залаяла собака. В конце улицы в одном домике горел свет. В три часа ночи заявиться на дачу — совершенно бредовая идея, если принять во внимание то, что она не совсем хорошо помнит ее месторасположение. Осторожно ступая, словно боясь разбудить предстоящие неприятности, она решила пройти вперед. «Я крадусь, будто воришка. Как в детстве, когда такими же летними ночами мы с друзьями совершали набеги на чужие сады за яблоками. И так же в желудке холодело от страха. Но что же мне делать сейчас?» — подумала и решила идти на свет в окне, где, наверное, не спят. Она найдет, как им все объяснить.

Почти подойдя к дому, прислушалась. До нее донеслись мужские голоса, громкие, явно разгоряченные. «Похоже на задушевный мужской разговор под водочку. И я тут к ним — скажите, пожалуйста! А вдруг они голодные? Не пойдет». Она замерла, собирая остатки мыслей в кучку. Но решение пришло само. Какой-то восхитительный аромат заставил ее обернуться. «Маттиола!» Любимые цветы. Вот так, по запаху, она нашла то место, где должна быть ее мама.

На подкашивающихся ногах она вошла в темную веранду, стараясь не греметь почему-то тяжело открывающейся дверью. Не включая свет, она робко позвала: «Мама, ма-а-ам, ты здесь?» В нос ударил запах корвалола — так и есть, оно. Ну почему она не позвонила маме именно сегодня? Только бы ничего страшного. «Надюша, это ты, что-ли? Что случилось?» Отлегло. Мама с трудом поднялась с постели. Они обнялись. «Ты только не волнуйся, дорогая. Как ты? Я вчера не смогла тебе дозвониться, работы море. Вот и приехала навестить». — «Сочиняй еще что, среди ночи принеслась».

Мать промолчала про очередной гипертонический криз, дочь не сказала про внезапный укол интуиции, что с мамой не все в порядке. Они были самыми близкими людьми на земле в эту минуту. И только июльская теплая ночь знала, как они встретились. «Уже получше, бури магнитные были, наверно. Да и воды натаскалась. А ты как, доча?» — «Нормально, работаю допоздна, кредит погашать надо. Машка тебя целует, сессию уже сдала, скоро приедет». — «Хорошо бы внучку сюда на свежий воздух из этого дальнего Питера, я бы ее витаминами с грядок вмиг восстановила. Да и ты могла б хоть в выходные приезжать, а то с прошлого августа не появлялась».

Надя не стала оправдываться, что в этом году совсем времени не хватает. Даже весна пронеслась галопом в дурацкой спешке. Знала, мамин друг Вадим Петрович помог с переездом на дачу на весь сезон, да и сам иногда наведывался помочь. А она моталась по командировкам, составляла бесконечные отчеты, в мае по горящей путевке на десять дней слетала в жаркий Египет, уже успела смыть загар и еще не просмотрела все фотоснимки с красивыми пейзажами.

«Ладно, мамуля, проехали. Вот выйду на пенсию, перееду сюда, как и ты. А сейчас давай спать, я завтра останусь у тебя до обеда».

Женщины не сразу улеглись, решили попить чаю из мяты с мелиссой, разговаривали. Надежда поймала себя на мысли, что мама никогда не жалуется. Даже запретную тему про ее, Надину, личную жизнь осторожно поворошили. И как всегда, она отшутилась, мол, ее счастье где-то рядом бродит.

Знала бы она в ту минуту, что так и есть. Правда, оно сейчас сладко похрапывало в соседнем доме.

Начинало светать, и Надя вышла на улицу переставить машину поближе к дому. Она не чувствовала усталости и любовалась великолепием летнего рассвета. Как же давно она не видела такого неба! Тихо до шороха собственных шагов. И как замечательно, что она здесь.

Внезапно дверь соседнего домика открылась, и из него вышел абсолютно голый и лысый мужчина с круглым волосатым животиком, сонно потягиваясь. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, как инопланетяне, а потом дружно рассмеялись. Он — нисколько не смущаясь собственной наготы, она — прикрывая лицо ладонями и присев от смеха на корточки. Ситуация.

«Простите, девушка, я вас смутил. Здрасьте. Если я сейчас повернусь, вы увидите мой зад и будете смеяться еще больше. Я не хочу умертвить вас таким способом. Поэтому самое разумное — познакомиться. Меня зовут Олег. Только дайте мне надежду найти мою одежду, видите, я уже способен каламбурить».

Она встала, продолжая смеяться, и еле смогла выговорить: «Я — Надежда. Я не шучу. Меня действительно так зовут».

«Вот те раз, интересно-интересно. А давайте вместе поищем ближайший нудистский пляж. Вы не против? Только, чур, я сигареты возьму», — с этими словами он прошел к стоявшей недалеко презентабельной машине.

Она не сразу нашлась с ответом, сослалась на спешку. Но сердце повелевало остановиться. Может, потому, что слишком необычное знакомство приключилось, может, потому, что этот мужчина чем-то ей был интересен, а может, потому, что устала бежать по жизни одна? Выяснилось, Олег приезжал с другом к его приятелю по какому-то пустяковому делу, те засиделись допоздна за столом, а он, выпив для приличия, быстро уснул.

В город они возвращались вместе. Мама, как всегда, нагрузила ей всякой зелени и, улыбаясь одними уголками глаз, просила не волноваться. Олег галантно ехал за ее машиной, любуясь стилем вождения стройной моложавой женщины с убранными в высокий хвост каштановыми волосами и красивыми загорелыми руками, максимально обнаженными в майке на тонких бретельках.

А она не верила пока в зарождающуюся любовь и просто ехала навстречу новой жизни. И только повторяла про себя, как же прекрасен запах маттиолы, волшебной ночной фиалки, неприметной днем и роскошной летними ночами.

STORY

Никто никуда не спешил. Было дождливо-сонное утро будничного дня, и торопиться куда-то в девять часов мог разве что влюбленный идиот, коих на горизонте не наблюдалось. Час пик проехали.

В городском автобусе уже немноголюдно. Читающая женский роман девушка в очень короткой юбке и с креативной стрижкой ехала в один из сотен маленьких магазинчиков на вокзале, чтобы с подобием улыбки продавать салфетки и мыло бесконечным покупателям, которые так и норовят зайти в магазин на самой интересной странице. Угрюмый лысоватый мужчина с выражением изжоги на лице шелестел свежей газетой. Юное бесполое создание с длинными на пробор волосами, пирсингом в носу, плеером в ушах и чем-то пушистым под носом листало яркую тетрадку с мелким ровным почерком. Грузная старуха в сбившемся набок темном платке готовилась сойти у церкви. Дама на высоких шпильках с нескладывающимся мокрым зонтом мило трещала по сотовому. Две подружки живо обсуждали то ли сериал, то ли похождения соседского муженька на стороне. Одна из них театрально закатывала глаза, другая, улыбаясь, обнажала неухоженные зубы. Еще пара-тройка неприметных граждан — вот и все пассажиры просторного новенького автобуса, который мирно катился по своему маршруту.

Утро казалось слишком обыкновенным, таким серым, что водитель забывал объявлять остановки. Но судьба-художник распорядилась добавить резких красок, не слишком заботясь о способе самовыражения.

Они сразу обратили на себя внимание. На заднюю площадку загрузилась компания из четырех слегка выпивших (или еще не протрезвевших) недавних подростков. Утруждать себя приличным поведением никто не собирался. Склабились, шутили, пытались к чему-либо приложить руки. Хотя бы к люку. Телодвижения нужны были им как воздух. Крышка люка на задней площадке автобуса открылась как-то подозрительно легко. Слегка качнуло, и долговязый парень с возгласом «Е-мое!» пошатнулся, удерживая равновесие. Его друзья тупо уставились на прямоугольник серого неба, а крышка планировала за уезжающим автобусом.

В следующие две секунды никто не понял всего ужаса происходящего. Тем более водитель автобуса, который заканчивал движение по мосту. Удар. Похожие на град звуки осколков стекла. Визг тормозов. Потом еще более сильный удар. Скрежет металла. Визг останавливающихся машин. Крики людей. Страшный грохот. Истошный вой клаксонов. Зеркало заднего вида злополучного автобуса показывало картинку из фильма про катастрофу, а в головах не укладывалась реальность. Водитель как-то неестественно плавно притормозил, открыл дверцу, вылез из кабины и потрусил к месту аварии.

Пассажиры оцепенели на своих местах. Парни на задней площадке припали к стеклу, удивленно матерясь и пытаясь приободрить ставшего вдруг напряженно-удивленным сотоварища. Что-то случилось? Очевидно. Их друг раз за разом поднимая руку вверх, словно пытаясь воспроизвести предыдущие действия, только повторял: «Во, блин».

Любопытство влекло рассмотреть подробности, да и спиртное не способствовало принятию трезвых решений. Но когда среди пестрых по интонациям реплик типа «что случилось?», «какой кошмар!», «это все эти, сзади», «да они же пьяные» прозвучало «убили» и «он крышку как рванет!», — молодые люди решили ретироваться с места происшествия.

А мелкий дождь, летя с небес, куда совсем скоро попадут как минимум трое, подло моросил и не собирался заканчиваться.

Таких нелепых и жутких аварий город еще не знал. Следовавшая за автобусом старенькая мазда застыла на встречной полосе с разбитым лобовым стеклом и неподвижным пассажиром на переднем сиденье. Водитель стонал и шевелился, наверное, в полубессознательном состоянии. Дальше — больше. У въехавшего в зад мазды мерседеса всего лишь была разбита левая фара. Его хозяин, немолодой дядечка, внешне целый и невредимый, держась то за сердце, то за голову, ходил между машинами и тыкал в мобильный. Но самая страшная догадка, посетившая водителя автобуса и увидевшего развороченное ограждение моста, нашла подтверждение в груде серебристого металлолома на краю газона, пару мгновений назад бывшей новеньким джипом с рыжеволосой молодой женщиной за рулем.

Третьим погибшим стал четырнадцатилетний щуплый и высокий парнишка. Он стоял на задней площадке троллейбуса, ехавшего под мостом, и прямо у него на глазах рухнула такая красивая машина. В суматохе никто сразу не обратил внимания на тихонько присевшего на пол мальчика. Его слабое сердце не справилось с испугом и перестало биться (кто мог знать про врожденный порок?), а вовремя помощь оказать было некому — там такое!

Утро превратилось в кошмар на проспекте. Безносая с косой в руках пожинала свой урожай, а люди смотрели, суетились, чертыхались, крестились, сопереживали и недоумевали, как такое могло случиться.

Очень скоро послышался вой сирен, и машины с проблесковыми маячками уже мчались на помощь. Оперативно сработавшие дорожные инспекторы освобождали подъезды для «скорых», деловито жезлами указывая, кому и куда нельзя ехать. Никакой паники. Все штатно. Хотя ДТП из разряда чрезвычайных.

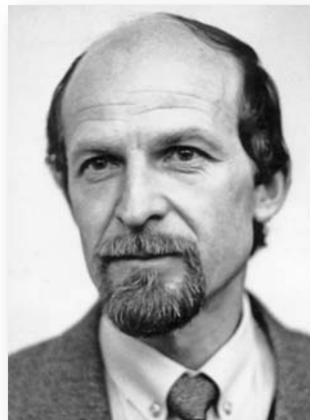
А водитель того самого автобуса внезапно вспомнил про реплику напарника о «хреновом» креплении крышки люка перед рейсом. Вот влип! Но милиция ведь разберется. Он-то в чем виноват? Ехал медленно. Мужчина достал пачку «Винстона» и закурил, глубоко и задумчиво затягиваясь, а руки, загорелые и не очень грубые, недавно так уверенно лежавшие на черном руле автобуса, сами сжались в пару кулаков на расстоянии наручников.

Время, застывшее минутой раньше, как в эпизоде жестокого кино, снова вернулось к обычному течению. И почти все, кого судьба-режиссер не попросила остаться для исполнения главных ролей, поспешили по своим делам. Из пассажиров автобуса в категорию свидетелей не попали ни девушка, убежавшая открывать привокзальный магазинчик, ни словно растворившийся в дожде мужчина с газетой, ни глуховатая набожная старуха, ни болтливые подружки-сплетницы. Дама с непокорным зонтом возмущенно вышла голосовать маршрутке, да так и застыла на тротуаре. И только читавшее конспект учащееся сняло наушники, прошлось вдоль разбитых машин на мосту, спустилось вниз, молча постояло в толпе зевак возле джипа, положило тетрадку в рюкзачок, сфотографировало аварию на камеру мобильного телефона и двинулось к милиционеру, чтобы узнать, куда звонить завтра, если надо, потому что сейчас ему некогда.

Да и чем они все могли помочь? Все свершилось. Медики пытались реанимировать, пожарные раскручивали рукава, спасатели готовились извлекать тело, мальчишку наконец-то заметили уже бездыханным.

Видеокамеры наблюдения расскажут правду. Виновные понесут наказание. Водитель автобуса совершит попытку суицида, отстрелив себе ухо из охотничьего ружья. Некто, который нечаянно сорвал заводскую резьбу парочки болтов крепления отлетевшей крышки, так ни о чем и не узнает в редких перерывах между запоями. А тот, кто допустил какую-то там халатность при проверке подвижного состава перед роковым рейсом, отделается условным сроком. Водитель мазды пролежит месяц в больнице и, узнав о гибели друга, с которым они в то утро ехали смотреть его новую квартиру, никогда не сможет сесть за руль. Владелец мерседеса оправится после инфаркта и продаст к чертовой матери битую машину. Родители паренька, младшего в многодетной семье, станут еще чаще ходить в молельный дом. А на могиле с фотографией улыбающейся красавицы в ореоле рыжих волос среди многочисленных венков и вороха букетов по воле судьбы-реквизитора будет мокнуть под дождем игрушечный медвежонок с надписью на кружевном воротничке «With love».





ФЕДОР ГУРИНОВИЧ

Отчизны целебная зёлка

Отчизне

Нам Родина дается только раз.
И хоть судьба порою так капризна,
Но дай Господь, чтобы была у нас
До смертного креста одна Отчизна.

Как будто тот, что с нами зимовал,
Подранок,
По сенинке, по крупице
Ее я с детства в сердце собирал
И все боялся ей не пригодиться.

Она казалась матерью святой,
Что я в церквушке на иконе видел.
Ну а порой ее я ненавидел,
Поскольку мне Отчизна снилась той
Старухою с протянутой рукой,
На нищенку несчастную похожей.

Нет-нет, простите. Я ведь и такой
Любил ее.
Еще сильней, быть может.

Вся в обелисках, в шрамах и в рубцах,
Она была под пыткой не однажды.
Во все века им не было конца —
Тем, кто поставить на колени жаждал
Ее.

Она вступила в смертный бой
Короткими июньскими ночами.
В надежде колыбель она качала,
В чернобыльском гробу качала боль.

Какой бы ни случилась доля горькой,
Как мать свою, Отчизну я пойму...
Она взошла на небе ясной зорькой,

Сквозь сердце проросла целебной зёлкой[1]…
Ее не дам я вырвать никому!

Далекое

Сейчас позвал бы, кажется, окликнул
Печально-звонко, как в пустой бидон.
И вместе с золотой порой каникул
Пришла бы Пасха в материнский дом.

Садились мы за стол иконописно —
Отец и мать, и братья все мои.
Да будет так из века в век и присно,
Дай Бог вам, люди, счастья и любви!

Потом являлась бабушка Мария
С веселою лукавинкой в глазах
И шепотом молитвы говорила,
Неистово крестясь на образа.

И чтобы мы не потеряли веры,
Чтоб луч надежды в душах не погас,
В церквушке освященной веткой вербы
Она небольно всех хлестала нас.

Звон колокольный плавно плыл с небес,
Сияющих, как батюшкина ряса.
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!
Христосовались люди по три раза.

Гостям раскрыты были все дворы.
Собравшись вместе, взрослые и мальцы
По желобу из липовой коры
Катали луком крашенные яйца.

Гудел денек, как глухариный ток,
Ну, кто ж яичко выиграть не хочет!
— Чуть-чуть правей! —
И подставляло бок
Яйцо, уже проигранное, впрочем.

У битого яичка нос облез,
Оно катиться не хотело дальше...
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!
Пускай воскреснет он и в душах ваших.

---

[1]Зёлка — травка (*бел.*).

Грустное

Ну, разве же стерпеть такое можно?!
И сердце разрывается мое
С того, как оскорбляет мать безбожно,
Что пенсии ему не отдает,
Сынок сорокалетний.

Ах, бесенок!
Ты что с деревней вытворил, скажи?
Ты сколько песен вытравил веселых,
Добра и ласки из ее души?

Я за нее молиться на коленях
Готов.
Я к ней всегда приехать рад.
Да вот опять, к большому сожаленью,
Меня не понимает младший брат.

И гнет соседка трехэтажным матом,
Ногой швыряя в сторону щенка.
И даже солнце как-то виновато
Пытается уйти за облака.

И корчатся деревья в огороде...
Я всех простил бы,
Ведь любовь сильней.
Но пьяный конюх сивку бьет по морде,
А я ведь в сказку странствовал на ней.

Моя лира

Уже вокруг смеркается чуть-чуть.
И в небе звезды двух сестер Медведиц
Восходят,
Обозначив птичий путь.
Они для птиц — как «аз», «буки» и «веди».

А в омуте бездонном надо мной
Блаженствуют ветров виолончели.
Сквозная трасса птичьего кочевья
Звенит печально тронутой струной.

Летят устало птицы над водой
И над дубравой трепетною рыжей —
Преследуемые какой бедой?
Какой сквозняк из теплых гнезд их выжил?

Их поджимают дома холода.
С извечным и невыразимым горем
Они свой путь направили туда,
Где им кручина сдавит песни в горле.

Ведь ни зарянку там, ни соловья
На бис исполнить соло не попросят...
А между прочим, это и моя —
Какая ж это там по счету осень?

В глубокое раздумье погружен,
Слежу печально за последней стаей.
И прежде чем в туманной мгле растаять,
Она до боли душу обожжет.

Под небосводом жалобным стою.
Но вряд ли птиц утешить я сумею.
Доверил лиру мне Господь свою,
Пока учусь я пользоваться ею.

Дождь

Убрать сенцо — забота из забот.
Но дождь — какое ж он имеет право?!
Так нет же, нет — ползла из-за дубравы,
Заштриховать пытаясь небосвод,
Тревожной синью набухая, туча.

И, словно плащ, сорвавшийся с гвоздя,
Обрушилась вдруг дождиком кипучим.
И радуга кузнечиков трескучих
Померкла в водопаде неминучем
Обвального июньского дождя.

Он как-то разом, резко, без вступленья,
Округу всю собою заслонив,
Пошел хлестать по спинам, по коленям.
И весело сверкали, как лини,
Отмытые от пыли икры ног,
Когда я пер с граблями через поле.
Ну, хоть бы жидкий кустик, хоть бы стог!
Плескали по затылку струи с болью.

Вот это дождь!
Вот это, братцы, дождь!
Хоть полчаса лишь у него в запасе,
На миг под этот ливень попадешь,
И сразу — словно в море искупался.

О нем не скажешь: дождь, как из ведра,
И не из бочки даже — из цистерны.
Как будто на пожарника экстерном
Экзамен сдал он.
Экая игра!

Игра литых непобедимых струй,
Сплошной стеною в воздухе повисших.

И солнце — там, над дождиком, повыше
Сияет, словно первый поцелуй.

Поток воды остановить нельзя.
Стать полноводной речке подфартило.
Лавина влаги!
О, ее хватило б
На целый месяц тихого дождя.

Неудержимый, за десятерых
Максимализм свой вышумит мгновенно,
Наполнив сотни луж кипящей пеной.
А мог бы напоить весь материк.

* * *

Почти неделю целую стоит
В садах тысячекрылое веселье.
Старушки вышли из дворов своих
И на скамейку рядышком уселись.

Ладони положили на колени.
А на руках у каждой — как узлы —
Припухшие натруженные вены.
Платки с волос на плечи их сползли.

— Какая благодать-то, Боже мой!..
Вот так бы жил и жил, не умирая.
В цвету земля вся без конца и края.
И уходить не хочется домой.

И вместе со старушками село
Вздыхает как-то вроде виновато.
И волосы им густо замело
Порошей отцветающего сада.

И сад, и двор, и тропка вдоль села —
Простор весенний весь цветами заткан.
Земля — вся в бело-розовом — светла.
И обо всем, что выведать смогла,
Рассказывает выводку пчела.
И объясняет, как лететь за взятком.

Как будто ритуал вершит она.
Таинственно кружась в извечном танце,
Древнейшие диктует письмена.
Какая сила в них заключена:
Инстинкт ли, разум, или гравитации магнит,
Перед которым не вольна.
И слава Богу, что не объяснить

Всех таинств, что природа преподносит:
Чем больше есть загадок у весны,
Тем больше нам сулит открытий осень.

Осень

На небе стай гусиных перекрестки.
Нет перевода на язык людей
Концертных залов, улиц, площадей
Их грусти.
На шиповнике наперстки
Горят огнем.

И, кажется, от горстки
Дозревших ягод вспыхнет и трава.
На филина пугливого похожий,
Прищепки оставляет куст на коже
Тому,
Кто хочет ягоду сорвать.

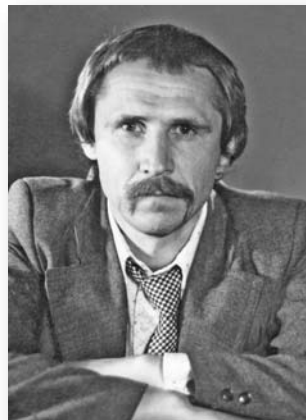
Стекает холод утренний на озимь.
Туман редеет в полдень лишь на миг.
Чертополох вдоль старицы поник.
Теперь он весь увешан пухом козьим,
И только лишь одним соцветьем поздним
Напоминает нам, каким он был
Малиновым.

И это словно всхлипы
О солнышке, о лете, о тепле.
О благодарной бархатной пчеле...
Живу в лесах который день.
Мой быт —
Рыбацкий котелок, черпак из липы.

В стогу ночую с осенью в обнимку.
И проступает память о былом,
Как будто лица на истлевших снимках.
И ветер, птичьим пахнущий крылом,
В кострище звезды жаркие тревожит.
И чем туманней лица — тем дороже.
И застревает в горле спирт колом.

Так с небом, что ли, пить мне мировую?
Пылает ярким пламенем смолье.
Беру звезду я в пальцы костровую
И прикурить пытаюсь от нее.
Эй, сторожа небесные, ну где вы?!
Считайте же: в гармонии ночной
В созвездии мечтательном у Девы
Звезды недосчитаться вам одной.

Перевод с белорусского автора.



ГЕОРГИЙ МАРЧУК

Год демонов[1]

Роман

III

Олеся Якунина отца своего, прославленного партизана, героя войны, именем которого названа школа в его родной деревне, не помнила. Ей было три года, когда он умер от старых ран на руках у жены и старшей дочери Катерины. Уже после его смерти, благодаря стараниям друзей-партизан, семья бывшего командира переехала из временного барака в центр, в двухкомнатную солнечную квартиру в трехэтажном кирпичном доме. В этом доме, у подъезда которого рос куст цветов, в простонародье называемых «сердце», счастливо прошли детство и юность пытливой и послушной девушки. Мать осталась верной мужу; второй раз замуж не пошла. Работая в военкомате, она ценила и воспитывала в дочерях чувство дисциплины, ответственности и заботы друг о друге. Катерина удивляла самостоятельностью, уравновешенностью. Она блестяще окончила политехнический институт и осталась в «альма-матер» преподавать, готовясь защитить диссертацию, однако помешали ей раннее замужество и рождение сына.

Появление в доме чужого мужчины не могло разрушить этот тройственный «союз императриц». Олеся медицинский институт выбрала сама, потому как туда поступал Он, парень из параллельного «Б» класса, которого она тайно боготворила. Случилось им через два года на уборке картошки в Витебской области оказаться рядом, в соседних деревенских хатах. Работали студенты в охотку, хоть и тяжело, но добросовестно. Конец сентября, темные холодные ночи, а все молодой крови не помеха. Брали корзину красного портвейна, разводили у редкого леска костер и под звуки гитары балдели до полуночи. Закусывали печеной картошкой, хлебом с солью да сигаретой. Она и не заметила, как осталась с ним у огня одна. Остальные незаметно парами рассыпались за кусты. Тревоги на душе не было. Не чужой. Ночь, безлюдье, догорающий костер — все это способствовало его смелости, подогретой вином. Он без слов хищно навалился всем телом на хрупкую Олесю и, целуя в шею, принялся стягивать с нее спортивные брюки. Испуганная, она начала сопротивляться, отталкивая его, стараясь высвободиться из рук-клещей. Бесполезно. Оставалось последнее — звать на помощь. И она громко, истерично закричала. Голос «уперся» в глухую стену елок да сосен. Она теряла последние силы. Что-то все же заставило его опомниться.

— Не ори, дура! — фыркнул он. — Нужна ты мне. Вопит, как недорезанный поросенок. Разве я тебе не нравлюсь?

— Нет, — зло ответила Олеся неправду.

---

[1] Продолжение. Начало в № 1, 2012 г.

— Ну и ходи целкой до тридцати. Тебя за твое дурачество, закомплексованность никто замуж не возьмет.

Он схватил бутылку с оставшимся на дне вином, запрокинув голову, вылил себе в рот, бросил бутылку в костер, встал и пошел в сторону деревни. Она, не дожидаясь остальных и не теряя его из виду, но и не приближаясь к нему, осторожно пошла следом.

Этот случай остался между ними. Будучи во всем откровенной с сестрою, даже от нее она все утаила. Удивительное дело — переменчивость, уже через две недели она готова была его простить и простила, с обидой наблюдая, как он ухлестывает за дочерью профессора. Тоска ее не грызла. Общительная, непосредственная, что, впрочем, свойственно молодости, она решила серьезно заняться волейболом. Слава баскетболистов РТИ набирала размах. Тренерша — оборотистая бабенка — взялась создать на базе института первоклассную команду. Тренировались упорно, до отупения. На полдороге к заслуженной известности Якунина неожиданно для всех оставила команду. Был веский и убедительный повод: мать перенесла инфаркт, но была и другая, личная, скрытая причина. Разбитная тренерша, приласкав девушек, воспитывала из них что-то вроде девиц легкого поведения, превратив свою двухкомнатную квартиру в этакий микробордельчик. Якуниной «изысканные манеры» были не по душе. Она одной из первых раскусила планы тренерши и простилась со спортом. Уютно, свободно, безопасно она чувствовала себя только в семье, в которой, мужественно сражаясь с хроническим безденежьем, жили любовью и нежной заботой друг о друге. К слову, когда она уже работала в клинике и родила первую дочь, было в ее жизни одно мимолетное «искушение», вернее, комическое подобие его. На троллейбусной остановке он — высокий, статный, с сонными глазами — поинтересовался «как проехать в аэропорт». Она со свойственной ей игривой любезностью подсказала номер троллейбусного маршрута, указав остановку на противоположной стороне проспекта. Неожиданно он поехал вместе с ней, представился вулканологом. Теперь уже его внимание (опаздывал в аэропорт, а проехал с нею целых пять остановок), таинственная профессия заинтересовали ее. Она приняла предложение и пришла на безобидную, как ей думалось, встречу. Гуляли по набережной Свислочи. Путано и невнятно он, грациозно поддерживая ее под руку, говорил о сопках и вулканах Камчатки, часто переводя разговор на рестораны городов Дальнего Востока. Он, очевидно, долго просидел взаперти, соскучился по женскому телу. Усыпил бдительность, легко поцеловал ее в губы, которые она тотчас вытерла рукой. Это ему не понравилось. Да и она держалась напряженно. Поскучали еще минут двадцать и разошлись. Она оставила ему номер своего рабочего телефона. Исчез. Не звонил. Тогда ее еще не угнетало семейное однообразие.

Психологический надлом произошел после смерти матери, которая не перенесла третьего инфаркта. На всю жизнь запомнились прощальные слова самого дорогого человека: «Не смогла я полюбить твоего мужа, извини. Не такого тебе желала. Недостоин он тебя. Держи семью... такая твоя доля. Будь внимательна в жизни...»

К сорока годам она поддалась упадническим настроениям, считая, что золотая пора жизни миновала, не подозревая, что носит в себе огромную потребность любить. Любомир нес ей вместе с тремя первыми астрами разочарование: он раздумал писать очерк о ее буднях и праздниках. Видя в ней неординарного человека, он передумал лепить с нее модель типичного советского героя. Он боялся разочароваться, познакомившись с ее работой, вехами биографии — ведь абсолютное откровение исключено. Его фантазия уже дорисовыва-

ла ее образ. Сам был неординарным. Когда все начали зачитываться Маркесом, Пикулем, Паскалем, он умышленно цитировал максимы менее известного Люка Вовенарга. Он понял, то «найденное им сокровище» ему не хочется выставлять на всеобщее обозрение. Кажется, она ему понравилась: внешностью, голосом, синью в распахнутых глазах, движениями рук, походкой. Когда человек не видит недостатков в женщине, он начинает влюбляться в нее. Вот она идет, еще не видя его. Усталая, отрешенная. Но сколько в ней притягательной колдовской женственности. Не всем дано распознать, не всем. Его появление она встретила вежливо, но без особого восторга. Он побледнел.

— Извините, ради бога, я без звонка, — он протянул ей цветы.

— Ничего. Творчество непредсказуемо, но я не готова к разговору. Может, оставим эту затею?

— Знаете, именно с этим предложением я и пришел к вам. Вы мне интересны, говорю искренне, но почему-то не хочется выплескивать свои симпатии на страницы газеты.

— И слава богу, — с печалью в глазах сказала она, — и у меня гора с плеч.

— Вы не обижаетесь? — несколько подавленно спросил он.

— Господи, я не настолько тщеславна, чтобы убиваться.

— Разве вы не ранимы?

— Это не беда. Пережили изобилие, переживем и разруху.

— Умоляю вас, только не сводите все к ловкому трюку.

— Ну что вы, сударь, мне, наоборот, приятно, что вы по-человечески просто признались.

— У вас прежний маршрут?

— Неизменный... Вдоль по Питерской.

— Может, мы выкроим минуту на чашечку кофе?

— Может быть.

Они подошли к кафе с заманчивым названием «Паляўнічы». Спускаясь по лестнице вниз в подвальное помещение, он подал ей руку, и она охотно на нее оперлась.

Кофе оказался недоброкачественным, пережаренным, оседал во рту горечью.

— Я хоть и живу в двух шагах отсюда, а из-за суматошной жизни, беспросветного быта не хожу ни сюда, ни в соседние кафетерии. На работе пьем чай.

— Индийский?

— Откуда? Второй сорт грузинского или азербайджанского.

— Я вас угощу индийским.

— Вы всегда такой сосредоточенный?

— Нет. Временами только нападает блажь, съедает червь отрицания и осквернения всего, — ответил он, когда вышли на проспект.

— Вспомнилась смешная история. Когда мы ходили надутые, недовольные, профессор, который читал нам лекции, любил поучать: «Полощите рот коньяком — не будет пародонтоза». Извините, но мне надо, совмещая приятное с полезным, купить чего-нибудь на ужин. Может, у вас дела? Боюсь, в магазине будет очередь.

— Я не тороплюсь. Составлю вам компанию. У вас семья большая?

— По нынешним временам большая. Двое детей.

— Станем в очередь и возьмем всего по два килограмма.

— Боюсь, тогда вашей семье ничего не достанется, — ответила Олеся, поправив рукой густые волосы.

— Мой единственный сын служит в армии. Овчарку забрал с собой на границу. Жена блюдет фигуру — килограмма не съедает.

Они зашли в хлебный.

— Я люблю самый черный... с маслом. Впрочем, я забывчива. Вы ведь передумали писать... к чему мне рассказывать.

— Говорите обо всем на свете. Мне интересно вас слушать, — сказал он, задумчиво глядя на нее, — мне кажется, муж у вас военный?

— Почему вы так решили? — она улыбнулась.

— У вас точные движения, размеренный шаг, чеканные ответы.

— Это плохо?

— Да нет.

— Муж у меня инженер. Папа некоторое время был военным. Я горжусь им. Он кавалер трех орденов Славы. Ну вот. Сосисок нет и в помине, — продолжала она на пороге гастронома, в котором стоял густой неприятный запах: пахло залежалой рыбой, гнилой картошкой.

— Купите колбасы.

— Осталась собачья радость — ливерка. Здесь после обеда колбаса редко бывает. Выметают с утра. Ладно, устрою своим разгрузочный день. Кефир, сливки, сырок, — она встала в очередь к кассе.

Пенсионерка-кассирша медленно отпускала покупателей. Любомир стоял у кондитерского отдела и чувствовал себя и смешным, и неловким. Вышел из гастронома и увидел напротив, у овощного магазина, совсем небольшую очередь за апельсинами. Решение созрело молниеносно. Он успеет купить для нее килограмм цитрусовых. Усталая продавщица с тяжелым взглядом и морщинистым лбом выбирала из последнего ящика последние апельсины последним счастливчикам.

— Не занимайте больше очередь, — предупреждала Любомира старушка с трясущейся головой.

Горич все же подошел к весам, замер в неподвижности, глядя прямо в устало-недовольные глаза продавщицы. Она сгребла широкой ладонью мелочь со столика.

— Чего уставился, я тебе не Софи Лорен.

Он остался невозмутимым.

— Выручайте. Мне надо всего три апельсинчика.

— На троих? Нашли чем закусывать. Людям в больницу не хватает. Инцялигент какой. Кильку купи, дешевле будет.

— Умоляю. Спасите меня. Сегодня у меня день рождения. 13-е число и понедельник, — в голосе появились нотки мольбы.

— Нехристь, уйди с глаз долой. Глаза как у варьята, — завелась продавщица.

— Вот вам два рубля. Не надо взвешивать. Всего три апельсина... будьте человеком, надо... Пусть это будет вашим подарком.

— В такой день нормальные люди не родятся. Хиба чорт. Доставала настырный. Себе килограмм оставила, так готов из горла вырвать.

Они остались у весов одни.

— Умоляю, — гнул свое, не теряя надежды, Любомир.

— От наглющий народ, спасу няма, — она нагнулась и достала из-под столика три апельсина. — На! Но коли берете для закуси, шоб вы ими рыгали два дня и две ночи.

— Спасибо. За ваше великодушие вы оставшуюся жизнь проживете в достатке и комфорте!

— Ага! Накаркай еще. В достатке только в животе у матери живут да в тюрьме за день до смерти. Иди. Не дури головы, больше не дам. Мне выручку посчитать надо. Иди.

Олеся уже стояла у гастронома и искала его глазами.

— Вот, угощаю. Из цепких рук кооператорши вырвал последние три.

— Спасибо. Право, неловко. Возьмите один жене.

— Только вам.

— Хорошо. Тогда давайте один съедим, — с детской непосредственностью предложила она и, передав ему сетку с продуктами, принялась очищать апельсин, оставляя в ладони кусочки кожуры.

Они подошли к арке, ведущей во двор ее дома, выдержанного в архитектурном стиле пятидесятых-шестидесятых годов.

— Извините, надо торопиться. — Я вас предупреждала, что я женщина занятая. Вам со мной скучно, потому как всегда тороплюсь и постоянно что-то делаю, копчу небо.

Он передал ей сумку с продуктами.

— Извините еще раз, если обидел вас своим решением.

— Ну что вы. Мне, наоборот, стало легко.

— Не стану говорить «прощайте». Скажу «до свидания».

— Вы думаете, оно нам необходимо?

— Не знаю. До свидания, — он слегка коснулся губами ее руки.

— До свидания, — она ушла, не оглядываясь.

«Досадно», — подумал он, оставаясь стоять под аркой.

Поднимаясь к себе на второй этаж, она с горечью подумала: «Он говорил сухо, учтиво, по-джентльменски. Неужели как женщина я ему не интересна? Будь на моем месте двадцатилетняя фифочка, уж расплывался бы в красноречивых комплиментах». Ей захотелось, чтобы он стоял под аркой. Она задержалась у окна на лестничной площадке. Под темно-серой аркой — никого. Едва она переступила порог своей квартиры, как ежечасные, ежеминутные хлопоты надежно окольцевали ее. Август с замиранием сердца, не отрываясь от телевизора, помогал отважному итальянскому комиссару разгадывать злонамеренность спрута. Старшая, вся на взводе, нервная, торопилась на встречу с подругами, просила поутюжить ей единственное импортное платье. Сама она, не имея опыта, боялась его прожечь, как прожгла однажды чешские спортивные брюки отца. За что он ее и ударил. Младшая, нагулявшись во дворе — этой микротюрьме городских детей, — сидела на кухне, отщипывала кусочки хлеба, хотела есть.

— Картошки начистили?

Гробовое молчание.

— Когда-нибудь кто-нибудь в этом доме будет что-нибудь делать без напоминания?

— Мы делаем, — почти в один голос ответили дети, — подмели в кухне и вынесли мусор.

Чем ответить на эту непосредственность? Улыбкой.

— Мама, соседка купила в «Детском мире» на Калиновского тетрадей в клеточку. Она сказала, что их может первого сентября и не быть, — вспомнила с тревогой младшая.

— Хорошо. Поужинаем и поедем. Магазин работает до восьми.

— Я ужинать не буду. Я ухожу, — сказала старшая, Оля.

— Может быть, ты привезешь тетрадей?

— Еще чего. Я и так опаздываю.

С картошкой не заводились. Поужинали в темпе, Августу она отнесла еду на табуретку к телевизору. На секунду он отвлекся.

— Вы в магазин? Купи армянской минеральной воды. Эту дуру послал (он так «окрестил» старшую дочь), так она купила «минскую».

Побежала со Светой, как на сдаче норм ГТО, к трамвайной остановке. В магазине, за последний год к этому привыкла, столпотворение. Такое ощущение, что если завтра и не конец света, то уж торговля обязательно прекратится, потому в душном, тесном отделе канцтоваров вьется змейка-очередь из согбенных женских спин. Повезло, выстояли, успели... Отоварились за пять минут до закрытия. Одну остановку шли пешком... невозможно было втиснуться в трамвай. Доехали. Только вышли из трамвая, как глазастая дочь увидела, что возле столовой общежития с улицы дают сгущенное молоко. Побежали, постояли в очереди и за молоком. Дома сюрприз. Поссорившись с другом, Оля заперлась в комнате, жалуется или выясняет отношения по телефону с подругой. Отец не любит, когда уносят аппарат из прихожей.

Август на кухне. У него короткий перекур перед программой «Время».

— На день рождения руководство подарит мне приемник ВЭФ последней модификации, — говорил он с намерением утешить жену.

— Лучше бы они тебе подарили трехкомнатную квартиру.

— Ты отлично знаешь наши законы. У нас на одного человека более шести метров.

— Что вы у себя в стандартах эти законы тридцатых годов не отмените?

— Это дело Верховного Совета. Оля по недоумию никуда не поступит, пусть выходит замуж и уходит. Я не намерен кормить нахлебников. Сегодня разыгрывали на работе товары.

— Какие?

— Туфли, стиральную машину, утюг, кофемолку.

— И что?

— Не повезло.

— Надо было левой рукой тянуть, — с опозданием посоветовала младшая дочь.

— Тебя не спросили. Когда родители обсуждают свои проблемы, не лезь, сиди как мышь под веником.

— Август, не срывай злость на ребенке.

— Надоели. Собери-ка что-нибудь в дорогу. У меня в одиннадцать поезд. Еду в командировку в Витебск.

— Почему ты раньше не предупредил? Позвонил бы на работу. Я бы поискала в магазинах колбасу.

— Это решалось в конце дня. Ты не видела «Литературку»?

— Ой, кажется, я ее оставила у себя в ординаторской.

— Когда ты избавишься от этой врожденной несобранности и расхлябанности?

— Если она врожденная, очевидно, никогда, — не обижаясь, ответила она.

— Уже какие-то узлы на ногах появляются. Может, лимфоузлы увеличиваются от этой радиации проклятой?

— Покажись специалисту. Оля, — обратилась Олеся к дочери, — выскочи в магазин, может, колбасу выбросили. Купи отцу на дорогу.

Оля — ноль внимания. Август подошел и резким движением нажал на рычаг, забрал телефон в прихожую.

— Мне должны звонить по работе. Хватит попусту болтать.

— Я не пойду. До закрытия магазина десять минут, — недовольно ответила Оля.

— У нас остались какие-нибудь деньги?

— Я их с собой не ношу. Они все в шкатулке, — ответила Олеся, доставая с антресолей старенький коричневый чемодан.

— Я возьму сотню.

— Возьми.

— Очевидно, надо подыскивать новое место. Когда баба руководит — это угнетает психику. Говорю нашей Серафиме: что изменится, если я опоздаю на один день, полдня, выеду завтра? Нет, уперлась. Вы ответственны, вы основной докладчик! По фазам Луны мне противопоказано сегодня выбираться в дорогу.

— Ты же выезжаешь за час до полуночи. Разве это играет существенную роль?

— Знала бы, что говоришь.

— Пуловер возьмешь?

— Да. Надо все же, пока мы здесь живем, договориться с газовиком и перенести плиту ближе к раковине. Кто конструировал эти кухни? Камера в Освенциме больше.

— Разве не ваши стандарты утверждают размеры кухни, раковин, газовых плит?

— Утверждают. Только я к этому не имею отношения. Мое дело — система и метод самой метрологии и стандарта. На местах должны решать и действовать нашими приборами согласно нашим инструкциям и разработкам. Мое дело сертификаты. А у нас по старинке: ломом да лопатою, прибора, определяющего степень воздействия власти на человека, нет.

Позвонили. Первой подбежала Оля.

— Это мне, это мне.

Действительно, она не ошиблась. Поговорила три минуты и убежала счастливая.

— Надо что-то с ней делать.

— Занимайся этой дурой сама. К себе в стандарты я не поведу. Позор.

— Она хочет год готовиться и поступать снова.

— С ее мозгами десять лет мало для подготовки.

— У меня есть возможность временно определить ее в регистратуру нашей поликлиники.

— Определяй, если не забракуют по близорукости.

Усилием воли она сдерживала раздражение. Разговор иссякал, ускорила его своим приходом соседка Лера, которая одной из первых со своей ползучей бесцеремонностью втерлась в доверие к Якуниным. Женщины уселись на кухне.

— Сусидочко, пришла открытка на бобруйскую кухню, — грудным голосом начала Лера, вставляя в речь слова своей родной Черниговщины, — у кого, як не у вас, позычыть грошы. Грузчики с черного хода берут за нее две цены. Неизвестно, шо завтра будет. Дочка замуж пийде... кухня в приданое. Мне на тыждень две сотни всего. Вжэ мой непутевы чоловик едет асфальт лить на дорогах. Договор, кажэ, заключыли на двести тысяч. Безбедно, кажа, доживем до пенсии. Смеюся. Пока получат расчет, так в долг сто девяносто пять тысяч пропьют. От наказание. Как я завидую, что твой Август непьющий, человек умственного труда. Весь у мыслях. Сперва, скажу тоби, я думала: и шо у его морда вечно перекошана, як бы ён три раза уксус на день пьет. А когда ближе познакомилась, зауважала.

Лера отличалась удивительной способностью вместить в короткий разговор уйму тем, искусно умела придать смысл всякой околесице и чепухе.

— Я твоего чоловика свойму в пример ставлю. Говорю, коли ты вжэ возьмешься за розум. А ён жартуе: жду вторую революцию, когда приезжие комиссары подскажуть, как разам в одночасье стать счастливым и богатым. Хоть бы

якоесь НЛО забрало его на обследование, я б за доллары отдала. У нем, як у зеркале, вся наша система. Грешным делом думаю, скорее бы год активности Солнца, может, случится шо, да попадет в клиническую смерть... Говорят, когда з ее выходят, прозорливыми становятся. Вроде колдунов, як у Гоголя. Преобразился бы в Вангу, ци якогось экстрасенса, на халяву хоть грошы заробляв бу.

Когда-то Лера была неравнодушна к Августу, искала любой повод, чтобы наведаться к ним. Щеголяла безвкусными, но дорогими платьями. Угощала домашним — отменно пекла пирожки с капустой, мясом, вареньем. Чем побудила научиться печь и Олесю. Но упитанная и словоохотливая Лера не разбудила в замкнутой душе Августа симпатию. Вскоре, потеряв надежду, она перестала стесняться своей полноты.

Олеся принесла на кухню две сотни рублей.

— Спасибочко. Золотая душа, последнее отдашь. Скажу, шоб их теперь иметь, надо менять профессию. Две самые прибыльные. Кооперативша и рэкэтир. Если бы у моего не грыжа... я бы его в рэкэтиры определила. А вообще, признаюся тоби, няхай они позадушваются. Всэ. Жизнь летит, нос высморкать не успеваешь. Заводи любовника. У нас у одной: на «Жигулях» привозит, отвозит. Голубки. Не знаю, как твой, а мой олух забыл, что за женою надо ухаживать. Мой вжэ дидок. Спасибо. Пийду. Дай Бог тоби здоровья.

Лера спешила откланяться.

— Вспомнила. Мойму грузчик сказал, шо в наш гастроном привезли сервелат. Давать будут с открытия.

— У нас некому пойти.

— Добре. Возьму палочку на твою долю. Куда идем? Уже, говорят, порошок стиральный пропал. Добре, шо я хоть солью успела запастись. Спокойной ночи. Авгу-уст, спокойной ночи. Микола передавал привет.

— И ему передавай.

Олеся убрала со стола чашки, вымыла их, вытерла, поставила в шкафчик, замочила в ванной на ночь белье.

— Тебе в термос чай или кофе?

— Чай, — ответил из туалета муж.

Старшая дочь, проходя мимо туалета, умышленно громко сказала:

— Для чтения газет есть тахта. Двадцать минут не могу попасть в туалет.

— Август, опоздаешь на поезд, — торопила Олеся мужа, — учти, число автобусов вечером сокращено.

— У нас есть какая-нибудь трава от запора? — спросил муж на пороге туалета.

— Нет. Есть таблетки.

— Таблетки не пью. Кристаллы откладываются в почках. Врач в доме — и нету целебных трав, — с укором заметил он.

— Хорошо. Завтра куплю.

Он еще долго стоял в прихожей, одевался, примерял кашне, шляпу.

— Если позвонит Жорка Бутромеев, скажи, что я ему презервативы достал.

— Зачем ты до сих пор с ним якшаешься? Это мерзкий человек, ради выгоды готов на любую пакость.

— Он мне нужен.

— Папа, — не спала младшая, — счастливой дороги. Купи жвачек.

— Разве у нас нет?

— Были эстонские, да вдруг исчезли, — ответила жена, стоя у зеркала. Она провела рукой по его плечу.

— Паспорт не забыл?

— Кажется, взял.

— Кажется или взял? — она сделала шаг.

— Не суетись, взял. Ты как будто и рада, что я уезжаю.

— Устала. Хочу закрыть дверь и лечь.

— Я позвоню. Двери пусть никому не открывают.

— Господи, что у нас красть!

— Ну, все. Пока.

— Счастливой дороги.

Ложилась в темноте. Не хотелось читать, сил не осталось, да и газету забыла в клинике. С какой-то потаенной радостью вздохнула, глядя на одинокую яркую звезду, которая появилась в окне. «Каков этот день? Со смыслом или бессмысленный? Укрепил ее душевные силы или обессилил?

Только теперь, за весь вечер, она впервые в мыслях вернулась к Любомиру. Ненадолго. Сон быстро накрыл ее сладкой негой.

Любомир вспоминал о ней чаще, правда, в связи с анализом своего поведения. «Глупо. Любой женщине нельзя говорить правду. Сладкая ложь — вот для них бальзам». Тихо звучала музыка. В другой комнате под мелодию Вивальди Камелия, склонившись над письменным столом, «вымучивала» из себя рецензию на балетный спектакль. Она так и не смогла привить ему стойкую любовь к симфонической музыке. Штраус! Вот гений, которому он готов поклоняться только за одну увертюру к «Летучей мыши». Великий музыкант. Сколько он душ вылечил своим искусством, сколько укрепил жизнелюбия и, кажется, имел право у Бога заслужить вечную жизнь... Ан нет... умер и он. Куда и кому нести эту бессмысленную эстафету, называемую жизнью? Неужели Вовик Лапша верит, что вернется из пыли, материализуется и пойдет по второму кругу?

С ужасом он подумал, что и его труд — песок. Когда-то тешила надежда: вот он, мол, летописец. Суровый и правдивый. Изучайте жизнь по его статьям, книгам. Все «околотронные» народные и лауреаты, так называемые маститые писатели, исказили суть литературы, скучно описывая и восхваляя идеи, вместо того чтобы интересоваться человеком и его душой. Лжехудожественная мертвечина. Теперь он понимал, что и его, пусть полуправда, отомрет вместе с ним, как умрет поколение, а с ним и его газеты, деревни, автобусы, женщины. Новое поколение установит свои порядки, и никому не будет дела, как и кто жил до этого. Память по наследству не передается. Бедная Камелия! Ведь спектакль, опера умирает еще при жизни рецензента. В миллионном городе читают ее статьи только те, о ком они написаны. Что-то мерзкое сидит в каждом человеке. Хочется их, людей, ненавидеть за то, что понимая, как никчемно, дико, тупо, живут они, не стремятся разнообразить жизнь духовно: пусть не склонностью к размышлениям над бренностью сущего, но хоть элементарным осознанием своей миссии. Все. Решено. Дело Николая Ивановича — последнее социально-политическое дело. К черту! Архитектура, охрана животных, природа... Надо иметь дело с неодушевленными предметами. От них зло не исходит. Что делать с ней? Милой, наивной внешне докторессой? На волне ее второй молодости найдется козел-уговорщик и ведь может, может уговорить, не пытаясь разгадать то, что он открыл в ее глазах, душе. Завтра же отнесу ей инкогнито в клинику индийский чай и пластинку Штрауса.

Камелия еще долго втирала неприятный для него крем в ступни ног, пальцы, пятки.

— Я поставил будильник на семь. К девяти должен быть в Институте экономики. Не рано? Могу, если надо, перевести на полвосьмого.

— Пусть остается на семи. Если не закончу рецензию, допишу ее утром.

— Спокойной ночи.

— Фи-и... Медведь в лесу сдох? Что это с тобой?

Давно, считай, уже никогда, они не говорили друг другу перед сном «спокойной ночи».

На встречу с корреспондентом такой уважаемой и читаемой всю сознательную жизнь газеты секретарь парткома Института экономики Кузьма Федорович Дорофеенко откликнулся охотно, не поинтересовавшись сутью вопроса. Внешне в нем не было ничего от «монстра», каким его обрисовал Николай Иванович. Худощавый, с признаками язвенной болезни на лице, в мешковато сидящем на нем сером костюме, он встретил Любомира на крыльце главного корпуса, ослепляющего стеклом и алюминием. Дорофеенко был назойливо предупредителен, осторожен. Начал с комплиментов, выставив на длинный стол бутылку боржоми и два стакана:

— В старые добрые времена по такому случаю был припасен коньяк в сейфике... а нынче мы, рядовые партии, должны быть в первых рядах антиалкогольной программы.

Любомир уже не обращал в таких случаях внимания на лексику. Перешел сразу к делу. Так и так, мол, жалоба в «Правду», незаконно исключили из партии Барыкина Н. И. При первом слове «жалоба» лицо Дорофеенко исказила гримаса человека, которому ставят клизму. При слове «Барыкин» он уже облегченно вздохнул, почувствовал себя уверенно.

— А... выходит, он и вас достал. Ясное дело. Одиозная фигура. Издержки начавшейся перестройки. Когда его законно попросили покинуть наш институт, мы все облегченно вздохнули. А то, поверьте, готов был Чернобыльскую аварию повесить на нас. Пять лет этот террорист не давал никому покоя. Ничего не помогало. Ни уговоры, ни партийные взыскания, ни просьбы. В нашей среде самая горькая участь — участь неудачника. Затаившие злобу на более талантливого, более удачливого — они готовы оклеветать весь белый свет. Поразительное свойство больного самомнения: не считаться с волей большинства, чему учил нас Владимир Ильич. Хватило с лихвой. Одних объяснительных во все инстанции я написал мешок. Человек противопоставил себя всему коллективу. Клеветал на профессорско-преподавательский состав, чинил правдами и неправдами, компрометируя, неприятности ректору. Мы, по наивности и доброте, цацкались с зарвавшимся товарищем, не подозревая, что он выжил из ума. Попросту говоря, психически ненормален. Он ведь состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Вот здесь, в сейфе, у меня вся документация этого позорного дела. Бумажка к бумажке. Ни на букву, ни на йоту от партийного устава, от законов парткома не отходил. Исключили его единогласно при одном воздержавшемся. Заметьте, против не нашлось. Объективно. Перегибов, давления ректора — не было. Сейчас в прессе набирает силу кощунственное шельмование партии, ее идей и идеалов, но мы, преданные делу марксизма-ленинизма, должны выстоять. Я допускаю: бывший вор, даже бывший диссидент может вернуться в наши ряды, осознав ошибки, но чтобы психически ненормальному человеку возвращаться! Извините, нонсенс. Коммунистов всегда отличала чистота рядов. В основной своей массе — это монолитная, здоровая часть общества, объединенная всеобщей идеей равенства и социальной справедливости.

Человечество на своем пути прошло все формации и движения к самой высокой. Извините за теоретическое отступление, но я не из тех, кто перестраивается, готов туда, не знаю куда. Пока наша с вами партия у власти, государство будет сильным. Неформалы разжигают национализм, настраивают против нас рабочих, крестьян, интеллигенцию. Как вы думаете? Ведь это так?

А такие, как Барыкин, компрометируют, подливают масла в огонь.

Любомиру не хотелось оспаривать напыщенность и демагогический перехлест секретаря, он перешел к сути:

— Итак, как я вас, внимательно слушая, понял, партком не собирается возвращаться к делу бывшего члена партии Барыкина.

— Какой смысл? Что это, кроме позора, нам сулит? Нонсенс.

— Отменить решение только Центральному Комитету под силу?

— Формально да. Комиссия, райком — утвердит без вопросов.

— А если подойти к вопросу с исключительно человеческой, гуманной стороны. Найти все-таки возможность помочь человеку. Ветеран труда, участник войны... столько лет отдал институту.

— Наша партийная организация — не детский сад, не богадельня. Нарушил человек устав, этику, совершил антипедагогический поступок — будь добр, неси ответственность. Да вы бы почитали, что о нем коллектив говорит. Единодушное осуждение.

— Вы разрешите мне познакомиться с протоколами, постановлениями?

— Ради бога. У нас секретов нет. Возникнут неясности, что исключено, я к вашим услугам. При желании организую вам встречу с ректором. В настоящее время он у министра. Подтасовка фактов, заговор, злоумышленность, несправедливость — мы уже знаем, на что он жалуется, — исключаются. Располагайтесь поудобнее. Водичка. Курите. Я хоть некурящий, но в кабинете курить разрешаю. Оставлю вас на полчаса.

Дорофеенко артистично, как балерун, как угорь, выскользнул из кабинета. «Да. Тут ребята из когорты непробиваемых. Этот трусливый партийный функционер без ведома ректора, очевидно, и в баню не ходит».

К встрече со Злобиным он пока не был готов. Надо посетить архив Института истории и обязательно психоневрологический диспансер. А вот любопытная деталь. Он нашел несколько объяснительных заявлений от студентов, которые утверждали, что преподаватель Николай Иванович Барыкин умышленно подстрекал их обратиться в ЦК с жалобой на ректора. Любомир переписал в свой блокнот фамилии и адреса студентов-заочников. В остальном — все гладко.

Дорофеенко воротился ранее обещанного времени. Был он раздосадован и заметно напуган. Любомир мог только догадываться, что партийный босс пережил несколько тяжелых минут в кабинете у ректора, который по обыкновению злился и хамил.

— Ты что, полный идиот? Зачем было ему предоставлять документы?

— Я не знал, что сказать, — заикаясь, оправдывался Дорофеенко.

— Надо было посоветоваться со мной.

— Так кто же знал, что он по этому делу.

— Сказал бы — все списано давно в архив. Не люблю газетчиков.

— Виноват. Не подумал. Да там ведь, Константин Петрович, комар носа не подточит.

— Впредь будь осмотрительнее. Он молод, горяч. Может, и с неформалами заигрывает. Ступай к нему. Никаких комментариев и отсебятины. Только ответы на его вопросы. Засомневаешься, заподозришь что... адресуй ко мне, радетеля непрошеного. Профорга не подключай. Мол, человек после инфаркта. Никто не будет проверять — был у него инфаркт, не был. Я побуду в институте еще полчаса. Доложишь.

— Обязательно.

— А почему письмо, с которым обратился Барыкин к отчетно-выборному собранию коммунистов института, не было доведено до них? — спросил

Любомир у потерявшего помпезную самоуверенность Дорофеенко. Тот съежился, насторожился, даже нос заострился от внимания.

— А разве он обращался?

— Да. Есть копия. Почтовая квитанция об отправке.

— А-а... вспомнил. Он, кажется, звонил мне. Подготовку к собранию проводил мой заместитель. Мне как раз подвернулась горящая путевка на воды в Друскининкай. Вот отделится Литва, как вражьи голоса обещают, и на воды некуда будет поехать. Точно. Я приехал за день до собрания. Слышал что-то, но письма сам не видел. Зам не включил в повестку дня.

— Но письмо было отправлено в мае.

— В мае? Что ж у меня было в мае? А, вот, партучеба. Я был на курсах. Оно, не иначе, затерялось в секретариате. По уставу нам не положено, даже если бы и нашлось письмо, вставить в повестку дня предложения не членов нашей парторганизации. Он к тому времени уже был исключен и отношения к нам не имел. Нонсенс. Если все жалобы — кто-то не получил льгот, кому-то отказали в жилплощади, сняли с очереди на машину, не дали путевки — все это бытовое — рядовое — житейское выносить на огромный кворум, то мы превратим партию в бюро коммунальных услуг, лишим ее основных задач по воспитанию и мобилизации на решение масштабных задач перестройки.

— Логично. Пока спасибо. Кое-что я для себя прояснил. Извините. Буду звонить при необходимости.

— Ради бога. Мы — звенья одной цепи. Люблю и уважаю наш печатный орган. Читаю от корки до корки.

— До свидания.

— Вам творческих успехов.

Сидя в машине, Фомич дремал, смешно запрокинув свою кучерявую голову.

— Давай, Фомич, прямехонько в психоневрологический диспансер.

— Довели, гады.

— Считаешь, я созрел уже? Пока со мной все в порядке. По другому делу.

— А если там обед?

— Там без обеда.

— А где это?

— Стоп! Вот и проспорил бутылку шампанского. Помнишь, говорил, нет в Минске улицы, переулка, чтобы ты не знал.

— Помню. Сдаюсь.

— Давай к фабрике детских игрушек «Мир».

— Тьфу ты! Зараза. Знал же... хлебозавод там рядом. Тьфу ты... — прижимистому Фомичу жалко было бутылки шампанского.

Дорофеенко не стал дожидаться, пока тронется машина не понравившегося ему неулыбчивого корреспондента, и отправился с докладом к шефу. Злобин долго тер пухлой рукой упитанную шею.

— А где сейчас Барыкин?

— Кто-то мне сказал из наших, что видел его в военном госпитале в Боровлянах. Могу уточнить. Знаю, что он разошелся, разменял квартиру и живет один где-то в Зеленом Луге.

— Уточни.

Через десять минут счастливый Дорофеенко вернулся в кабинет.

— У меня план, — выслушав внимательно секретаря, сказал Злобин, — я направлю в райотдел милиции сообщение об исчезновении старшего преподавателя Барыкина. А ты и Гуркин под этим предлогом проникнете в его квартиру и отыщете все копии и другие документы. Может быть, там появились

новые, короче, все, что порочит нас. Я вижу, он не хочет успокаиваться. И мы покончим с этим навсегда.

Удлиненная и без того нижняя челюсть Дорофеенко отвисла. «Налет? Средь бела дня?»

— Остроумно. Но по Конституции гарантирована неприкосновенность жилища граждан, и посторонние могут войти только с санкции прокурора, — несмело возразил секретарь.

— Плевать на Конституцию. Кто будет знать? Все на законном основании. Искали необходимые кафедре разработки, которые он не сдал в институт. Никто по факту дело не возбудит. Откуда ему будет известно, что это были вы? Пойдет Гуркин. По долгу службы он должен вовремя представлять ученому совету (а я его назначу на завтра) все документы. Будем слушать отчет научно-исследовательского сектора за два последних года, в связи с критикой в его адрес в газете «Звязда». Начальник милиции мой друг... он выделит вам даже сопровождающего милиционера. Это не кража, а изъятие документов, которые принадлежат институту.

Дорофеенко вытер вспотевший лоб, перевел дыхание: было ощущение, что грудь его провалилась, а пиджак держался на одних ключицах.

«Хорошо еще, — подумал, почувствовав, что не выкрутиться, — что на грязное дело иду не один, а с Гуркиным».

Злобин сел и набросал текст.

— Отредактируй и передай машинистке. Лучше напечатай сам. Отнесешь в милицию, а я начальнику позвоню. Идите утром. Когда соседи будут на работе. Ищите, как собака наркотики. Бери все, что касается института, тебя, Гуркина, меня... Я за все отвечаю. В обиду не дам. Счастливо. Найди Гуркина, пусть зайдет ко мне.

Начальник научно-исследовательского отдела пятидесятилетний Гуркин повязан был со всех сторон. Несколько лет назад он, «сексуал с нераскрытым талантом Казановы», глядя на более смелых молодых преподавателей, и сам решил замесить тесто любви. Выбрал себе (от природы он был очень осторожен и немного крохобор) в «жертву» и некрасивую, и запуганную, и неряшливую, и несмышленую студентку-заочницу. Начал неумело намекать, что вот-де часто многие студентки вообще не сдают экзамены, а переходят легко и непринужденно с курса на курс. Потому как знают и умеют найти подход к преподавателю. Замок на вид страшен, а ключик махонький, да сильнее его. Несообразительная Л. и ухом не повела, не догадываясь, о чем речь. Ключик, замок. Думала, может, харчей из магазина притащить.

Изворотливый Гуркин, видя, что она намек не поняла, вернул ей зачетную книжку и попросил зайти завтра в эту же аудиторию, но уже в 18 часов. Ничего не подозревавшая Л. всю ночь и весь день зубрила до одурения. Пришла на экзамен в невменяемом состоянии. Конечно же, была не в силах ответить на его «каверзные вопросы». Он, сощурив близорукие глаза, пригрозил, что отчисление неминуемо. Она была близка к истерике. Он подошел к ней. Его тоненькие пальчики коснулись ее литой и упругой ляжки. Гуркина охватило волнение, и он, к своему удивлению, начал заикаться. Намекнул, что если она будет с ним ласкова и уступчива, он не станет ее донимать вопросами, а поставит «удовлетворительно», более того, поговорит с Барыкиным, чтобы и тот не придирался к ней.

Она, стесняясь и краснея, достала из лифчика конверт.

— Вот. Здесь деньги. Возьмите. Никто не узнает. Я никому не скажу, честное слово.

— Дитя мое, я взяток не беру. Вижу, что и ты не умеешь их давать. Я имел в виду совсем другое. Давай мы конвертик спрячем на место... — Он полез

рукою за лифчик и начал сильно давить ей пальцами на сосок, целуя в шею, губы. Наконец до нее дошло, какую дань ей надо уплатить за положительную оценку.

— Что вы? Не надо. Я боюсь здесь! Не надо! — сопротивлялась она для виду.

— Канареечка моя... — лепетал потерявший над собой контроль и одурманенный близкой победой Гуркин, — я закрыл уже дверь. Не бойся...

— Выключите свет, — шепнула на ухо студентка.

Конечно же, Гуркин и не думал просить за нее Барыкина или еще когонибудь, но вкусившему запретный плод, ему не хотелось терять этот «пирожок с вкусной начинкою», и он продолжал ей пудрить мозги, обещая златые горы и целевую аспирантуру. Жила Л. с мужем скандально. Расходились, сходились, снова расходились. Уезжал он на заработки за Урал, привозил большие деньги, пил и снова скандалил. Поднадоело унижение. Она, чтобы разорвать с ним навсегда, возьми, да и скажи, что беременна от профессора своего института. Гуркин профессором, конечно, не был. Ему-то и кандидатскую почти за деньги купили. Взбесившийся муж решил отомстить неверной жене. Написал с ошибками, но эмоционально, во все инстанции и наделал немало шума в самом институте. Гуркина свалил микроинфаркт, казалось, не миновать позора и наказания. Но надежный, «нетребовательный» всесильный ректор взял его под свою могучую защиту. Все замяли. Гуркину не вынесли даже слабенького, для приличия, нравственного порицания. С тех пор Гуркин благоговел перед ректором, служил ему и локтем, и бедром. В тяжбе с Барыкиным Гуркин играл невидимую сразу и неслышимую в первых рядах, но не последнюю роль.

В девять тридцать он и Дорофеенко подошли к двери квартиры № 19.

— Надо бы для страховки позвонить соседям. А вдруг? — заметил Гуркин, когда они убедились, что на звонок в квартире Николая Ивановича никто не отвечает.

— Идея! — и Дорофеенко нажал на два звонка в соседние квартиры. — Подождем. Доложу тебе, мы своим примитивным инструментом три его замка, боюсь, не одолеем. Тут газом резать надо.

Никто из соседей не открыл. Гуркин потянул дверь на себя, а Дорофеенко неумело полез ковыряться в замке металлической отверткой.

— Отвертка надежное дело. Свою дверь я ею легко взламывал.

И действительно, нижний замок поддался силе. Неизвестно, может, все и закончилось бы складно, если б взломщики не услышали за соседней дверью шаги, шорох. Еще минута и на пороге появился заспанный мужчина преклонных лет. Очевидно, услышав звонок, он по-стариковски долго собирался. Жулики, побледнев, замерли, как часовые у мавзолея.

— Вы к Николаю Ивановичу?

— Э...э... да. Мы его коллеги. Из института. По поручению профсоюзной организации, — нашелся Дорофеенко, — пришли проведать. Звоним, звоним... сутками никто не отвечает.

— Он в госпитале ветеранов войны. Вот только что говорил с ним по телефону. Завтра уже будет здесь. Что передать? Кто был? — без задней мысли спросил старик.

— Ничего. Информацию от вас получили. Жив-здоров наш ветеран, и хорошо.

— Мы спокойны, — вставил слово и Гуркин, — спросит, передайте, что заглядывали из профкома. Хотели предложить путевку в санаторий.

— Ага! Горящая путевка. Сегодня надо уезжать. Будем искать другую кандидатуру. Всего вам доброго, — спешил откланяться Дорофеенко.

Только в машине секретаря, оставленной во дворе соседнего дома, и обмолвились.

— Согласись, что это была авантюра чистой воды?

— Рискованное дело-о, — затянул Дорофеенко, — да разве можно переубедить или ослушаться шефа. Врагом станешь на всю жизнь.

— И не говори. Знобит всего, как в горячке. Мне вообще нервничать противопоказано. Я ценю гордость, честолюбие, сам с норовом, но до такой степени разойтись... это уже из области мести. Мотор, видно, у Барыкина крепкий. Столько лет травят, а он держится. Меня б давно похоронили.

— И меня.

— Тебя, как знатного партийца, на престижном Московском кладбище, а меня заперли бы в Чижовку.

— Злобин из породы тех, кто не прощает. Я его за пятнадцать лет изучил. После пенсии — ни одного дня не задержусь, — откровенничал Дорофеенко.

Общее унижение их сближало, они сочувствовали друг другу только в этот миг, потому как в обыденной жизни каждый из них завидовал другому.

Презрительно сощурясь, Злобин выслушал доклад о «содеянном» Дорофеенко, жалкий вид которого напоминал котенка, которого вытащили из помойного ведра. Надо отдать должное, Дорофеенко не изворачивался, говорил правду. Константин Петрович решил действовать сам, как говорят, на опережение. Созвонился с Иваном Митрофановичем. Сразу отметил для себя, что у того приподнятое настроение: ему предстояла поездка в Латинскую Америку, и не лишь бы какая, а на самом высоком уровне, и не в качестве рядового члена, а руководителем специальной партийно-депутатской группы.

— Ваня, огради ты меня, ради всего, от этого неразборчивого и назойливого корреспондента «Правды» Любомира Горича.

— А чем он тебе не угодил? По-моему, толковый, принципиальный журналист, — не понял сразу Горностай.

— Этот мой недобитый псих Барыкин нашел в нем заступника и поборника. Вскорости начнется кампания по выдвижению делегатов на Всесоюзную партийную конференцию, зачем нам эти лишние хлопоты и переживания. Еще раз возвращаться к этой пакости уже сил нет.

— Я ему, как ты понимаешь, рот закрыть не смогу. Грифа «для служебного пользования» на бумагах твоего парткома нет. Начну уговаривать, заподозрит неладное. Давай встретимся, я спешу к Первому, обмозгуем и примем компромиссное решение.

— Переключи его на более важное для времени и партии дело. Дай поручение.

В идеале хорошо бы отправить в длительную командировку... к белорусам-эмигрантам в Канаду, например.

— Ты что? К этим националистам, недобитым полицаям? Пока я отвечаю за идеологию, я не допущу контактов с этими ублюдками. Они мою мать расстреляли.

Ректор понял, что сыпнул соль на давнишнюю рану, и ретировался.

— Ты прав. А как у него жилищные условия? Можно ведь побеждать и от обратного. Ершистых и дюже гордых берут ласкою.

— Я поручу это проверить своему помощнику. Теперь всяк нуждается в улучшении, это хорошая идея.

— Хлопоты по переезду заберут у него полгода.

— Логично. Я еще подумал: а может, давай восстановим этого разгневанного сталиниста в партии и снимем напряжение?

— Ты уверен? Он же житья не даст. На всех партсобраниях только и будет дел, что утихомиривать его.

— А кто тебя просит оставлять его на партучете при институте? Гони в парторганизацию по месту жительства, к одуванчикам-маразматикам в ЖЭС.

— Подумаю над твоим предложением.

— Бывай здоров. Звони домой. Я буду не раньше восьми.

— Счастливо.

Злобин подошел к окну, достал сигарету «Мальборо», закурил. Словно из невесомости, появились перед окном на подъемнике двое небритых рабочих в грязных спецовках. Они тащили наверх, к тринадцатому этажу, огромное красное полотнище. Рабочие не обращали на ректора ни малейшего внимания. Вот подъемник со скрипом пополз вверх. Вот вниз на подоконник упала скомканная пачка «Примы», удержалась на панели, осталась лежать.

Злобин перевел усталый взгляд на улицу. Дымили выхлопными газами огромные «Икарусы», жались к тротуару, выстраиваясь в ряд, троллейбусы, плавился от жары асфальт. Гарь, копоть, смрад. «Надо будет с нового учебного года перенести кабинет в другое крыло. С окнами во двор. И, может быть, этажом ниже. На второй. Да, именно на второй. И что это за фобия такая? Боязнь высоты. Перед чем или перед кем страх? Глупо думать, что кто-то придет и выкинет его из окна. Очень глупо. Но ведь вот чувствует едва уловимый страх, чувствует. Переход к старости? Первые сигналы для подготовки к встрече со смертью? Черт его знает, что и думать. Уехать, что ли? В Москву. Ведь когда-то было предложение в Госплан. Дурак, не согласился. Шестьдесят два. Расцвет для общественного деятеля и политика. Попаду на партконференцию, присмотрюсь, а там видно будет. Все же кабинет перенесу окнами во двор».

Темно-красное удостоверение, которое беспрепятственно открывало Горичу дороги в самые закрытые учреждения, здесь, в психоневрологическом диспансере, не произвело решительно никакого впечатления.

— Нужен официальный запрос на имя главврача. По удостоверениям мы ничего никому не показываем. Если этот Барыкин ваш родственник, запишитесь на прием к врачу, и мы передадим карточку. Если бы я и могла дать вам ее — вряд ли дала бы. У нас под номерами. Вон идет главный врач, обращайтесь к нему, я ничего не знаю.

Он слышал не раз в радиоголосах, читал в самиздате и тамиздате о чудовищных больницах, психушках и представлял себе диспансер чуть ли не лагерем, а врача обязательно с кобурой на поясе.

«Дураков от природы», безобидных и даже потешных, он видел в детстве в своем городке и в соседних деревнях. Обитателей палат с зарешеченными окнами он представлял агрессивными. Неприятно было заходить в это четырехэтажное здание, утопающее в зелени. Главврач, внимательный, вежливо-тактичный очкарик, оказался одних с ним лет. Любомир представился, показал удостоверение и изложил просьбу интонацией человека, который не привык отступать. Идет дознание, журналистское расследование, он мог бы отпечатать официальный запрос на фирменном бланке, да к чему этот формализм, на человека навесили ярлык психа. Нужно (он не сказал «можно»?) выяснить истинную правду. Без тени подозрения и предвзятости главврач пригласил к себе «непробиваемую регистратуру» и попросил принести, если таковая имеется, карточку истории болезни Барыкина Н. И. Чтобы гость пока не скучал, главврач сдержанно обрисовал картину в целом.

— Курите?

— Нет. Благодарю.

— Завидую. А я по три пачки в день. Руковожу диспансером сравнительно недавно. Вы, замечаю, несколько подозрительно разглядываете меня? Нас, психиатров, показывают в карикатурном виде, особенно в комедиях. Замалчиванием проблем психиатрии мы дезинформировали общество, на наших больных иначе как на прокаженных уже и не смотрят. Между тем во всем мире возрастает число больных. Ведь стресс, ступор, душевное угнетение, депрессия, нервное перенапряжение, даже радиоактивная фобия — все это наши проблемы. Явления временные и преходящие. Неизлечима пока только шизофрения. Может, оттого, что изменения в мозгу начинаются на молекулярном уровне. Заболел человек туберкулезом — естественно, его ставят на учет, все зависит от тяжести болезни, в диспансер на год, три, пять. Перенес человек инфаркт — на учет в кардиологическую поликлинику. Положена группа на год, два... Все определяет ВТЭК. Аналогично и у нас. Стоит вам раз обратиться к психиатру, и мы уже долго не будем списывать карточку с вашей историей болезни, если таковая обнаружится, в архив.

— Значит, состоять на учете и быть больным, пройдя стационарное лечение, не одно и то же?

— Конечно. Все зависит от диагноза. Вспомним недалекое прошлое. Возьмем историю болезни Сталина, Гитлера. Психически они здоровые или ненормальные? Все зависит от того, кто ставит диагноз и кому. Наука сейчас может доказать, что неполноценными психически были и Нерон, и Калигула, и Сталин. А возьмем Наполеона? В Германии мне доводилось слышать версию, что император в конце жизни все больше и больше становился похожим на женщину. И сейчас мы только в начале пути. Поди распознай, а главное, предупреди скрытый период. Можно бездоказательно облить грязью, опорочить неугодного определенным силам товарища. Допустим, вы направляете в многотиражную газету вопрос: правда ли, что такой-то товарищ, известный телекомментатор, журналист, политический деятель, не служил в армии в связи с психическим нездоровьем?

Ответ потонет в потоке информации, да он и не важен. Утка запущена. Коли так спрашивают, значит знают, что-то есть, считает большинство наивных читателей. К сожалению, повторяю, в обществе стригут всех под одну гребенку. Переступил порог диспансера — тебя уже не спрашивают: «Стресс, депрессия?»... Псих и точка.

— А врач? Он не может поставить ошибочный диагноз? Перегнуть палку, так сказать?

— Идеального нет ничего. Болезнь накапливается годами, проявляется часто мгновенно. Предугадать развитие, осложнение очень трудно. Все зависит от множества факторов, социальных, бытовых, служебных, семейных, личностных, если хотите, и от мировых катаклизмов. Я верю в порядочность своих коллег, по подсказке, в подтексте я понял ваш вопрос, в приказном порядке у нас это не проходило... Я начинал в Министерстве, работал в НИИ в Новинках. Фигур, которые имели бы огромный вес в обществе, политиков, диссидентов, врагов коммунизма, от которых хотела бы себя оградить, скажем так, правящая верхушка, у нас в Белоруссии не было. Народ в подавляющем большинстве аполитичен. Священник, инженер, бухгалтер — критикующие Маркса и Ленина... наивно. Думаю, что и с вашим подопечным закулисной игры не велось.

В дверь постучали. Воротилась регистраторша.

— Ну вот. Барыкин Н. И., 1925 года рождения. Читаем. Параноидальное развитие личности. Карандашом поставлен знак вопроса. Врач, очевид-

но, еще сомневался. Предпочел процесс наблюдения. Первое обращение к врачу — март 1984 года. Лечащий врач Светлана Ветрова. Кстати, она уже у нас не работает. Два года как в Алжире.

— Насколько этот предполагаемый диагноз серьезен?

— Это первый звонок, по терминологии инфарктников. Какой-либо опасности с этим диагнозом больной Барыкин Н. И. для окружающих не представляет.

— Можно ли водить машину с этим предполагаемым диагнозом?

— Замечаю, что вы все время педалируете слово «предполагаемый». Домысливать можно двояко. Либо врач действительно сомневалась, либо по чьей-то воле поставила именно этот диагноз, в основе которого пугающее вас слово «паранойя», и, чтобы подстраховаться, приписала карандашом знак вопроса.

— Известно ли вам, что Барыкин по собственной инициативе проходил обследование в столице, у академика Снежевского?

— Лично мне ничего не известно. Может быть, главный психиатр Минздрава и знает. В карточке нет соответствующей записи.

— В больнице им. Кащенко поставили другой диагноз.

— Какой? — заинтересованно спросил главврач, всем видом дав понять, что в этом нет повода для осуждения его «фирмы».

— Сутяжный синдром параноидального склада.

Главврач всем массивным телом оперся на мягкую спинку своего кресла.

— Возможно. В нашей профессии, как ни в какой, премного разночтений. Определить правильно и безошибочно аппендицит и то порой затруднительно. В принципе можно доказать, что этот диагноз не является противоречащим поставленному Ветровой как параноидальное развитие личности. Никто же к принудительному лечению не приговаривает. Ради бога, получайте права и водите машину. К нам после своей поездки в Москву Барыкин не обращался за справкой для определения годности к вождению. Затребует поликлиника спецмедосмотров, мы переправим справку и не станем утаивать диагноз Снежевского. Результаты обследования все равно поступят к нам и по месту жительства. К сожалению, лично я не знаком с Барыкиным. Когда он впервые обратился к нам за помощью и когда его диагностировали, я находился в служебной командировке в Западной Германии. Думаю, что и Ветрова не была исполнительницей чьей-то злой воли.

— У нас за неправильно поставленный диагноз ведь не судят.

— Да. Но совесть врача, клятва Гиппократа. Все подвержено коррозии в наше время, согласен... но хочется думать о людях хорошо, особенно если их неплохо знаешь. У нас корифеев психиатрии раз-два и обчелся.

— А если временно поставить такой диагноз, чтобы запугать человека, шантажировать?

— Несерьезно. Попахивает мафией. Мы лечим больных, а не пляшем с ними под чью-либо дудку. Запись есть, от стационарного обследования отказался, но это не должно наводить на мысль, что человек отказался только лишь потому, что испугался: а вдруг обнаружат шизофрению. Напрасно. Опять повторюсь: издержки закрытого от критики негатива общества. А поликлиника спецмедосмотров элементарно страхуется. Шлейф застойных лет, никто не берет ответственность на себя.

— В таком случае, что мы посоветуем Барыкину?

— Во-первых, надо показаться врачу. За четыре года могли произойти возрастные изменения в психике. Может, врач сочтет необходимым стереть вопрос или, наоборот, обвести его уже чернилами. У нас тут два запроса

института, в котором работал Барыкин, о состоянии его здоровья. Руководство обеспокоено его маниакальным подозрением насчет травли и преследования якобы со стороны ректора института. Кроме того, что есть в истории болезни, мы ничего не добавили.

— К сожалению, некоторым достаточно, чтобы опорочить имя человека, получить от вас отписку. И все. Значит, там, в психушке, в курсе дела, не зря, значит, человек наблюдается. Стоит на учете — псих, — с сожалением сказал Любомир.

— Это из области общего морального климата общества. К нашей профессии, тем более к ее дискредитации, это отношения не имеет.

— Какой ответ вы дадите на официальный вопрос: не стоит на учете и не наблюдается?

— В данном случае за давностью лет, если Барыкин к ним больше не будет обращаться, по истечении положенного срока карточка будет передана в архив. Чтобы ускорить этот процесс, надо провести через комиссию. Но, по-видимому, с нашим диспансером он предпочитает не иметь дел. Что касается получения водительских прав, то мы об этом уже говорили. Вот и все. Не так страшен псих, перефразируем поговорку, как его малюют. Все мы, кто считает себя относительно нормальными, подвержены комплексам. Особенно в наше нестабильное время, когда нарождающийся страх за завтрашний день угнетает и расшатывает нервную систему.

Главврач не темнил, это импонировало Любомиру.

— Вы удовлетворены информацией?

— Спасибо. Вполне. Разрешите мне только правильно записать в свой блокнот диагнозы.

— Пожалуйста. Хоть по-латыни, хоть по-русски.

Главврач действительно был искренен в разговоре с корреспондентом, если не учитывать самую малость, одну деталь. Фамилия Барыкин была ему знакома еще в бытность его в Минздраве республики. Он запамятовал, а после ухода Любомира, еще и еще раз возвращаясь к прошлому, припомнил, что именно человек по фамилии Барыкин жаловался на предвзятость врача Ветровой, скандалил с главным психиатром, обвиняя и его в сговоре с кем-то из начальников. При первой же встрече с главным психиатром главврач диспансера без потаенной мысли вскользь сказал, что-де опять возник тот самый Барыкин. Главный психиатр нервно отреагировал:

— Барыкин? При одном упоминании фамилии — одно желание: взять санитаров и насильственно госпитализировать. Какой диагноз мы ему поставили?

«Почему мы? — задал сам себе вопрос главврач. — Какое к этой истории я имею отношение? Возможно, этим «мы» он подключает к этой возне и меня?»

— Параноидальное развитие личности. Под вопросом. Снежевский несколько оспаривает.

— Никаких вопросов. Зачеркните вопрос. Снежевский умер. Да и плевать мне на всех. Тут пахнет шизофренией!

Главврач смолчал, он относился к типу самостоятельных, осторожных руководителей и решил исключить себя из этой неблаговидной старой игры. Не стер вопросительный знак.

Вечером того же дня Злобину позвонил его давнишний приятель и поинтересовался: «Что ты там опять закрутил с этим Барыкиным? Пошло все по второму кругу. Только с подключением корреспондента «Правды»? Злобин, с благодарностью выслушав, успокоил друга, пообещав, что это уже пост-

фактум, судороги мертвого, что Барыкина выпроводили на пенсию... и что эти запоздалые дознания никому не нужны, никого не интересуют и будут похоронены в республике. Константин Петрович, не теряя рассудительности, немедленно поехал к Горностаю. Пробил час: надо было ускорить действия по «отстранению» от дела Любомира.

Камелия была опустошена отчаянием, граничащим с гневным протестом: она два часа простояла в очереди за колбасой. Любомир, как она считала, «праздно болтается» по городу, не подозревая, что по возвращении домой его ждет скандал. Она, сидя на кухне, пила безбожно кофе, курила сигареты (это случалось с ней очень редко), ждала его. Но и она, прозорливая и проницательная, не подозревала, что первые его слова погасят весь гнев и обрадуют ее несказанно. Чудеса, да и только! Каскад волшебных снов, перешедших в реальность. Его семье выделена трехкомнатная квартира в самом престижном районе города, у набережной реки Свислочь, который в простонародье окрестили «квартал ондатровых воротников». Именно там «окопались» в последнее десятилетие чины из Центрального аппарата партии, Совмина, известные писатели и другие почетные и заслуженные деятели доперестроечного периода. Правда, квартиру ему выделили из фонда вторичного заселения (там жил министр), но в богемном квартале в центре, а не где-нибудь на Юго-Западе или в Серебрянке. «В нашем подъезде живут дипломаты ГДР и Польши», — с естественной гордостью говорил он жене. Перед ее глазами, полными счастливых слез, стояли кастрюли, ведра, бачки, тазы, которые она ставила летом и осенью по всей квартире: в прихожей, в комнатах, на кухне... крыша извергала массу воды, как водопад. Неужели этому кошмару пришел конец? На сороковом году жизни ей не стыдно будет пригласить в гости музыкантов, композиторов, иностранных гостей, да боже мой, не стыдно умереть. Четвертый этаж... мусоропровод, лифт... А переедут вечером или рано-рано утром, чтобы не пришлось краснеть перед соседями за скромный свой багаж. Не было у них модного антиквариата, дорогой посуды, живописи. Нет ее мечты — белой спальни, мягкой уютной финской мебели. Когда она появлялась в продаже, не было этих заклятых пяти тысяч, когда деньги появились, исчезла мебель.

Это оказалась, к ее изумлению, только первая новость из области несбыточного. Другая новость была не менее приятна для Любомира и для нее. Любомиру позвонили из Союза писателей и поздравили: приемная комиссия «дала добро» на его прием в члены Союза, теперь осталась формальность... пройти через президиум. Год тому назад, когда появилась его первая книга публицистики, секция по очерку и публицистике, большого веса не имевшая, все же предложила рекомендовать талантливого журналиста в члены союза. Он без особого старания заполнил необходимые анкеты, написал биографию; в лучшем случае обещали продвинуть дело по сокрытой от посторонних глаз лестнице в течение трех ближайших лет, дескать, собралось «охотников» и кандидатов премного. И вдруг осчастливили, по личной просьбе одного из секретарей его кандидатуру выставили на приемную комиссию вне очереди. «Талантам надо помогать!» Когда же он, переведя дыхание, сообщил ей и третью новость, Камелия только развела руками. Она, может быть, впервые, гордилась своим мужем. Любомир летит в загранкомандировку, и не лишь бы куда, а в далекую страну, в другое полушарие. Две недели он проведет в Аргентине в составе делегации самого высокого уровня. Вот, вот первые результаты его подвижничества, таланта, упорного желания не стать пешкой в массе послушного и безликого большинства.

Выпить предложила она. У них в загашнике оставалась бутылка настоящей крымской мадеры. Вышли на узенький балкон. Они уже прощались в душе с этим невзрачным пейзажем перед окнами.

— Завтра же пойду и встану на очередь на новую кухню и прихожую.

— Сумасшедшая. На импортную кухню теперь надо стоять в очереди пять лет, на спальню двадцать пять, на прихожую семьдесят лет.

— Ты шутишь?

— Абсолютно нет.

— Идиотизм. Гетто. Как не восхищаться анекдотом: один выстрел «Авроры» и семьдесят лет разрухи. Где же выход?

— Переплатить втридорога у нас нет средств. Пойдем другим путем, как учил молодой вождь. Хоть на мизерные привилегии я имею право, черт возьми. Идет время сорокалетних, идет!

Через два дня он узнал, что дипломатов-то действительно в их подъезде разместили, только вот статус жидковат. Оказалось, что это просто-напросто семьи водителей служебных машин консулов. Говорить об этом Камелии не стал. До поры. Пусть потешится. Женщина слаба. Ей приятно козырнуть перед одноклассницей, бывшей однокурсницей. «Соседи по подъезду — иностранные дипломаты. Дом престижный». «Ты знаешь, — откровенничала Камелия, — я бы, может, даже рискнула родить. Знаю, может, тебе это уже и не надо. Рискнула бы. Но я ужасно боюсь последствий Чернобыля. Может родиться урод... ведь нет гарантий, нет аппаратуры, чтобы распознать на раннем этапе: здоров ребенок или нет. Что мы потом будем с ним делать? Боюсь... Да и не подниму. Ты весь в делах... Боюсь. Я уже не покупаю продукты из зараженных районов.

— Есть секретные карты загрязнения территории всей Белоруссии. Так что неизвестно еще, какие продукты чище: из Гомельской или Могилевской.

— Ты видел эти карты?

— Пока нет. Я знаю, что такое лейкемия. От белокровия умерла моя мать.

— Вот видишь, и наследственность у нас плохая. Я верю в наследственность. Остается ждать внуков. Тоже боюсь. Это старость. Мне кажется, ты тогда оставишь меня.

— Глупости. Пока мы желаем женщину, она не имеет права называть себя старой.

— Не скажи. Я же замечаю, как ты стреляешь глазами, глядя на улице на стройные ножки двадцатилетних.

— Это твоя фантазия. Позвони родителям. Обрадуй их.

— Артему новость привезем. Надеюсь, в эти выходные мы наконец-то съездим к нему? Или у тебя опять возникнет командировка?

— Да, но мы обещали быть в Житковичах у отца.

— Хорошо. Но я не поеду. Ты же знаешь, есть хороший повод. Я останусь с родителями готовиться к переезду на новую квартиру, а ты поезжай один. Но уж в следующие выходные к сыну обязательно. Ты даешь слово?

— Даю.

— Впрочем, ты всегда легко даешь слово и так же легко его забираешь.

— Ну, не дуйся. Все замечательно.

— Да, если бы ты не отдалялся от меня.

— Идем отдыхать. Сегодня редкий на удачу день. Спас. В Житковичах несут в церковь освящать плоды. До сих пор помню запах яблок, груш...

Утром он позвонил в клинику Олесе; ему ответили, что Якунина на курсах повышения квалификации в институте на улице Бровки. Он знал этот

институт, зашел в учебную часть, узнал номер аудитории и поднялся на третий этаж. Выйдя в перерыве в коридор, она опешила, увидев его.

— У вас определенно талант на сюрпризы. Здравствуйте. Я еще не успела выпить весь индийский чай, — голос ее приятно дрожал.

— Здравствуйте. Я скупой человек — берегу сюрпризы только для избранных. Вам понравился Штраус?

— Очень. Я знала эту мелодию и раньше. Только не знала, что это Штраус. Хочу попросить у вас послушать «Литургию» Чайковского, «Всенощную» Рахманинова.

— Нет проблем. Бах, Малер, Глюк... У нас богатейшая коллекция. Вас здесь маринуют без обеда?

— Повышаем уровень до двух. У себя в аудитории в двенадцать устраиваем чаепитие.

— Я думал о вас.

— И я. Телепатия, наверное. Я прочла половину вашей книги.

— И хватит. Это проба пера. Сейчас я половину бы переписал. Публицистика — это сестра правды. А я все грешил, писал полуправду.

— Я поняла.

— В жизни я искреннее. Потому и говорю: думал о вас с испугом. Думаю, вот направят ее в командировку в зараженные районы.

— Да. Мы как солдаты. Несколько наших медсестричек отправили.

— Но у вас двое детей.

— Вы действительно обеспокоены? Я ведь не уезжаю.

— Вы предупредите. У меня есть надежные связи. Мы не отпустим вас.

— Спасибо за заботу. Давайте о другом.

— Хочу быть полезным вам.

— Тогда вот что... Принесите нам к чаю торт. У нас женщины из Тюмени, Кургана, из Донецка. Вчера посыльного отправляли, а она вернулась ни с чем.

— Айн момент.

— Я не прощаюсь.

— И я.

В буфете ЦК он упросил-умолил продавщицу отпустить из «невидимых» запасов килограмм конфет «Красная Шапочка», попросил Фомича тормознуть у кафе «Весна», купил торт «Наполеон».

— Что это у вас, Любомир Григорьевич? — удивился наблюдательный Фомич.

— Ничего. Я тебе кого-нибудь напоминаю?

— Да.

— Кого?

— Не обидитесь?

— Нет.

— Напоминаете певня[1], который радостно взлетел на соседский плетень и высматривает, не видать ли поблизости этих симпатичных курочек.

— Остроумно.

Он по-юношески взлетел на третий этаж, приоткрыл дверь, заглянул в аудиторию.

— Якунину к телефону.

Ее удивительно чистые голубые глаза, подернутые дымкою, излучали тепло и доброту.

[1]Певень (*бел.*) — петух.

— Вы прямо как Фигаро.

— Это вам, — он протянул торт и целлофановый пакет с конфетами.

— Сколько мы должны?

— Не обижайте. Примите по случаю праздника... э... годовщины основания компартии Эквадора.

Она улыбнулась.

— Я самостоятельная и независимая женщина. Право, вы потратились. Возьмите деньги.

— Народы Африки мне не простят.

— Почему?

— Потому что в августе день освобождения Африки от колонизаторов.

— Уговорили.

— Может, мы увидимся в два часа?

— К сожалению, не получится. Я обещала дочери, что пойдем в ателье заказывать ей платье.

— Тогда буду ждать вас завтра в это же время.

— Завтра может быть зачет. Могут задержать. У вас много дел. Давайте отложим.

— Я подожду.

— Спасибо. Тронута вашей учтивостью.

— До завтра, — он постарался произнести слово с особенной теплотой. Она не уловила искусственности интонации.

— До свидания.

Решение созрело молниеносно, когда шел по длинному коридору с низким потолком. Он отпустит с обеда Фомича и сам сядет за руль «Волги». Коллеги его из других газет подобное практикуют: корреспондент «Труда» не вылезает из-за руля, словно вкалывает на две ставки. Фомич скорчит недовольную мину, но за бутылку коньяка подобреет... Не тянуло в офис. Он жил ожиданием завтрашней встречи. Ах, эти женщины: загадочные, манящие создания. Сколько прочитано об их вероломстве, их спасительной целебной миссии. Да все без толку. Кольцо Соломона, и на нем надпись: «Все проходит», но с обратной стороны и другое: «Ничто не проходит». Так чего же больше оставили встречи с ними: разочарований или радостей? Опротивела «Капризная», угнетало однообразие «Тихой». А там, в детстве, в далекой юности? Была ли первая любовь, очищение первыми слезами?

Подвыпившие солдаты, возвращаясь из Германии после «дембеля», дарили подросткам на железнодорожной станции Житковичи заграничные журналы с цветными вставками, на которых бесстыдно красовались обнаженные блондинки и брюнетки, белолицые и чернокожие. Подростки, ехидно улыбаясь в кулак, подсовывали «импортное диво» одноклассницам. Была среди них второгодница с грубыми ужимками Валя О. Глянула Валя О. на непристойные журналы да и говорит без смущения:

— Нашли чем хвастать. Мне так сфотографироваться — раз плюнуть.

Поспорили на духи «Красная Москва». Наблюдательный Любомир замечал в ней бахвальство и раньше. Он подговорил товарища, который занимался в фотокружке, оба они купили в универмаге духи и подошли к Вале. Договорились встретиться на кладбище. Шли тайком. Она впереди. Они через двадцать метров семенили следом. За массивным памятником-плитой, окруженным акациями, она быстро оголилась и смело вышла к ним, поставив ногу на надгробную плиту

«Че рот раззявили? Фотографируй!» — вызывающе рявкнула она.

Любомир стоял в метре от нее, видел красивую линию бедер, выпуклую грудь, стройные ноги, не замечая черной грязи под ногтями... от нее пахло

потом, но он не обращал на это внимания. Обхватил ее рукой за талию и пытался прижать девушку к себе. Она сильно толкнула его.

— Дурак! Разве мы так договаривались? Не подходи, сосунок, а не то расскажу Корчу, он тебе морду набьет.

Упоминание имени местного уголовника, который только что воротился из колонии, остудило его животный порыв. Друг Любомира, не менее напуганный, только один раз и щелкнул своим «Фэдом». Они стояли между могил, ошеломленные и униженные, ждали, пока она наденет свое единственное ситцевое платье на бретелях.

— Духи! — она протянула руку.

Любомир покорно передал ей красную коробочку. Разошлись.

Любомир словно оправдывался перед другом:

— Шалава. Ты видел ее грязные ногти на ногах и руках? Попробовала с Корчом.

— А то нет, — согласился конопатенький товарищ.

До отъезда в Минск на учебу Любомир жил словно бы в тревоге: а вдруг рассказала Корчу и тот пьяный отомстит? Пронесло.

За свою первую женщину он жестоко поплатился. Уже на первом курсе в университете он втерся в столичную элиту «творцов». Заприметила симпатичного провинциала одна экзальтированная художница, пригласила в мастерскую своего отца. Все без исключения этюды, которые она ему показывала, Любомир восторженно хвалил. Похвала до слез тронула непризнанное дарование. Поделилась сокровенным. Она мечтает создать серию портретов ярких личностей, одаренных, талантливых двадцатилетних. Для истории. Потомки скажут ей спасибо. Она предложила ему позировать, не сомневаясь в его блестящем будущем журналиста и поэта. Он успел напечатать несколько своих стихов в русскоязычной газете «Знамя юности». Это ему польстило. Они засиживались в мастерской допоздна. Иногда она угощала его сухим вином, один раз даже шампанским. Близость возникла естественно, обыденно, пришла, как приходит по расписанию электричка. Он не знал, что она замужем, если бы знал, очевидно, был бы осторожнее и осмотрительнее. Ее муж, скульптор с мускулистыми руками, плечами в три сажени, просто «невовремя» постучал в дверь мастерской. При нем он мощным ударом в челюсть отшвырнул ее в угол, к «шедеврам времен заката абстракционизма». А его, крепко сжимая руку в своей, вывел на улицу.

— Показывай, где твоя остановка, — приказал сиплым, злым голосом.

— Там, — ответил Любомир.

— Идем.

Не успел Любомир сделать шаг, как не менее мощный удар слева уложил его в снег. Так и двигались к остановке, как в замедленном кино: шаг, два... удар в челюсть, Любомир, как отработанная ступень ракеты, отлетал в сугроб. Темнело. Одиночество на тротуаре подчеркивало шуршание шин по мокрому асфальту.

— Помни, жаба, сладость женского тела, — наставлял обманутый муж начинающего донжуана, который после последнего удара упал на урну, опрокинув ее.

Неделю он провалялся в общежитии, стыдясь показать изувеченное побоями лицо. Стыдно было перед однокурсницей Камелией, которой он уже восхищался, особенно когда она выступала на торжественных собраниях. Однажды даже с самой высокой трибуны у памятника вождю в день Октября. Она долго не замечала не только его таланта, но и внимания. Получилось, что все ее поклонники оказались бездарями, кто-то спился, кто-

то ушел в академический отпуск. Она, не привыкшая быть одна, приблизила к себе провинциала Любомира и, к своему удивлению, открыла в нем «много положительных качеств», которых как раз не хватало тем, другим. Он заставил ее влюбиться. Ах, эти женщины! Он не опасался их как огня, но и не лип к ним, как пчела к меду.

Устроили проводы его «холостяцкой жизни». Подстрекатель Вовик Лапша, когда они проходили мимо морга мединститута, предложил проверить себя на «вшивость»: смогут ли заглянуть в это «общество», которое избавлено от душевных сомнений и борьбы за хлеб. Вовик подбадривал: патологоанатом свой парень, сосед по дому. Любомир с удалью откликнулся. Зашли. Спьяна и трупы, которые лежали с бирками на шее, не вызывали брезгливости и страха. В другой камере труп старика лежал на каталке, а труп женщины на столе для вскрытий. Уже у входа, почти у ног, лежал совсем не похожий на мертвого человека труп мужчины в грязной одежде. Было ощущение, что пьяный по ошибке забрел в подвальчик и, поджав ноги, уснул. В уголке у столика сидел знакомый Вовика и пил кофе.

— Здорово, князь. Познакомься. Любомир Горич — в будущем светило журналистики. Изучал многогранность жизни, решил проверить силу воли. Скажем, таким методом: сможет ли он отрезать голову человеку. Маньяки отрезают живому... а он мертвому, — с черным юмором предложил Вовик.

— А что, и попробую, если разрешат, — Любомир чувствовал себя героем.

— Разрешаю. Вот скальпель. Подойдите к трупу женщины и попробуйте. Не все ж журналистам в судах сидеть, а вдруг и о нашей профессии репортаж выдадите.

Ноги у Любомира налились свинцом. Ум прояснился. Он с ужасом подумал: «А вдруг очнется?» Не верилось, что это труп.

— Действуй. Я потом пришью. Начинай с шеи.

Незнакомка была чертовски красива, даже мертвая. Длинные черные волосы. «Да они живые!» — подумал он. Осторожно тронул лоб рукой. Странный холод. Он проник через всю ладонь до основания, до самой мелкой косточки и «поселился» в ней. Любомир Коснулся скальпелем шеи и перевел взгляд на «публику», мол, как видите, действую легко и непринужденно. Острое орудие патологоанатома уперлось в шейные позвонки, как тупой нож в дерево.

— Надо сломать позвонки руками. Смелее, — подсказывал врач.

— Во дает! — тянул Вовик.

Любомир не знал, как это делается, попробовал. Руки дрожали. «Помог» специалист своего дела. Любомир намотал длинные волосы на руку и поднял голову — видел такой трюк в каком-то фильме. Даже не предполагал, что голова человека такая тяжелая. Вовик аплодировал. Любомир раскланялся, но не выдержал, вышел на воздух, он задыхался...

Долго, лет десять, по меньшей мере, являлась ему эта сцена в жутко-кошмарных снах.

Ах, женщины! Так кто же счастливее — тот, кто требует от них взаимности, или тот, кто холодно и бесчувственно владеет ими? Иногда и ему было без них скучно, а с ними муторно. А эта Олеся — кто она? Игра воображения? Ведь он давно позабыл душевные муки. Любовь к Камелии была сдержанной. Чувства под гнетом разочарований атрофируются. Если в лодке жизни правит женщина, это чревато неопределенностью. Ведь даже за каждой красивой женщиной, как шлейф, тянется ее некрасивое прошлое. Имидж стороннего наблюдателя нравился ему. Все кончилось как бы в расплывчатом сне-тумане, не принеся душевных переживаний. Он спокойно ходил на похороны известных деятелей

культуры, музыкантов, поэтов... Стоял в траурном карауле, думал о сюжетном ходе статьи, о предстоящей встрече с «Тихой». Он знал, что Олесю идеализирует. Временами и к ней просыпалась неприязнь. Потому как она создание этого греховного племени и он ясно видит в ней типичные черты, свойственные и всем остальным. К чему так восторженно реагировать на черную «Волгу», на то, что он за рулем? Почему не поинтересоваться, для чего он привез ее на Минское море, к молодежно-туристическому центру «Юность»? Хотя бы для приличия засомневалась. «Далеко. Боюсь ехать за город... » и прочее. Они спустились вниз, к воде, к настилу, отдаленно напоминающему пирс. Он сжал ее лицо в ладонях и поцеловал в губы... один раз, второй... третий. Ему показалось, что она ждала этого с молчаливой покорностью. Почему она держит его руку в своей руке? Почему идет рядом, подавленная, ручная? Хоть бы ускорила шаг, бросила слово в укор, осудила, что ли?

«Боже, неужели и она, как все, рада-радешенька, что ее обнимают, целуют? Жаркий поцелуй сорокалетней женщины — предвестник победы над ней».

Разговор не клеился. Он питал к ней недоброе. Она почувствовала изменчивость его настроения.

— Извините меня, ради бога. Я боялась, что вы меня увезете к черту на кулички. Наверное, я слабая. Простите. Но ваш поцелуй мне приятен. Я его ждала... очень, — открыла она ему правду, когда он остановил машину рядом с ее домом у антикварного магазина.

Он подобрел:

— Не унижайте себя. Меня простите за мальчишеское озорство. Тогда мне хотелось вас целовать, хочется и сейчас. Дайте мне руку. Еще тридцать секунд. Я понимаю, положение замужней женщины обязывает быть осмотрительной. Я хочу запомнить ваши глаза.

Он нежно поцеловал ей руку.

— До свидания.

— До встречи.

Не уезжал, ждал, пока она войдет в арку. Она повернулась, помахала рукой. И он понял, что был не прав. Ему не хотелось, чтобы она уходила, очень не хотелось.

В этот день у Олеси все валилось из рук. Разбила свою любимую коричневую чашку. Взялась было стирать трусы, носки, майку мужа... Передумала. Оставила в ванной до вечера. Пошла со старшей дочерью пить чай. Ей не хотелось оставаться одной... мысли о нем преследовали ее.

Оля с подружкой, тоже неудачницей, — обе не поступили на библиотечный факультет Института культуры, — устроились ученицами на завод телевизоров. Август не интересовался судьбой дочери. Сказал только, что в его роду «таких тугодумов не было».

— Хорошо. Она пошла в мой род, и закончим этот разговор, — раздраженно оборвала его Олеся.

Дочь была довольна. Она получила первую ученическую стипендию: шестьдесят рублей.

— Трудно там, дочка?

— Не так трудно, как скучно и нудно. Берешь плиту, капаешь олово и паяльником, пшшш... следующая плита. Конвейер, одним словом. Мы решили с подружкой пойти на вечерние подготовительные курсы при университете. Будем поступать на биологический.

— Держись ее. Она серьезная. Мне нравится. Не увлекается как сумасшедшая этими панками и металлистами.

— Мама, что в этом плохого. Ты уже становишься похожей на отца. У вашего поколения были свои кумиры, у нашего свои. Пойду спать. Глаза слипаются.

— Отдохни.

На час раньше обычного пришел раздраженный Август, не включил даже телевизор. Проголодался. Ел молча, быстро.

— Баб к руководству подпускать — преступление, — по обыкновению начал он, закуривая. Она знала: пока не выскажется, не отстанет, будет ходить за ней следом и вещать, как пионервожатый.

— Наша дура дала указание через секретаршу забронировать в Бресте шестьдесят гостиничных мест. Секретарша, тюфяк, не перезвонила, не уточнила, кто будет, кто не может приехать. Бронь осталась на все семь дней. Приехали половина участников семинара. Кто в этих номерах? Никому нет дела. Транжирят государственные деньги. Я, естественно, по приезде сделал втык безмозглой секретарше. Так она в позу. Давай учить меня, жалуется Серафиме. А эта пава сыторылая в ФРГ на семинар ездит, валюту нашу с тобой сжирает, поучает меня. Дерьмо.

Он неожиданно зло и строго, впервые за совместную супружескую жизнь, спросил:

— Может, и у тебя есть любовник?

— Нет. Прямо меня в краску ввел, — она растерялась.

— У нас через одну. Вырываются в командировки, лишь бы с глаз долой, и в гостиницах сношаются по-черному. Без разницы. Шестидесятилетние старики, двадцатилетние юнцы... Дерьмо. За них всю работу делаю. Я им пробил диагностические центры на двух крупных заводах. Заключил три договора. Сам на машинке текст печатаю. Внедрил три методологии.

— Обещали ведь тебя повысить в должности, — решила взбодрить его Олеся.

— Они все недолюбливают меня. Выдры эти общипанные. Я купил туалетной бумаги, — перешел он на темы быта и хворей, — полчаса стоял в очереди. Дожились с этой перестройкой. В туалет идешь без удовольствия. У нас есть растирания для спины?

— Меновазин? Есть.

— Просифонило, видно, в поезде. Пристали в купе две наглые бабы и почти силой заставили уступить нижнее место женщине с трехлетним ребенком. Полудебил, на нем уже воду возить можно. У тебя знакомого стоматолога нет? Как ни схожу к нашей маразматичке-пенсионерке, так через неделю пломба вылетает.

— Есть. Позвоню.

— Только заранее спроси: есть ли у нее фээргэшный импортный материал.

— Спрошу.

— А где маленькие ножницы? Опять на место не положили?

— Состриги ногти другими.

— Ты же знаешь, на ногах ногти я стригу маленькими ножницами.

— Хорошо. Я поищу их.

Она выключила за мужем в туалете свет, постелила младшей, перекрыла на кухне газовую трубу и принялась растирать меновазином широкую спину мужа. Долго терла. Наконец он повернулся на спину, провел рукою по ее ноге выше колена и неожиданно больно ущипнул за ягодицу.

— Сумасшедший! Больно же.

— С годами не ползешь. Все еще упругая: и ягодицы, и животик.

— Стараюсь.

— Для кого?

— Для себя... и для тебя.

— Ну-ну.

Позвонили. Она взглянула на настенные старые часы — половина одиннадцатого. Кто бы это? Может, у сестры что случилось?

— Слушаю вас.

— Это я, — она обомлела, услышав знакомый голос, — еще раз прости за грубость. Спокойной ночи.

Она замерла с трубкою в руках.

— Кто это? — обычно он редко интересовался телефонными звонками.

— Ошиблись номером, — она не поворачивалась к нему, чтобы не выдать себя румянцем на лице.

— Не забудь спросить про эвикрол.

Она не слышала его слов; мысленно была там... на пирсе. «Возможно ли это? Повторится ли?» В нежной тревоге забилось сердце. Она и сама не верила в то, что зарождалось в душе. Подумала: подойди он к ее окну, кликни, ведь вышла бы, нашла бы любой повод.

Любомир знал, что завтра Олесю не увидит. Камелия рыдала, она была близка к истерии. Сын в письме сообщил, что решил связать свою судьбу с армией и остаться на сверхсрочную службу на границе. Для нее, живущей ожиданием сына, это было шоком. Она настаивала ехать в Брест немедля, он уговорил отправиться утром. По всей вероятности, как догадывалась мать, Артем узнал от друзей (а может, недругов), что его любимая девушка ходит по вечерам в валютный бар гостиницы «Юбилейная» и продает себя иностранцам. Камелия узнала об этом от подруги, однако ничего пока Любомиру не говорила. Девушка заболела венерической болезнью и втайне от родителей лечилась у соседки, подруги Камелии. «В атмосферу стыда и позора сын не хочет возвращаться».

— Господи, да разве в его возрасте женщина играет существенную роль?

— Она никогда не должна играть этой роли, — согласился с женой Любомир.

Всю дорогу до Бреста, в длинных паузах между короткими разговорами с женой, он думал не о сыне, а об Олесе.

В нервном напряжении ждали два часа на КП, пока пограничники не воротились с кросса. Забрали сына в город, угостили сытным обедом в ресторане и уже там, сидя за столиком, а потом на прогулке, когда шли по набережной Мухавца долго, убедительно, сочувственно и заботливо уговаривали (больше мать) не торопиться с решением. Артем повзрослел: его юношеское упрямство переросло в мужскую твердость. Да, он знает историю с девушкой. Сейчас душа его свободна. Он передумал поступать в физкультурный институт, чемпиона из него не выйдет, упущено время. Ему по душе служба на границе. Он просит признать и его право на самостоятельность. Родители поняли, что уговорить сына невозможно. Раздосадованная, обозленная Камелия молчала всю дорогу, как никогда болезненно воспринимая свое одиночество.

— Мать, надо смириться. Ведь как невозможно остановить одуванчик, взрывающий асфальт, так же невозможно удержать под своим крылом дитя. Брест не Владивосток. Почти рядом, — сочувствовал Любомир жене, помогая ей подниматься на пятый этаж, — пройдет год, два... Приедет он в отпуск в новую квартиру. Может, передумает. Все это поиски своего «я». Мы просто забыли младые годы, молодые желания.

— Помолчи. Меня все раздражает. И твое притворное сострадание тоже.

Два месяца Любомир не прикасался к зеленой папке Николая Ивановича.

IV

Особого рвения поехать в выходные дни в живописные полесские места Гомельской области уже никто не выказывал. Ехали разве что по нужде: навестить родительский дом, помочь с уборкой урожая, схоронить близкого человека. Правду о Чернобыльской катастрофе до конца никто не знал. Одни знали совсем небольшую ее часть, другие — еще меньшую, третьи — большинство — черпали скупую информацию исключительно из газет и коротких сообщений по телевидению. Просачивались факты и от комиссий разных уровней, и факты эти часто были противоречивыми. У секретаря ЦК Ивана Митрофановича был персональный дозиметр, но не было абсолютно никакой персональной ответственности за ликвидацию последствий аварии. Он понял одно: все подчинено целям пропаганды. Партии и правительству, ученым и атомщикам стыдно признаться перед народом в своей вине. Не потому ли в молчании, оговорках, проволочках и казуистике потонули, как в болотной трясине, пути спасения. Большинство некомпетентных руководителей ждало, какой вердикт вынесут компетентные мужи, а те, в свою очередь, выжидали, какое решение угодно и удобно этим влиятельным некомпетентным. Благие намерения уступили место закулисной борьбе сил, которые правдами и неправдами отводили от себя ответственность.

Злобин без труда уговорил Ивана Митрофановича выбраться на выходные в чистый Лепельский район на голубые озера. У секретаря была суматошно-неприятная неделя. Обнаглели до крайнего неприличия, как он их называл, недоспелые националисты из клубов «Спадчына», «Тутэйшыя», БНФ. Тоже мне придумали Народный фронт. С кем воевать? С ним — таким же белорусским крестьянским сыном? Какое отношение имеет герб литовских князей и белорусских националистов «Погоня» к булочной «Троицкий пряник»? По личному указанию Ивана Митрофановича этот герб — всадник на коне — городские службы сняли с вывески над кафе. Амбициозные руководители клуба «Спадчына» засыпали его слезными жалобами. Да, по его подсказке клуб тактично и буднично выживали из всех закутков и полуподвалов. Ведь и надежная, мудрая писательская интеллигенция, народные писатели, лауреаты Ленинских премий далеки от этой мышиной возни. Ни одного телефонного звонка к нему со словом защиты, ни одного протеста. Значит, самозванцы, спекулирующие на словах «национальное самосознание», натравливают на русских и украинцев, и пора их просто разогнать, чтобы не будоражили умы доверчивых. Власть должна иметь настоящее величие и силу, а не подобие их. Первый секретарь — трус. Он это понял по незначительной житейской мелочи. Совершали после аварии облет наиболее пострадавших районов: Брагинского и Хойницкого. Определенной конкретной цели еще не было, так, для общего ознакомления с обстановкой, для поддержки духа. Самым неулыбчивым, хмурым и суровым был Первый. Глядя на его обеспокоенное лицо, и остальные члены десанта поубавили спеси и официоза. По издавна выработанной привычке местное партийное руководство рапортовало одно: «Жалоб нет. Все сделаем своими силами. Медики не подвели. Солдаты дезактивацию проводят. Паники в народе нет».

К вечеру вернулись в столицу, обессилевшие от усталости. И вот тут-то Первый, что вызвало полнейшее недоумение, выбросил свои туфли с радиационной пылью на аэродроме возле вертолета. Остальные, и Иван Митрофанович в том числе, не рискнули повторить подобный жест. Дома, правда, он снял рубашку, туфли, брюки, трусы, попросил жену все это где-нибудь тайком сжечь. Вне сомнения, Первый знает больше всех, коли уже на третий

день после аварии прислуга на даче обмывала водой из брандспойтов сосны у особняка. Не помнил Иван Митрофанович, чтобы Первый по собственной инициативе снова предпринял поездку в Гомельскую область. Сам же он вызвался стать чем-то вроде негласного руководителя зонального семинара на базе облученной деревушки Белоуша в Брестской области. Это был выдержанный в старом духе показательно-образцовый семинар по умелому и надежному методу дезактивации почвы и растительности. Впервые Иван Митрофанович увидел в тамошней школе бледнолицых, не по-детски пассивных, усталых ребятишек. Учительница белорусского языка и литературы одна из всех пожаловалась секретарю, что у детишек на уроках из носа идет кровь, что хорошо бы по примеру других областей вывозить их на оздоровление в чистые зоны на все лето. Он обещал «профильтровать» этот вопрос, дать ему «подвижку». Рвения его хватило на один сезон. Детей не вывезли ни к Черному морю, ни к Азовскому, а повезли за двести километров от родной деревни в лагерь под Кобрин. Ждали рекомендаций и решений Союзного руководства. Год тысяча девятьсот восемьдесят восьмой обещал стать значительным и поворотным. Ходили слухи, что Первого все же вернут назад в Москву.

На этот год пришлись свободные выборы народных депутатов. Плох тот хозяин, который не готовит сани летом. Сын крестьянина, Горностай ценил и любил эту присказку. Надо было выйти на финишную прямую перед выборами с безупречной репутацией и надежным запасом добрых дел. Иван Митрофанович больше всего на свете боялся компрометации своего партийного реноме. Он боялся опорочить свое имя даже косвенно, потому решил осторожно отделить себя от дел Злобина, не подозревая поначалу, что и у ректора зародилась лихая идея пробиться в народные депутаты Союза.

В личной «Волге» Злобина (он сам сидел за рулем) ехали Иван Митрофанович и заместитель начальника областного управления КГБ по области подполковник Валерий Валерьянович — высокий, с располагающей улыбкой и хитроватыми настороженными глазами человек лет сорока, бывший коллега Ивана Митрофановича по работе в обкоме. В «Жигулях» кроме Дорофеенко сидел зав. кафедрой института, к брату которого, председателю колхоза, и отправилась на отдых высокая делегация. Председатель колхоза более остальных был заинтересован в создании комфортного отдыха высшего класса, конечно, по его представлениям. Водка, рыбалка, шашлык, коньяк, охота, водка, баня, пиво, раки, коньяк, уха, водка. Обжираловка за счет богатого местного дяди. Председатель колхоза, обтрепанный, похожий на разбойника, взяв в подручные бессловесного трудягу Дорофеенко, лихо управлялся по части закусок и фирменных блюд: ушицы да шашлыка по-лепельски. Никто и понятия не имел о таких кулинарных изысках. Хутор (скорее всего, родовое имение председателя) был на самом краю бедной деревеньки, состоявшей из одной улицы, которую украшали подступавшие с двух сторон полянки пшеницы. Горбились ветхие избы, утопая в садах. Только в некоторых хатах доживали свой век одинокие, полуслепые, согбенные старушки, от остальных домов веяло неприятным безмолвием. Впрочем, гостей это не занимало, они рады были, что председатель привез их в умирающий уголок колхозно-совхозной действительности, подальше от завистливых и недоверчивых глаз. Забавы ради высокие чины, кто из надувной лодки, кто из деревянной шлюпки, кто с берега, удили рыбешку. Услужливый и проворный Дорофеенко вытопил баньку, наносил дров для костра, пока распорядитель «бала» готовил провиант для ухи. Не больно он рассчитывал на удачливость рыбаков. Отменные сазаны, внушительных размеров окуни, пугающие своим змеиным видом угри выловлены сетью еще ночью. Все было готово. Даже мясо нанизано на

шампуры. Дорофеенко и председатель маячили на берегу, как дружинники на улице, выказывая своим видом готовность и нетерпение. Наконец рыболовы, каждый со своей скромной удачей, подошли к костру, высыпали в таз рыбешку. Председатель поставил рядом и свой таз, снял мешковину: «А вот это мой улов». — «У-у-у!» — затянули в один голос удивленные гости. Счастливая улыбка не покидала председателя, как космонавта, даже тогда, когда он голышом, показывая пример остальным, бегал из бани в озеро. Дорофеенко попал в такую экстремальную ситуацию впервые. Во-первых, его хилому здоровью парилка была противопоказана, во-вторых, из сахарской жары бежать сломя голову в холодное озеро было чревато если не воспалением легких, то свирепой простудой. Но что делать? Уже дважды бегали в воду все, даже с опаской и осторожностью сам Иван Митрофанович. Тела их, налившись малиновым румянцем, напоминали разгоряченный металл. И он, превозмогая страх, побежал, как мышка, следом. Зажмурив глаза, закрыл уши руками и прыгнул с кладки под кувшинки. В компаниях часто бывает, что слабого здоровьем, неуклюжего выбирают объектом критики. Выбрали таким клоуном его. Смирившись, он терпел. Шутили без злорадства, а когда он случайно проколол гвоздем ногу, и вовсе сочувствовали. Объедались ухой, растягивая удовольствие, пили спиртное небольшими стаканчиками. «Хорошо рассуждать, дискутировать в среде понимающих и внимающих тебе», — со сладострастием думал Иван Митрофанович. Говорили секретарь, Злобин и Валерий Валерьянович. Остальная троица жадно внимала. Дорофеенко, зав. кафедрой, председатель — те вообще сидели как заколдованные: они впервые общались так близко с подполковником КГБ.

Похвалили озеро, повосхищались прелестью заката, белизной лилий, выразили удовлетворение чистотой воздуха, но вскоре перешли к более волнующему и интересному. Они относились к тому типу людей, которые не умели, а может, не хотели, расслабиться. Продолжали жить проблемами работы, в последние годы уступавшей место исключительно политике и всему, что связано с ней. Постепенно разговор завертелся вокруг необыкновенного события, которое произошло у памятника Янке Купале. Несанкционированный митинг провели активисты БНР и некоторых других неформальных объединений и групп, которые не боялись властей, заявляя о своем рождении критикой идеологии, партии, коммунизма. Ненависть в их чувствах еще не поселилась, но пренебрежение и высокомерие уже дали всходы.

— Что могу сказать? Народ наш всегда до слухов охоч. Помните, у Высоцкого? Это была чисто гражданская акция. Нечто похожее на общественную панихиду. Всех, правда, собрали в одну кучу: и будущих жертв Чернобыля, и поэта, и убиенных в сталинских лагерях. Противоправных, противозаконных действий не было. Просто нас шокирует новизна. Мы отвыкли от стихийных, неорганизованных митингов и шествий.

— Согласен. Но ведь слышались провокационные призывы: «К ответу партийное руководство республики!» Требование полной правды и защиты населения пострадавших от аварии районов, — важничал Иван Митрофанович.

— Моя дочь была на этом митинге. Злость. Ненависть. Будущие подстрекатели и провокаторы беспорядка. Напрасно вы, Валерий Валерьянович, уж больно спокойно реагируете. Дай им волю, они начнут вскорости и вашу организацию щипать, да еще как, — поддержал друга Злобин.

— Мы контролируем обстановку. Наша система не подвластна временным веяниям и коррозии дестабилизации. Общество должно учиться плюрализму, так думаю.

— Да нет. Оплевывание идеалов отцов и дедов. Кощунство над самым святым... Это надо пресекать. Если каждый начнет в своих бедах искать виновных… Хаос и братоубийственная война, — решил выглядеть радетелем советской власти Злобин.

— Мы отходим от идеологии. Призывов к свержению государственного строя не было. Если сам генеральный секретарь да остальные высокие мужи не прочь поупражняться в критике. Персонально обидели, незаслуженно — подавайте в суд. Каждая партия на Западе борется за свою честь и достоинство.

— Не хватало мне с сопляками-недоучками судиться. Два еврейчика заводят толпу, и это называется плюрализм, — рассердился и надулся то ли от водочки, то ли от чванства Иван Митрофанович.

— Там были не только евреи. Выступали и белорусы.

— Они требуют от меня покаяния. За то, что я с родителями после войны жрал лебеду и получал на трудодень шиш. За то, что я сад, выращенный отцом, порубил, чтобы с матери налоги не брали. За то, что я и сейчас ровно в девять в кабинете и редко когда ровно в девятнадцать дома. Разве что в футбольные дни.

— Очевидно, Иван Митрофанович, они считают, что неважно, какой дорогой ты шел, важен общий результат. И я не верю, что они — неврастеники, полупижоны — смогут составить когда-нибудь конкуренцию партии своими неформальными организациями.

— Да глупости. Партия семьдесят лет создавала свои структуры, поддерживала организованность. Это самая передовая и мобильная сила общества, — с напускным спокойствием провидца говорил Горностай.

— Я приказом предупредил, чтобы ни один студент моего вуза не участвовал в этих несанкционированных сборищах. Ждать чего-нибудь путного от этих петухов — самообман. Национализм разрастается бурьяном в университете и театральном институте, — резюмировал Злобин.

— А вот любопытно мнение глубинки, так сказать, людей от сохи, без комплексов, — Иван Митрофанович повернулся к председателю колхоза, — скомпрометировала ли себя партия коммунистов в такой степени, в какой это раздувается?

Председатель откашлялся, вытер тыльной стороной ладони рот:

— Без партии нельзя. А воду кто мутит? Отдали газеты да телевидение евреям — они и распоясались.

— Вот, КГБ, куда вы должны обратить взоры, слушать, что делает простой хлебороб, — с живостью поддержал председателя Иван Митрофанович, — к сожалению, народ наш темный в политическом отношении. Существует государство — будут партии и будет власть. На нашей памяти сколько уже политических убийств? А сколько еще будет! Допустим, заняли наши кабинеты демократы, социал-демократы, христиане, масоны... и что же, разве у них не будет своих латышских стрелков? Не будет машин, охраны, привилегий? Будут! — Иван Митрофанович застыл с выразительной миной.

— Отец как-то мне толково сказал, — напомнил о себе подполковник, — долго, говорит, живет та власть, которая успевает замечать и решать жалобы и беды народа до того, как их сам народ вынесет на площадь. Горбачев, мне кажется, разгадал трагедию статичности и мертвечины.

— Кто же против лидера? Среди нас таких нет. Мы против шельмования партии как таковой. — Ивану Митрофановичу развивать мысль дальше уже не хотелось, да и шашлык дошел. Давненько они не едали такой вкуснятины. Мясо таяло во рту даже без помощи коньяка. Никто не угадал, из

какого мяса этот редкий на вкус шашлык. Сверхдовольный председатель открыл тайну. Вчера в Березинском заповеднике его люди уложили двух кабанчиков, и уже дома жена вымочила свеженину по своему рецепту. Председатель рад был стараться, чтобы угодить гостям, раздобыл бы и страуса. Отрабатывал. До того еще подарки и провиантом, и деньгами были вручены кому следует. Сына его зачислили в Институт экономики студентом первого курса сравнительно легко. По чужому аттестату медалиста. Единственный экзамен сдавал подставной человек. Уплетали шашлык молча. Было не до разговоров. Не переставали подхваливать председателя. Дорофеенко очень опьянел. От волнения, усталости, переживаний решил отличиться чем-нибудь глубокомысленным:

— Всякое живое существо за жизнь сражается до конца. А из всех живых существ рыба самая безобидная. Нет ни ног, ни крыльев, штоб от человека убегти. Жалко…

— Чего жалеть! — взялся поучать его ректор. — Пущай на Бога обижаются. Человек должен убивать, чтобы жить.

— А вегетарианцы? Монахи?

— Позеры.

Обильная еда и спиртное тянули в сон. Вполглаза посмотрели программу «Время» и улеглись. Две старые тахты отдали Ивану Митрофановичу и подполковнику. На широкой деревянной кровати нашел приют своему внушительному животу Злобин. Председатель уехал ночевать к себе домой, пообещав, что, как и просили гости, в пять утра поднимет их на рыбалку. Бедному Дорофеенко досталась раскладушка, которую он вынужден был поставить в просторных холодных сенях, где нашли пристанище сотни голодных комаров. Искусанный до пят, измученный бессонницей, он под самое утро убежал «нести муку за дело ректора» в еще хранящую остатки тепла баню. Напрасно наивный председатель мягкой рукой влюбленного постучал ровно в пять минут шестого. Никто на его зов не откликнулся. Более того, зав. кафедрой, который спал на полатях за печкою и один из всех вышел по нужде во двор, недовольно предупредил:

— Не надо будить. Хрен с ней, с этой рыбой. К обеду подготовь по килограммов пять на брата, и весь сыр-бор.

— Подготовил уже. Угри каждому и сазаны.

— И молодец. Пивка часам к десяти привези.

Подавив мелкотравчатый гонор, председатель все исполнил в срок. Есть не хотелось. Похмелились пивком. Загрузили в багажники рыбу, мешки со спелыми яблоками. Константин Петрович Злобин, улучив момент, сумел выяснить у сотрудника спецслужб интересовавший его вопрос.

Редко, но бывают дни, когда человеку все удается. Любомир знал, что Олеся вот уже несколько дней работает на новом месте — участковым врачом в детской поликлинике. Новое семиэтажное здание, в котором разместили поликлинику, приятно удивило его. Вместительные лифты, богатство зелени в просторном холле, модернизированная система информации, пристойная мебель, приветливые регистраторши. Он нес к ее кабинету № 22 скромный букет бледно-желтых роз, которые купил в государственном цветочном магазине недалеко от поликлиники. В уютном небольшом кабинете за столом сидела широколицая, с неброскими чертами медсестра, которая на его вопрос об Олесе мягко ответила, что доктор Якунина до двенадцати на вызовах, а с двух будет в поликлинике. Ответом он был слегка раздосадован: уж больно хотелось видеть ее.

— Передайте, пожалуйста, доктору эти цветы.

— От кого? — без улыбки спросила медсестра.

— От... скажите: от капитана подводной лодки.

До двух оставалось сорок пять минут; он решил подождать ее на улице. Правду говорят: разлуку лечит поцелуй. Он, спрятавшись за ствол красавицы ивы, окликнул ее. Под длинными ветвями, которых еще не коснулась рука осени, заключил ее послушное тело в объятия. Они без слов выбрали эту верную форму проявления чувства — поцелуй. Она сделала шаг назад, к дереву, оперлась на ствол и замерла.

— Не надо. Я боюсь... Это ведь моя поликлиника... Родители детей...

— Знаю. Спасибо, что вы есть, что вы рядом.

— Я чувствовала, что встречу вас. Зачем вы добиваетесь меня? Мы ведь не подростки... все отлично понимаем.

— Я не добиваюсь. Мне кажется, я не могу без вас.

— Не скрою, ваши ухаживания мне приятны. Я отвыкла. Но... у нас ведь у обоих обязательства перед семьями... Я не смогу. После наших встреч существую в каком-то непонятном доселе напряженном спокойствии, в ожидании. Я смирилась уже с надоедливой обыденностью: семья, работа, сестра, отпуск, опять работа, иногда цирк, театр, ботанический сад, затем опять магазин, прачечная, семья, кухня, работа. Казалось, все уже в прошлом. Мы люди взрослые. Думала, что до старости не выйду из этого однообразного круга. Не преследуйте меня, я боюсь привыкнуть к вам, к вашему вниманию, доброте. Я отвыкла жить чувствами, порывом, страстью. У нас мало, почти нет перспективы. Я не хочу сводить все к блуду.

— Не говорите ничего — это не поддается анализу. Прошлое мертво. Будущее не прожито. Говорить о нем бессмысленно. Реальность, вот она: ваша рука, лицо, улыбка, слова, губы... — он слегка коснулся своими ее губ, — прав один Шопенгауэр: «Надо сознательно наслаждаться каждой сносной минутой, свободной от неприятностей и боли». Я без насилия над волей, без подсказки разума, без принуждения бежал, спешил к вам, просто ради этого одного поцелуя.

— Вы идеализируете меня. Вы ошибаетесь.

— Нет. Не думаю ни о победах, ни о поражениях. Мне безумно приятно быть рядом с вами.

Договорились, что он подождет ее и проводит домой. Сперва направились к кафе «Бульбяная». Олеся обещала еще раз навестить больную девочку. Она, как опытный детский врач, за диагнозом ОРВИ подозревала у худенькой малышки еще и ацетономическую рвоту. И не ошиблась. За день ослабленный ребенок не притронулся к еде, не выпил и полстакана дефицитной воды «Боржоми», которую хлопотливая мама с трудом одолжила у знакомой продавщицы ЦУМа. Девочка не дышала, а прямо пыхтела ацетоном. Вялость, аморфность переходили в бессилие. Мать не выполнила просьбы врача, заставила ребенка выпить антибиотик, который, не исключено, усугубил ацетономию. Якунина сама вызвала «скорую помощь». Мать разволновалась, заплакала.

— Не волнуйтесь так. В нашем отделении (по привычке она еще говорила наше), особенно после праздников, до десяти детей с таким диагнозом. Три, пять капельниц...

— Боже мой. Куда же ей колоть? И вен-то не отыскать на ручках.

Якунина не ушла, пока «скорая помощь» не увезла девочку в клинику.

— Извините, сударь, я задержалась.

— Ну, что вы, сударыня, мне ждать вас — наслаждение. Я хочу вас поцеловать.

— И я. Мы сумасшедшие. Боюсь, что небо не дает согласия.

— Вы верите в Бога?

— Нет. Никто — ни семья, ни школа, ни институт — не привили мне веру. Вам неинтересно?

— Отчего же? Я ведь тоже оболванен атеизмом. Два сапога пара. Я остановлю такси?

— Зачем?

— Хочу вас увезти. Показать свою новую квартиру. Правда, там, кроме тахты, которую я вчера купил, да чайника, ничего нет.

— Не сегодня. Не надо, не уговаривайте. Вам скучно?

— Ради бога... О чем вы!

— Меня ведь дома ждут... Давайте погуляем по набережной у Генштаба. Это одно из моих любимых мест.

— И мое тоже.

Они шли рядом, касаясь друг друга плечами. Ветер играл ее зелено-черным крепдешиновым платком. Странное состояние переживали они оба. Мир, который дышал, двигался, был рядом, но как бы и отсутствовал напрочь. Их глаза ничего не замечали, они искали руки друг друга. Попадись им навстречу ее Август или его Камелия, они миновали бы их, не заметив. Он ей сказал, что вскоре собирается в Аргентину.

— Завидую. Я никогда не была за границей.

— Признаться, и я еду впервые. Не буду ханжой: еду с интересом. Хотя понимаю, что ничего нового, особенно в природе человека, нет. Щурят глаза от солнца одинаково, плачут по умершим, как и мы. Кто научился наблюдать и ценить движение собственной души, тому мир служит. Можно и должно испытывать неописуемое счастье от одной только мысли, что ты существуешь. Ведь уже миллионы людей не в состоянии совершить экскурсию в Древний Египет, в Древний Рим, в Киевскую Русь. Когда заграница станет доступнее, интерес к ней упадет. Мы так зашорены, что думаем — там нет горя, нет смертей, нет проблем. Все просто. Мир занят поисками сырья и дешевой наемной рабочей силы. Даже посещение самого рая не способно избавить меня от душевных мук, от печали, что состарюсь и умру, от тревоги. Мне нравится целовать твои руки, волосы, глаза.

Они воровато оглянулись, коснулись друг друга губами. Трижды, четырежды они желали друг другу спокойной ночи и не находили сил для расставания, целуясь до головокружения. Он обошел ее дом и вышел к окнам кухни. Она заметила его и, стоя у окна, приветливо помахала рукой. Ему казалось, что он все еще слышит ее милый голос: «Я буду ждать, сударь, вашего звонка».

Назавтра он не успел встретить ее, задержался, позвонил домой. О, как она ждала звонка! Как сумасшедшая. Выключила радио, перенесла аппарат на кухню и дважды поднимала трубку, проверяла: работает ли.

— Здравствуй. Я не вовремя?

— Нет-нет... Я одна. Здравствуйте.

— Как одна?

— Август вчера по авралу уехал на два дня в Оршу. А дети с сестрой на даче. Я пообещала, что вечером приеду к ним.

Он уловил, что голос ее едва заметно дрожит.

— Я рядом... у дома. Я поднимусь к тебе?

— Я обещала детям, что скоро приеду.

— Я провожу тебя на вокзал. Третий этаж... дверь налево или направо?

— Налево... ой, господи, направо... что я говорю...

Сердце ее забилось учащенно. Наспех поправила прическу, убрала лишние вещицы, газеты, книги... перенесла из детской комнаты, включила про-

игрыватель, потом выключила его. Любомир не звонил, постучал по ручке двери. Она открыла.

— Я старался, чтобы меня никто не видел.

— Поздно... Это уже не имеет никакого значения.

— Прости.

Казалось, их страстный поцелуй будет длиться бесконечно...

Уже в постели, касаясь губами ее по-девичьи выпуклой груди, тонкой шеи, едва заметно тронутой двумя морщинками, красивого изгиба плеча, он сказал, что они забыли запереть дверь. Обернувшись длинным махровым полотенцем, она побежала в прихожую, закрыла дверь, пошла на кухню, сварила кофе и принесла в комнату две чашечки. Руки у нее дрожали. Он заметил это.

— Твои руки дрожат.

— Не могу совладать... Я падшая женщина... очевидно, так... Я действительно внутренне долго не решалась... но, увы, не могла совладать с собою. Вечного борения быть не может. За долгие годы я опять почувствовала себя женщиной, счастливой женщиной. Может, мне просто не хватало поцелуев и ласки? Я ваша очередная победа? Скажите мне правду...

— Сударыня моя, я не могу прийти в себя, не знаю, что происходит со мной. У меня тоскливо и нудно на душе, если я день-два не слышу твой голос, не вижу тебя.

Она не решалась перейти на «ты».

— Я считала себя мечтательной и послушной, совершить поступок для меня сплошное наказание. Оказывается, я сама себя не знала, ограничив существование рамками быта. Может, это жажда огромной свободы, что захлестнула общество, спровоцировала и меня. Вот так состарилась бы и умерла, не узнав, что с мужчиной может быть так приятно, легко и радостно. Моя жизнь, сударь, шла по прямой, почти бесцельно (если не считать работу и воспитание детей), и вдруг вы... Я в плену... воображения ли, мистики... Порыв безумства это или ощущение вечности?

— Сударыня моя... все реально. Я боюсь назвать это высокими словами, но не сомневаюсь, что мы еще способны чувствовать, переживать. Я, кажется, начинаю понимать слова Франса, что ад там, где мы уже не любим.

— Я, грешным делом, подумала, что вы скажете: «Седина в голову, бес в ребро». Мы ведь в зените. Не осуждайте меня.

— Бог мой, зачем ты принижаешь себя. Я, может, недостоин тебя. Любовь годы не считает.

— Ну что вы! Вы талантливый, умный, добрый.

— Перехвалите, сударыня, — он нежно привлек ее к себе, целовал без устали. Ей так нравились его мягкие, нежные движения рук, его губы. Они спешили насладиться «упоениями и восторгами» любви, не обращая внимания на холодный липкий пот их тел...

Они не рискнули вместе выйти из подъезда. Можно было уловить тень волнения на его лице. Она же была и внутренне, и внешне спокойна. Любомир проводил ее на вокзал, купил билет до станции Олехновичи, провел в многолюдный вагон и — чего она не ожидала — проехал с ней до окраины Минска.

— Береги себя. Знай, я думаю о тебе.

— И я тоже.

— До завтра.

— До послезавтра. Мы вернемся, по всей вероятности, в воскресенье.

— Значит, до послезавтра.

Она все еще пребывала в свято-радостной отрешенности. Вечером того же дня без утайки открылась сестре:

— Ты не осуждаешь меня, сестричка?

— За что же... если так душа поет... кто же вправе осуждать. Знак свыше.

— Но ведь ты сама... устояла тогда.

— Не любила, поэтому и устояла.

Сестра Катя была в разводе уже пять лет. Единственный сын ее служил в Мурманске офицером-подводником. Еще до развода за ней ухаживал ее коллега по институту, вдовец. Женщина не ответила взаимностью. На лето она забирала к себе из северного города внучку-второклассницу. Сестры в своей трогательной заботе друг о друге всегда делились не только хлебом-солью, но и радостями, и горестями. Охотно исповедуясь одна перед другой, они поддерживали друг друга духовно.

Весь воскресный день провел Любомир у отца, в тихих, отдалившихся от него за двадцать лет Житковичах. Скромный, наспех сделанный в чисто советской манере четырехугольный камень-надгробие отец, не дожидаясь сына, поставил на могиле матери собственными силами. Любомир и денег-то на памятник не передавал, да независимый мужик Григорий Горич и не взял бы у сына денег. Любомир вез с собою три бутылки коньяка, два килограмма сухой колбасы, дыню, виноград, сустак мите, мазь випратокс, а еще самые, может, дорогие сердцу отца подарки: держатель для косы и ручку. Бывший сельский учитель географии, истории, немецкого, белорусского, русского языков — какие только уроки он не вел, — выйдя на пенсию, не менял выработанного за сорок лет сельского образа жизни. Лучшей музыкой для него была музыка сенокоса, лучшей картиной — цветущее картофельное поле. В свои семьдесят жил хлопотно, на подворье — куры, пес, кот, индюки, кролики и грациозные козы. Эти любимицы были для него священными животными. Был он почетным ветераном Отечественной войны, гвардейцем 13-й армии, не знавшей поражений. Не кичился наградами, но себя в обиду не давал, воспитывал и у своих учеников гордость и достоинство. Любил повторять: «Я воспитывал у них совесть и патриотизм». Он склонялся к славянофильству, но без дешевой помпы и кликушества, одинаково сильно любил своих предков, украинцев и белорусов. В речи его как-то естественно соседствовали наряду с русскими белорусские и украинские слова. Следуя давней привычке, он успевал следить за союзной и республиканской прессой. Нельзя было утверждать, что он обрюзг и отвык от людей. Одиночество, правда, состарило его. Свой талант наставника Григорий Артемович перенес на внука Артема, которого «ревнивые» родители не оставляли надолго в дни каникул у дедушки. И всякий раз дед возил любимого внука на Князь-озеро (переименованное при Советах в Красное) в разные поры года. «Мы, полешуки, гордимся и помним, — ненавязчиво просвещал ум подростка Григорий Артемович, — что наша земля дала Кирилла Туровского и неистового Святополка». Дед разыскал в старой книге Ластовского фотоснимки, монеты двора Святополка и переснял их, бережно храня в семейном альбоме. Благодаря «пропаганде» деда, Артем серьезно увлекся нумизматикой, филателией (конечно же, собирал исключительно марки по истории, географии), историческими книгами. То, что Григорий Артемович недобрал в воспитании Любомира, он решил, очевидно, восполнить в нежном внимании к внуку. Теперь вот и внук, незаметно убежав из детства, улетал к независимой самостоятельности. Одно утешало — не в пример сыну, проведать свое Князь-озеро уж обязательно вернется.

Отец соскучился по сыну, обнимал, едва сдерживая слезы. Поехали на могилу, помолчали, помянули. Разговор не клеился, сухо обменивались быто-

выми репликами. Домой возвращались пешком. Любомир до вечера отпустил Фомича (у которого нашлись дела в соседнем Турове). Дом осел, и палисадник, как прежде, уже не украшали, гордо вскинув темно-вишневые головки, георгины. Под окнами росла трава, и вездесущие одуванчики царствовали от калитки до крыльца.

— Ты не обижайся, не получалось у меня приехать, помочь тебе, — начал в свое оправдание Любомир, — заела работа.

— Стыдить тебя грешно, да и похвалить не за что. Нанял я троих рабочих да и установил памятник.

— У тебя утомленный вид. Как сердце?

— Хвалиться нечем. Держусь, работаю. Есть возможность лечь в госпиталь ветеранов войны.

— Я могу тебя положить в лечкомиссию. Меня и жену взяли под постоянное наблюдение. Все по высшему классу.

— Ишь ты... Дослужился.

— Поедем в Институт кардиологии, там у меня друг — отличный специалист Романович. Я попрошу, он сделает все в течение дня, двух.

— Хорошо бы. Он в годах?

— Моих лет. Может, старше на год, два.

— Мое поколение уходит. Мы проиграли идеологию, но мы выиграли войну. Не давай в обиду защитников Отечества. Такое пишут, что боюсь читать, чтобы сердце не остановилось. Гитлер шел, чтобы освободить страну. Войну выиграть можно малой кровью, большой... Враг пришел на мою землю с оружием и должен умереть.

— Не обращай внимания. Люди ищут полную правду и о войне в том числе, чтобы не повторить ошибок.

— Вздор. Вся жизнь человеческая — ошибка, исправление их, подготовка к новым. Ни одно поколение еще не прожило свою жизнь гладко. Я жил честно, твой дед Артем жил честно, исторического оптимизма нет.

Григорий Артемович бережно хранил вещественную память о своем отце, организаторе одной из первых коммун в уезде в тысяча девятьсот восемнадцатом году. До сих пор на стене висели на почетном месте семейные реликвии: фото, многочисленные грамоты с силуэтами вождей. По ним Любомир «изучал» историю колхозного строительства в республике: «Основание коммуны 6 октября, главное занятие — хлебопашество, животноводство, птицеводство, количественный состав коммуны:

1. Семейств — 10
2. Работоспособных мужчин — 13
3. Работоспособных женщин — 15
4. Военно-больных — 4
5. Детей — 15

Коммуна организована Артемом Горичем, Тимофеем Богдановым, Ильей Шульцем.

Какой уровень социалистической сознательности членов коммуны? Все истинные сторонники Октябрьской революции.

Хозяйственно-экономические вопросы, количество земли

а) пахотной — 100 дес.
б) луговой — 100 дес.
в) под садом — 12 дес.
г) усадебной — 6 дес.
е) под лесом — 180 дес.
з) неудобной (болота) — 100 дес.».

Далее шел перечень живности, орудий обработки урожая и мертвого инвентаря. Эти слова «мертвый инвентарь» очень понравились подростку Любомиру, он их запомнил на всю жизнь. Как и первую встречу своего отца с внуком.

— Как назвал малого?

— Артемом. В честь деда-коммунара.

— Может, и не стоило. Он меня дюже бил.

Как общественного деятеля, отца своего Григорий Артемович ценил высоко и в обиду его имя никому не давал.

— И ваша газета — мямля. Ты уже и сам не борец, а бумагомаратель. Что ж ты позволяешь другим журналистам угнетать волю? Начитаешься газетенок, и только два желания в душе — или бери автомат, иди ищи виноватого, или стреляйся сам. Я уже не говорю родину — жизнь любить не хочется. Оставьте человеку право на идеал. Не понимаю, почему ты замолчал?

— Обдумываю себя и общество во времени и пространстве.

— Дед твой не обдумывал, а действовал. Пахал землю, растил хлеб.

— Да... уж напахались с этими коммунами да колхозами, — без надрыва ответил сын.

Отец вспылил.

— И ты туда же? Что, у тебя мыслей своих нет, опыта?.. На тебя ведь равнялись. Да! Да! Тогда нужна была коммуна, чтобы выжить, нужен был и колхоз. В Америке, которую хвалят на все лады, десять тысяч хозяйств коллективной собственности, и никто не требует их распустить, не понукает. Нечестным человеком не может быть сказано честное слово. Ты или растерял бойцовские качества, или струсил.

— За эти годы было наговорено и обещано столько, что уже перестаешь верить в слова. Выигрывает всегда одна оппозиция: критикуй постоянно все и везде и никогда не принимай решений.

— Оппозиция — это моська. Надо пахать землю, варить сталь, делать дело. Бездельники-критиканы зовут к двум классам: богатых и бедных. А роль остальных? Рабы и предатели?

— А разве ты сам под дождем гласности, когда открылось столько страшного, нового, ужасного, не пересмотрел свою позицию, идеалы, которым слепо поклонялся?

— Я никогда не путал чиновников и отечество.

— Это, кажется, Салтыков-Щедрин?

— Он самый.

Любомир видел, что отец стал к старости раздражителен, упрям и уж очень вспыльчив. Зная о его больном сердце, он решил смягчать конфликты в этом уже запоздалом споре двух поколений.

— Был бы счастлив, отец, если бы все думали, как ты, но масса неоднородна, увы. Духовная работа души на нуле. В столице приблизительно 80 процентов рабочих-алкоголиков. Общество деградирует.

— Сказки. В народе всегда есть и будут здоровые силы. Ты самоустранился от мобилизации этих сил. Обидно.

— Все еще впереди. Давай о другом. Я получил трехкомнатную квартиру. В центре. Лучшего и желать не надо. Если тяжело будет зимой — милости прошу.

— Спасибо, сынок... ты знаешь, я однолюб... не смогу себя вольготно чувствовать вне дома, хоть в райский сад посели. Я на один день своих животных оставлять боюсь.

— Чем я могу помочь, облегчить? Говори.

— Слава богу... газ привозят исправно... Дров на три зимы хватит. А сена козам накосил.

— И все же тяжеловато тебе одному.

— Труд в удовольствие, были бы силы. Вот что попрошу. Сможешь достать новый сорт бульбы-скороспелки, привези.

Любомир уютно уселся на старом диване, расстегнул воротник, снял галстук. Отец (и это была семейная традиция) включил электрический самовар. Все в доме оставалось, как при жизни матери, на прежних местах. Буфет, книжный шкаф, круглый стол, черно-белый телевизор «Горизонт», фикусы, ее белые салфетки на спинках стульев. Парадокс. Всю жизнь работая, как любил он говорить, от гимна до гимна, не смогли разжиться, не то что разбогатеть; не баловала их советская власть. На стене рядом с портретами деда и бабки появился большой портрет матери. После этого снимка отец забросил свое давнее хобби — фотографию. Когда-то Любомир задался мыслью втайне от отца-атеиста, уплатив в церковную кассу триста рублей, заказать поминание по матери на десять лет вперед. Не заказал. Чего не хватило — времени, решительности, денег, желания?

Попили в охотку чаю со свежесваренным клубничным вареньем.

— Ты отдохни часок. А я пройдусь по городу.

— Походи.

Особого желания увидеться с бывшими одноклассниками, которых в городе осело человека три-четыре, не было. Ноги сами несли его к новому зданию почты. Он позвонил ей домой, хотя знал, что она еще не вернулась с работы. Рассчитывал на чудо. На вокзале, где ветер доносил с путей знакомый запах угля, дыма, металла, он купил у тети Дуси пирожок с мясом. Был рад, что никто не попался навстречу, говорить не хотелось… Прислушался к нескладной, неблагозвучной песне птицы провинции, горлицы — «ту-ту-ту», постоял у кинотеатра, равнодушно рассматривая аляповато намалеванную афишу американского боевика. Зашел в универмаг. Камелия просила купить, если попадется, постельное белье. На полках белья не было. Продавщицы — молоденькие девочки с сонными глазами — не знали его, и он не рискнул просить дефицитный товар. Городок существовал сам по себе, без него и своей отстраненной замкнутой жизнью не затрагивал душевных струн.

Любомир был далек от нужд и интересов города своего детства, он не поддерживал отношений даже с коллегами из районной газеты, не боясь, как ни странно, их суда. Милая, тихая родина перестала вдохновлять. Были времена, когда сердце радовалось от встречи с земляками, от их говора, одежды, от телег на площади, скромных женщин, торгующих на перроне овощами да фруктами, даже тополиный пух был свой, родной.

Похоже было, собирался дождь. Центр опустел. Кружили, как когда-то он, на велосипедах мальчишки, а ему уже не хотелось сесть на велик и поколесить по площади. Ему хотелось заглянуть в церковь, но постеснялся, не подошел к ней.

Отец не прилег. Подоил козу и угощал Фомича целебным молоком. От роду водитель не пробовал козье молоко, однако услышав слово «целебное», на дармовщинку выжлуктил литровую банку и бровью не повел. Любомир к молочным продуктам относился равнодушно, но чтобы не обидеть родителя, кружку выпил. Похвалил.

— Надо было тебе одному приехать, переночевал бы. А так человеку неудобство. Забрал выходные.

— Получит отгул. Он привык. В гараже ЦК привычных выходных нет. Скоро я пересяду на последнюю модель «Волги». Ты из яблок и смородины вино поставил?

— Яблоки дозревают. А из вишен и смородины настойку зачехлил. Что же ты про внука ни слова?

— Что говорить. Ты, очевидно, первым узнал о его решении. Камелия пыталась протестовать, уговаривать, как каждая мать. Я согласился. Помню, и ты не стал уговаривать, настаивать, чтобы я подался в военное... пошел мне навстречу.

— И правильно сделал. Ты был бы никудышный военный. Из Артема офицер выйдет. Из него не выбьют чувство веры и верности.

— Кажется, эти слова Петр I выбил на ордене Андрея Первозванного?

— Именно. Хорошо, что хоть это не забыл.

— Кому теперь до этого есть дело?

— Так чему ты радуешься?

— Я не радуюсь и не огорчаюсь. Констатирую факт. А может, давай с нами сегодня? Переночуем, а поутру в клинику.

— Негоже. Придешь к человеку, а он не ждет, неудобно, стыдно. Хозяйство же надо на соседку определить, договориться. Ты выбери день, лучше в конце октября.

— Тогда будем ориентироваться на середину ноября. Мне предстоит поездка с делегацией в Аргентину.

— У-у, в такую даль? — с некоторой гордостью воскликнул отец.

— Играть, так по-крупному. Я позвоню. И сам не пропадай за работой. Станет хуже... немедленно звони, в этот же день и положим... что ждать обследования?

— Да я ведь слежу за собой. Пива боюсь выпить. Счастливой дороги. Тут варенье, яблоки, груши. Возьми жене.

Обнялись на дорогу. Любомир с печалью подумал о неуловимости и быстротечности времени. Казалось, всего-то минута и пролетела, как они обнимались при встрече. Куда оно растворилось, где, кому подвластно? Как мгновенно то, что произошло утром, обратилось в далекий сон. Когда выехали на окраину, к станции техобслуживания, почувствовал нечто похожее на душевное облегчение. На автозаправочной станции, с дежурной, сидящей в домике за окном, окованным решеткой, как раздобревшая и уставшая бабаяга, не оказалось 93-го бензина. Растерянные водители «Жигулей», «Запорожцев», мотоциклов заправляли свои машины семьдесят шестым. Крутнулся Фомич около окошка, что-то шепнул настороженной заправщице, гляди и выпросил два ведра девяносто третьего бензина.

— Да-а, Фомич, всякий раз убеждаюсь, что для тебя нет безвыходных ситуаций.

— Так их же ни для кого нет. Безвыходная, тьфу, одна смерть. Вашим высоким положением воспользовался.

— То есть?

— Прямо говорю: корреспондент «Правды» товарищ Горич. Срочная командировка по письму из ЦК Москвы. На простой люд действует безотказно. Я-то возил и членов ЦК, и членов Совмина, знаю, что ничто человеческое им не чуждо, но простому люду ввели в уши, что не на иконы надо молиться, а на портреты членов Политбюро.

— Остроумно. Уважают или боятся?

— Трошки дрейфят. Отучили уважать работу учителя, хлебопека, водителя. Как Щукарь говорил: «Я вступлю в партию, а ты мне сразу должность». Мать моя темная женщина, можно сказать, а так говорит: «Толку не будет, пока человека не начнем уважать, а не должность».

«Ты гляди, простачок, простяга Фомич, а глаз имеет острый», — думал Любомир, погружаясь в свои думы.

Приехали поздно. Усталости не чувствовалось, наоборот, ощущалась приподнятость. Он жил завтрашней встречей с Олесей, спешил насладиться чувствами. Она своим присутствием оттеснила все в его жизни на второй, если не на третий план. Он охотно уступал внезапной неодолимой страсти.

Время напоминало Николаю Ивановичу тяжелогруженую телегу, которая увязла в мокром песке. Подобно тому, как начинающий поэт ждет свою первую публикацию и бегает к газетному киоску по несколько раз в день, так и Барыкин спешил купить первым газету «Правда». Страницы, пахнущие цинком, хранили молчание.

После встречи с Любомиром он терпеливо ожидал. Правда, два раза все же выходил сам на помощника второго секретаря ЦК партии и министра высшего и среднего образования. Встречу с секретарем изощренно отменили под лавиной нелепых доводов: то просили записаться в очередь, то отменяли в связи с заседанием бюро, поездкой в область, то отсылали к завотделом науки и учебных заведений, то переносили на неопределенный срок в связи с поездкой Горностая за границу. Министр, будучи доступнее и менее занят, уступил, не смог инсценировать карусель, но условился, что примет всего на пять-десять минут, потому как в пятнадцать ноль-ноль коллегия. Года два тому назад они встречались, когда дело только-только заворачивалось. Министр сразу пожурил Николая Ивановича.

— Поверьте, Николай Иванович, все это уже превращается в какой-то скверный анекдот. Когда-то мы оградили вас от незаслуженного гонения ректора и кафедры, пожалели.

Николай Иванович тотчас перебил:

— Не пожалели, а согласно закону восстановили истину.

— Как вам угодно. Чего вам не хватает сейчас? Вас с почетом проводили на пенсию. Насколько я знаю, состояние вашего здоровья, мягко говоря, ранения... возраст. Что вам дает этот год преподавания даже из чисто амбициозных соображений? Лишнюю трату нервов? Партийная организация против вас. Я поставлен сюда партией. Как же мне идти против коммунистов института? Мягко говоря, неэтично. Вы настроили против себя весь трудовой коллектив — это факт. Если я стану настаивать на отмене коллективного решения — несерьезно, нездоровый оттенок. Вас ведь никто не лишил права преподавать. Идите в техникум, в ГПТУ, школу... Требования там ниже.

— Спасибо за заботу. Вас руководить поставила партия. Защитите меня как коллегу по партии. Ведь ничто так не унижает человека, как несправедливость по отношению к нему. Лжерешение совета надо отменить, потому как он укомплектован исключительно преданными ректору людьми.

— Уважаемый Николай Иванович, мы ведь не в ликбезе. В обществе говорить о мифе социальной справедливости — утопия. У кого власть, тот и распределяет социальную справедливость. Как я смогу доказать, что решение необоснованно и несправедливо? — с натужным бодрячеством ответил министр.

— Поверьте моему честному партийному слову. Иезуитским решением я унижен смертельно.

— Помилуйте, уважаемый Николай Иванович, десятки, сотни преподавателей разных рангов ежегодно выставляются на конкурсы, и многие не получают «добро», но никто еще не лишил себя жизни из-за этого житейского дела. Не впадайте в панику, найдите новое место применения сил. Возглавьте партийную организацию при ЖЭСе.

— Опять вы не понимаете меня или не хотите понять. Когда-то, будучи еще замминистра, когда сфабриковали досрочные выборы, вы возглавили комиссию и отстояли меня.

— Помню. Мы тогда не дали совершиться несправедливости, не вняли наветам. Но, мягко говоря, меняются времена, меняются люди. Мы стареем, многого уже не понимаем в смене декораций. Что и говорить, перестройка потребует жертв. Грубо говоря, не имею в виду вас, так, к слову. Наше поколение, хочешь не хочешь, а должно уступать место молодым без ненависти.

— Не о том речь, не о том. За честное служение отечеству, науке мне позорно наплевали в лицо, вышвырнули на улицу с клеймом неполноценности. Признать все это, согласиться, значит расписаться в собственном дегенератизме.

— Не усугубляйте, так ведь действительно можно довести себя черт знает до чего. Я бессилен! Институты получили полную самостоятельность. Министерство стоит как бы сбоку.

— Но вы ведь не дворник, а министр!

— Повторяю: я бессилен.

— Что вы мне посоветуете? Писать жалобу на вас?

— Ваше право. Скажу только, что жалобами я завален по самые уши. Система трещит, дала крен... Корабль тонет, независимо от того, добрый капитан или жестокосердный.

— Боитесь вы ректора, боитесь, — понуро сказал Николай Иванович. Хотел еще добавить: «Платит он вам, что ли?»

— Извините, в таком тоне я не смогу продолжать разговор. Меня ждут на коллегии. Всего хорошего.

Они не подали друг другу руки. Безлюдная, огромная площадь, за которой присматривала каменными глазами внушительных размеров статуя вождя, пугала его. Казалось, что он не сможет пересечь ее, дойти до метро. За грудиною болело, жгло. Как никогда он почувствовал себя одиноким и беззащитным человеком в этом просторном, красивом городе. Злость забирала к себе. Он начинал ненавидеть всех, а своего обидчика готов был убить. Как глупо, дико, несообразно и смешно заканчивается жизнь. Время какое пришло — никому до тебя нет дела, никому ты не нужен, никому! Неужели таков удел рода человеческого? Его духовность атеиста держалась исключительно на жалости к каждому человеку, потому как человек должен умереть, только за это он его жалел. И вот расплата в час сатаны.

С трудом поднялся он на свой пятый этаж: невыносимо кололо в затылке. Развернул почту. Среди газет лежал конверт Министерства обороны СССР. Вскрыл. На бланке — перечень орденов и медалей. Одиннадцать штук. Его фамилия. Все правильно. Но чего ради? Еще один листок с коротенькою припискою: «Уважаемый Николай Иванович! В связи с запросом администрации Института экономики Белорусской ССР о действительности имеющихся у вас наград, полученных во время Великой Отечественной войны, отправляем и в ваш адрес копии документов, подтверждающих ваши награды. С уважением начальник...»

Сил читать до конца не осталось, стало трудно дышать.

«Негодяи, христопродавцы! Они усомнились в истинности моих наград. Какой позор! Ладно ректор — вероломный недруг, но вы совет ветеранов. Собратья по оружию».

Он вызвал «скорую помощь», боясь умереть не от сердечного приступа, а от вселенского чувства несправедливости и беззакония, сотканных невидимой рукой в обществе. Весь мир против него! Врач, подозревая микроинфаркт, предложил госпитализировать. Барыкин согласился. Дня через два позвонил из клиники Любомиру и предупредил, что находится на излечении, оставил телефон дежурной медсестры. «Если возникнет необходимость, звоните!»

Николай Иванович все еще надеялся на корреспондента. В скомканном ответе Николай Иванович услышал: «Дело на плаву. Оно постепенно, но верно продвигается к финишу».

Любомир, успокаивая Барыкина, искусственно тянул волынку, ловчил. У самого же созрела мысль: передать материалы Вовику Лапше и, пообещав золотые горы, попросить его состряпать хлесткий фельетон для «Вожыка». Ради приличия. Лапша не должен отказать. Ведь год тому назад, после аварии на АЭС, Любомир спас Вовика от командировки в опасную зону. Вовик служил в армии в роте РХР (радиохимическая разведка) и был одним из основных и первых кандидатов в команду ликвидаторов.

«Да. Это неплохая идея. Завтра же разыщу Лапшу». Подумал об этом и тотчас забыл. Он был уже далек от бестолковых мытарств Николая Ивановича. Чувствами Любомира всецело завладела Якунина.

Все было, когда он увидел друга: удивление, смятение, восторг. Вовик отрастил густые широкие бакенбарды, которые несколько скрадывали его лопоухость. Из руководителя кооперативного предприятия «Эрос» перло кичливое желание уравняться в красоте и манерах по меньшей мере если не с Делоном, то с Депардье. Куртка из натуральной кожи, фирменные джинсы, золотая цепочка на шее, импортные часы, очки в импортной дорогой оправе (как у члена ЦК).

— Проходи, проходи! Я... я это, — вальяжно пригласил Любомира друг.

Вовик снимал-арендовал огромный зал и несколько больших комнат. От того полуподвала остались одни воспоминания. Сносная мебель, телефоны, деловое окружение — в основном представительницы женского пола, — реклама, газеты, компьютер, телевизор, видеомагнитофон... фирма набирала вес.

— Что-то ты растерялся. Не шушера мелкая, а советский бизнесмен. Ты ведь себе не можешь позволить за три месяца справить такую одежду. Я смог. И каждый должен одеваться, как я. Вокруг все блекло, серо, как в гетто. Что не запрещено законом — все дозволено. Твоя «Правда» залежами лежит, а мою газетенку рвут с потрохами. Вона как дело пошло, любо-дорого. Центр «Эроса» в проекте готов и уже реализуется. Ты улыбаешься. Центр политпросвещения есть, Музей революции есть, Музей атеизма и религии есть, вписывается и мой центр. Молодые люди, убеленные сединами ветераны — все в гости к нам. Все, кто хочет получить необходимые рекомендации, милости прошу.

Любомир заметил новое лицо у одного из столов. Это была «Капризная». Ему было не до нее, да и не хотелось завязывать разговор. Он встал с мягкого кресла и сел спиной к залу.

— Значит, твоя мечта почти реализовалась. Секс-салон по-японски создан?

— Не совсем. Я противник открытого публичного дома. Нет условий. Наша задача — подводить человека к состоянию эротического напряжения и все. А уже где ему, с кем и когда снять это напряжение, проявить полученные знания — его дело. В принципе, конечно, каждая женщина — проститутка, только страх и стыд сдерживают ее сокровенные желания. Все у нас дышит эротикой. Ты заметил у входа скульптуры, напоминающие мужской фаллос? Тебя не посещала мысль, почему ракеты, шпили так напоминают мужской член? Любопытное наблюдение. Пришел к нам давеча человек, страдающий бесплодием. Побыл у нас на одном сеансе, двух, трех... окунулся в атмосферу, глядишь, жена и забеременела. Справа зал для сексуального массажа. Выходим на совместные идеи с европейскими государствами. Два датских гомосексуалиста, которые счастливо живут семьей уже десять лет, едут делиться опытом. Мы ведь закомплексованы на идеях Маркса и прочих распределителях произ-

веденного, а наши несчастные женщины, они не то что за кое-что, а за руку мужа держать не научились. Позор. Я тебе обещаю, придет время, когда мы вернем человека из реанимации, и первое, что он скажет после клинической смерти, не «да здравствует КПСС», а «дайте мне женщину!». Ты по первым шагам видишь, как все эффектно. Дизайн, атмосфера интима, кофе, цитрусовые. Никаких разговоров о сионизме, шовинизме, сепаратизме... разговоры об одном: какие из поз наиболее удобны и почему. Кафе-бар уже работает. С семнадцати. Легкие закуски. Опять же оригинальные названия: салат «За секунду до поцелуя», коктейль «Лимонный сосок». Не возражай. Новизна отпугивает. Кто нас, белорусов, когда отделимся, пустит в Европейский дом без богатства и эротической культуры? Да никто. Для особенно закоренелых бюрократов и партийных деятелей, политиков своя метода. Этим «политическим алкоголикам системы» предложат гороскопы, составленные моей группой на основе гороскопов тибетских монахов, изгнанных из Тибета за ревизионизм. Нечто вроде сонника. Пример: «Боль вокруг ушей, мигрень, шум и звон в ушах, избыточное слезотечение — это первый признак измены жены».

Возьмем канал мочевого пузыря. «Частое мочеиспускание с малым количеством мочи, отечность половых органов, геморрой — жди выборов в президиум».

Или: «То запоры, то поносы, тошнота со рвотою и без оной — к вам неравнодушна секретарша». «Озноб, насморк, сыпь, зуд, горечь во рту — смена руководства». «Метеоризм — повышение заработной платы». Так постепенно от пластов общественного сознания мы подведем пациентов к дао любви. «Боязнь высоты, утомляемость, депрессия — смените любовную позу». Придет угрюмый, уставший от грамот и почета, отяжеленный думой о сокращении штатов, а мы ему — сто сексуальных анекдотов. В кафе официантки, естественно, в трусиках. Во-он, одна сидит, просится на работу. И таких уже десятки. Будет конкурс.

Вовик показал на «Капризную».

— Мне нужны звезды стриптиза, а не коровы. Хватит пуризма. Не надо идти в водолечебницу КГБ, к нам надежнее. Вот, скажем, как лечить близорукость? Черника, голубика. А у нас? «Поставьте обнаженную натуру, жену, любовницу у окна в лучах заходящего солнца на расстоянии трех метров и обозревайте ее без очков десять минут поочередно одним глазом, потом вторым». Или как лечить грыжу? Пить молоко? Ерунда. «Два половых акта при полной иллюминации». «От варикозного расширения вен — акт при включенном телевизоре». Каждый выходит из духовного тупика по-своему... Не делай меня счастливым против моего желания. В нашем центре культ желаний. Обнаженному телу — это мое открытие — не нужна национальность. Человек из «Памяти» кричит: «Евреи контролируют средства массовой информации, уничтожают национальное сознание». Вздор чистой воды. У любой нации одно сознание: выпустить либидо, скорее раздеть женщину. Мы воспитаем у членов нашего Центра аллергию к общественной жизни, апатию к словам «революция», «экстремизм». Мир болен... давно. Работай, учись и живи для полового акта, советской страны пионер! Пролетарии всех стран — влюбляйтесь! — на восторженном мелком лице Вовика промелькнул петушиный апломб. — Будет культура чувств без насилия.

— Идея мне кажется абсурдной.

Любомиру надо было что-то ответить.

— Идея полезная, она снимает вопросы. Бывает, легкоатлеты бегут к финишу спиною. Абсурд? Нелепость? Но ведь и это человеку интересно.

— Все. Убедил. Сдаюсь. Планы грандиозные.

— Работа адовая, но уже делается. Понаблюдай за собой. Всегда ли ты проживаешь день по воле чувств?

— Не всегда.

— Отрекись от мишуры, от ненужного. Найди объект вожделения и познавай дао любви. И ты будешь всегда прав.

Наконец сексуальный соловей допел свою песню до конца. Приятной внешности девушка с модной прической (выстриженными волосами над затылком и возле ушей) принесла какую-то бумагу шефу на подпись.

— Вольдемар, у меня к тебе исключительная просьба, — перешел к сути Любомир. — Я по доброте своей и чести журналиста пообещал одному просителю вмешаться в его тяжбу с ректором института.

— Какого института? — насторожился Вовик, с трудом включаясь в разговор.

— Экономики.

— А-а, смерд ты окаянный, опять за свое. Ты ведь уже приходил ко мне по этому делу. Зарапортовался, позабыл, что ли? — с легким укором ответил Лапша.

— Да, помню. Суть в другом. Я не окончательный подонок. Еще перед самим собою несу ответственность за данное слово. Новая квартира, мебель, проблемы с сыном. Закрутка.

— На хрена тебе заниматься самобичеванием? Подумаешь, дал слово, взял слово. Время диктует поведение. Он что, этот твой тугодум, не понимает, что партия катится к нулевому рейтингу?

— Он защищает свою честь.

— Ложными идеалами не защитить.

— Я с тобой согласен. Выслушай. Время идет, я ничего не сделал, кроме того, что кое-что проверил и собрал материал. Он действительно любопытен. Тут у меня вдобавок наклевывается двухнедельная поездка в составе делегации в Аргентину. Я физически не успеваю, да и охладеваю к теме, знаешь ведь, иногда перегораешь и не идет. Из-под твоей талантливой руки вышел бы хлесткий фельетон для «Вожыка». С редактором я переговорю, беру на себя, обещаю, дадут вне очереди. Выручай. Я в долгу не останусь, ты ведь знаешь.

— Пожалей ты меня, прошу. Я год ничего не писал. Кому нужны и кто читает эти фельетоны? Мани, мани, мани, как их делать — вот стимул жизни. А для чего ты живешь и для кого ты живешь — тьфу, никому нет дела, — сказал, не дослушав, Вовик.

Любомир прирос к стулу.

— Там есть проблески сексуальной темы?

— Нет. Гражданский пафос. Неблаговидная роль парткома, горкома, ЦК... невидимая власть партократии и администрации...

— При слове «партия» у меня почечная колика. Не могу насиловать свои желания и волю.

— Надо, друг, надо.

— Железный Феликс. Если меня нитратами не отравили, так ты добьешь своей просьбой. Да только я склонюсь над столом с ручкою — чревато инсультом. У меня любовь. Юная бестия полонила сердце, как Афродита Зевса.

— И Зевс отдыхал после любовных утех. Все, что тебе надо, сделаю.

— Ладно. Считай, что «смертельный приговор» подписал. Из Южной Америки привезешь видеокассет, хорошо бы один-два порнофильма. Не откажусь от магнитофона «Шарп».

— По рукам.

— И еще. Это для тебя пустяк. Мне в центр нужна тачка. Я откопал одного ветерана, поставили его в очередь при райисполкоме на получение «Жигулей». Надо подтолкнуть дело. Курирует распределение автомашин зампредсовмина.

— Знаю. Фамилия ветерана? Он инвалид?

— Надо будет, сделаем инвалидом. Карась Юлий Александрович.

— Исполком?

— Фрунзенский.

— Заметано. Еще до отъезда в Аргентину я побываю там. Сделай фельетон к моему возвращению.

— Убийца. Дай хоть запастись витаминами. Как у тебя хватает сил десять лет переставлять одни и те же слова из одного отчета в другой? Ты в своем роде гений. Не забудь, ради бога, за славою, путешествиями, деньгами, любовницами мою жизненно необходимую просьбу. Это важно, как ближневосточная нефть Америке. Карась Ю. А.

— Я записал. Мне приятно, старик, что ты верен старой дружбе.

— Человеческие отношения не должны девальвироваться от девальвации любой власти. Разочаруешься в своей галиматье, приходи в мой Центр. Кстати, появились первые смельчаки из рабочих, которые, не боясь преследований, добровольно выходят из партии. Возьми интервью у нашего молодого активиста. Не убоялся облить мавзолей вождя на Красной площади чернилами.

— Милый мой, таких случаев в течение года пять, семь. Пока.

— Счастливого пути.

— Спасибо. Я тебе завтра привезу материал.

— Я буду во второй половине дня. Пробиваем на нашей базе независимую киностудию, речь идет о миллионах. Один чудик сочинил экстравагантный оригинальный сценарий с дивным названием «Дети лесбиянки». Касса обеспечена. Жду, — и Вовик протянул Любомиру свою потную ладонь.

Как ни старался Любомир «увильнуть» незамеченным, а все же столкнулся с «Капризной». Она наконец-то переболела им и не проявила особого восторга.

— Привет.

— Салют.

— Ты похорошела.

— Это искренне? — удивилась она.

— Искренне.

— Да. Мне все это говорят. Ты знаком с шефом?

— В некоторой степени.

— По-моему, клевый мужик. Башка варит. Мне его задумки по душе. Он так легко и убедительно умеет уговаривать. Я согласилась сняться в стиле «ню» для их настенного календаря. Фотограф, милая мордашка, ошизел от моей груди.

— Не сомневаюсь.

— Ты искренен?

— Абсолютно.

— Я тебя видела с женщиной в кафетерии. По глазам вижу, тебя она не волнует. Скажи правду.

— У тебя зоркий глаз.

— Обещай мне, что ты не расскажешь шефу о том, что периодически возникало между нами. Все мужчины — эгоисты.

— Обещаю.

— Искренне?

— Да что с тобой? Все «искренне», «искренне»...

— Не знаю. Какое-то жуткое состояние неверия. Ты считаешь, что у меня жизнь не удалась?

— Ну, ты уже комплексуешь. Чего ради в тридцать пять подводить итоги?

— Женщине трудно самой делать жизнь. Рано или поздно она должна попасть в зависимость. Я себя не терзаю сомнениями. Манит блаженство полнокровного существования.

— Похвально.

— Я подарю тебе свой календарь. Надеюсь, ты не приклеишь его в туалете?

— Не приклею.

— Искренне?

— Да.

— Ладно. Не буду дарить. А то еще твоя мымра скандал устроит. Пока. Я в метро.

— Пока.

Она впервые не подставила кокетливо щеку для поцелуя, а подала руку. Минут десять Любомир ждал Фомича, который по обыкновению отлучился «на миг». Думал о Вовике: «Неужели он опьянел от предоставленной свободы мыслей и действий? Как все обернулось по-глупому. Еще два года назад считал его жертвой судьбы, неудачником. А теперь он таковым считает меня. Отец без колебаний назвал бы Вовика новоявленным певцом пороков; дьяволиада под венцом добродетели. Это отец, а я? Если бы пришлось озаглавить статью об идеях и центре Лапши, без желания угодить левым и правым, атеистам и верующим, очевидно, назвал бы осторожно «Раскрепощение человеческого «я»». Ах, это многоликое человеческое «я»!

Тихо, незаметно подкатила к задумчивому Любомиру машина. Фомич с виноватым видом сидел молча, не оправдывался.

— Ладно. У меня сегодня хорошее настроение. Давай на минуту к поликлинике, а затем в архив партии.

— К лечкомиссии?

— Нет. К Комаровскому рынку.

Ему хотелось увидеть ее, обмолвиться словечком и просто поцеловать на лестнице ее пунцовые губы.

Окончание следует.
Перевод с белорусского Натальи МАРЧУК.



Одно стихотворение

СЕМЕН ИСАЕВ



Образное восприятие

Стирайся в буквы, карандаш,
Переворачивайся стеркой —
Словами чувств не передашь,
Как бесконечности восьмеркой.

Но если долго наблюдать
Восьмерки плоскую поверхность,
То можно без труда узнать
В двубокой цифре бесконечность.

И точно так же, в двух словах,
Завязанных узлом рифмовым,
Есть образ, рвущий в пух и прах
Подкарандашные оковы.

Пойми, Почувствуй — и Познай,
Не ограничиваясь чувством:
Есть пустословы — ай-ай-ай! —
Но слово не бывает пусто.



ГЕННАДИЙ ДЕНСКЕВИЧ

Терпение Христа

Бог поругаем не бывает,
Я этим грежу и живу.
И если горе с ног сбивает,
Ему хвалебный гимн пою.

И сколько я ни буду слышать
Врагов Христа победный клич,
Я знаю: то не их победа —
Его Терпенье без границ.



АННА АРОНОВА

Бессмертник

Цветов красота скоротечна,
И сердце щемит от тоски,
Что скоро уйдет она в вечность,
Роняя свои лепестки.

Но есть среди них и бессмертник.
О, это цветок, чья краса

Так долго не гибнет, не меркнет,
И это для нас — чудеса!

Зачем же ему эта вечность?!
Цветку, а не нам всем дана!
Любви и надежды «конечность»
Увянуть, угаснуть должна?!

А вдруг он дает нам надежду,
Что можем и мы так цвести!
Что можем и мы совершенство
И вечность свою обрести?!



ТАМАРА КЕЙТА-СТАНКЕВИЧ

* * *

Тьма упала.
Слеза
Размазалась…
Боль
Запала
В душу,
Где недосказанность,
Где несвязанность
Чувств
И слов.
Трушу?
Один шаг —
И ров.
Один вздох —
И шов.
И распутье
Дорог —
Острог.
Но, видит Бог,
Ради любви,
Я смогла,
А Ты —
Превозмог!



ВАЛЕРИЙ ГРИШКОВЕЦ

Янка Купала в Москве

В столице России на проспекте Кутузова, неподалеку от Поклонной горы, установлен памятник народному поэту Беларуси Янке Купале. Янка Купала погиб в 1942 году при невыясненных обстоятельствах накануне своего 60-летия, упав в лестничный пролет московской гостиницы «Москва».

…Вот и опять проехал мимо,
Вот и опять не подошел…
Бедой народною гонимый,
Ты здесь приют (конец) нашел.

Шумит Москва! С горы Поклонной
Салют взрывает небеса!..
Стоишь, молчишь с главой склоненной —
Да где же тут поднять глаза?

Шумит Москва… Бедлам и роскошь
К лицу ли ей, поди узнай…
И прут, не глядя, спесь и пошлость —
Терпи! И рук не разжимай.

Смирись. Молчи. И даже жеста
Не то что слова — никому!
Нет на земле поэту места…
А тут, средь глума, одному?..

Да, нелегка пророка участь
Вот так — теперь навек! — стоять,
Не веселясь, не злясь, не мучась,
Ни даже слова не сказать!..

Молчи, сомкни уста немые.
Один? Поэт всегда, везде — один.
Где все родня — там все чужие.
А ты — своей Отчизны Сын.

ЕЛЕНА СИНИЦА



* * *

«Я с актерской своей судьбою
На земле этой грешной живу.
И всегда за моею спиною
Столько судеб, что сам не пойму,

Где та грань меж моей и чужою.
Рядом ты. Это явь или сон?
Обладать тобой, милой такою,
Вряд ли я навсегда обречен.

Я бродяга, актер. Я мечтаю
И у Бога частенько прошу,
Чтоб герои, которых играю,
Не дарили свою мне судьбу».

ЛЕЛЯ БОГДАНОВИЧ



В лунном танце

Все хорошее быстро кончается.
На ресницах застыла слеза.
Быть счастливою не получается.

А несчастною — просто нельзя.
Вот и лето под горочку катится.
Здравствуй, август! А завтра — прощай!
И березка в сатиновом платьице
Затаила на сердце печаль.
Осень, осень! Дари нам улыбки.
Не жалей ни любви, ни тепла.
Желтый лист под мелодию скрипки
В лунном танце кружит до утра…
Все хорошее быстро кончается.
На ресницах застыла слеза.
Быть счастливою не получается.
А несчастною — просто нельзя.



ЮЛИЯ НОВИК

Встреча

О, встретить бы тебя, любимый, там,
Где колыбельную поет ветрам
Сосновый лес, что рвется до небес,
Где солнечный ковер цветов воскрес,

Где с каждым вздохом уплываешь в Рай,
Где музыкой стихов наполнен май.
О, встретить бы тебя и поглядеть
В глаза твои — душой своей прозреть…

Тебя мне повстречать —
Как в небеса упасть.

Перевод с белорусского Сергея ПАТАРАНСКОГО.

АНДРЕЙ КОТОВИЧ



* * *

Желтоглазая ночь посетила меня
После хмурого, долгого, трудного дня,
Желтым взглядом своим за собой поманив,
Мне на плечи свой сумрачный плащ уронив.
Город, к ночи устав, постепенно затих.
Мы бродили в тиши средь кварталов людских,
И шептала мне ночь до утра новый стих
Про величие звезд и падение их.

СТАНИСЛАВА УМЕЦ



Ребенок

Я буду смеяться, любить, ненавидеть.
Поплакать могу, успокоить, обидеть.
Хочу — полечу за мечтой на край света.
Хочу — закричу, но дождусь и ответа!
Замерзнешь зимой — я приду, отогрею.
Скажу, что люблю, — обману, не жалея.
Могу проглотить букву «т» в слове «честно».
Признаюсь: ребенком быть так интересно!

Он всегда с нами

Природа одарила Алеся Письменкова необычайно щедро: и голосом, и внешностью, и талантом. Не только поэтическим, но и талантом общения, широчайшей доброты и душевности. Помню наше первое знакомство на одном из семинаров молодых писателей. Алесь был еще студентом. Неожиданно басовитый голос при стройной юношеской фигуре, густые светлые волосы, голубые глаза… В чем-то он напоминал молодого Есенина. И такие же звонкие, очень искренние стихи… Не думал я тогда, что пройдут годы и меня свяжет с Письменковым глубокая верная дружба, настоящие братские отношения, которые прервет его такая ранняя, преждевременная смерть.

Алесь был настоящим. Настоящим во всем: в дружбе, в любви, в работе, в стихах. Он очень бережно относился к слову — сказанному, написанному. Любил называть себя филологом. И действительно обладал поистине энциклопедическими знаниями русской и белорусской литератур. Не раз на спор цитировал на память целые абзацы из прозы Толстого, Достоевского, Короткевича, стихи Кулешова, Пысина, Сербантовича, Стрельцова, Соколова, Тарковского, Кузнецова, Шкляревского…

Стихи не писал — «думал». Он их выхаживал в долгих прогулках, запоминая строки, рожденные под ритм шагов. Приходя домой, записывал, правил, переписывал мелким, своим характерным почерком в обыкновенную ученическую тетрадь и только потом отдавал печатать их на машинке.

Я любил слушать, как Алесь читал свои стихи в самых различных аудиториях. Необыкновенный голос, жестикуляция, горячий напор заставляли притихнуть даже расшалившихся школьников. Слушали его и малыши, которым Алесь читал свои детские стихи. Стихи эти были им понятны и доступны, в отличие от дрындушек некоторых «делателей» детских стихов, которых у нас не так и мало.

И настоящим шедевром его выступления перед детьми было знаменитое «Без марожанага гіну, а з марожаным — ангіна!» Кстати, Алесь говорил, что это произведение было переведено на многие языки, и в перевоплощении Николая Старшинова по-русски звучало так: «Без мороженого худо, а с мороженым — простуда!»

Помню, как мы с ним выступали на большой сцене в Молодечно на фестивале белорускої песни и поэзии. Ожидая своей очереди в пере-

рыве между выступлениями звезд нашей эстрады, Алесь выкурил, пожалуй, с десяток сигарет. Вышел на сцену — и его стихотворение стало настоящим украшением концерта, и встречено было зрителями овациями, не уступающими самым «шлягерным» номерам.

Он дружил с композиторами Доморацким и Будником, и они написали на его стихи великолепные песни.

Многие считали Письменкова «везунчиком», даже не подозревая, какие внутренние драмы терзали его, как он остро реагировал на неправду, несправедливость, как болела и переживала его душа за судьбу родного языка, Отчизны.

Его переводили на русский язык известные поэты. Правда, по разным причинам сегодняшнему читателю эти переводы мало знакомы, поэтому каждая новая публикация необычайно ценна и необходима.

Он любил февраль, месяц, в котором родился, любил прозрачную синеву неба, сулившего новую весну.

Он встретил свой очередной день рождения в неблизком уже 2004 году с надеждой на новые встречи, новые стихи, хоть больное сердце и предвещало беду.

Его строчки полны этой живой надеждой, этой могучей силой бытия, которыми была наполнена душа большого поэта, славного сына своей земли Алеся Письменкова.

Наум ГАЛЬПЕРОВИЧ



АЛЕСЬ ПИСЬМЕНКОВ

Цветет мой сад

Утешение

Землей,
травой,
кустами
Когда-нибудь
с тобой мы станем.
И будет снег идти
над нами,
И будут облака
над нами,
И будут звезды
спеть над нами,
Как над землей,
как над травой,
как над кустами...

Мой раб

Советуешь ты:
«Выдави раба!»
И я за то: совет бесспорный.
Да только раб мой не слабак,
Мой раб,
как черт, упорный.
Боится, как огня, злодей
Святого слова «воля».
И каждый день гоню взашей
Упрямца с криком «Вон!» я.
Я с ним бы и поладить смог,
Да вот душа его чужая...
Еще никто не перемог,
Но все ж меня он
уважает.

Перелом

Мороз слабее на порядок,
Хотя огнем и полоснул.
Нет у заснеженных посадок
И тени мысли про весну.

Еще, бывает, снегопады
Махнут натруженным крылом.
Да это тщетная бравада —
Уже свершился перелом.

Все только с виду в ладе славном,
В желаньях страсть пока что спит.
И все же в грезах видишь явно —
Сосульку солнышко растит.

Надпись на книге

Я б землю покинув
І в небо злітав!
Из украинской народной песни

Лист, как небо, и стило —
Ищут лада.
Мне поставить на крыло
Стих свой надо.

Вот он — птички луговой
Писк над ухом.
Побороться с высотой
Мало духу.

Аж свело дыханье — свет!
Свет слепящий!
Лист, стило и строчек след
Восходящий.

Жалость

Я книгу все же написал,
Двух сыновей родил.
Да вот, родившийся в лесах,
Свой лес не посадил.

Да что там лес, ну хоть бы сад!
Как батька мой,
Как брат...
Но вот, бывает, по весне
Вдруг затуманит взгляд —
И в розовом, рассветном сне

Шумит мой лес,
Цветет мой сад.

О вечном

Говорят, был обласкан я долей,
Хоть и мой дом не раз бедовал.
Я по мертвым поплакал довольно,
По живым еще больше страдал.

Что земля? — нашей жизни обитель.
Как ни жаль — не задержимся в ней.
Если вдруг я кого-то обидел,
Эта рана болит и во мне.

Нет теперь и вчера не хватало
Сострадания, жажды любить.
А отпущено свыше так мало —
Не успеешь грехов замолить.

Забеседье в росе

Памяти отца

Третий год не кошу
По-над речкой с тобой.
Звонко точит косу
Зорькой кто-то другой.

Хоть и хваткий косец
Сын, не хуже сельчан,
Но все знали, отец,
Ты — родня силачам.

Забеседье в росе,
Над лугами дымок.
По своей полосе
Не идет Письменок.

И вздыхает твой конь
У заезжих ребят.
Ослабела ладонь
У меня без тебя.

Сердце, будто в тисках.
Серебро на висках.

Восемнадцатое лето. Воспоминание

Пахнет медом и ранетом
Восемнадцатое лето.

Конь купается в отаве,
Жабы в Беседи картавят.

Рыбаки угомонились.
В сон местечко провалилось,

Натрудившись до истомы,
И натопавшись по дому.

В облачке, подковой свесясь,
Как в челне, уснул и месяц.

До зари в стожке иголку
Мы искали… не без толку.

Приезжай

Через луг, через лес,
через гай
Ходит грустная осень.
Только «Миленький, приезжай!»
Уж никто не попросит.
Круто рыжик слезою солю:
Дай, земля моя, силы.
Я все помню и все я люблю,
Что и мама любила.
Этот луг, этот лес, этот край,
Эту грустную осень.
«Приезжай…
Приезжай…
Приезжай…» —
Голос мне среди сосен.

За Оршею

И нам постель — зеленая трава.
«Песня песней»

До последнего
Все рассчитано
И просчитано у Творца.
Песня песней
Почти не читана,
Не прочитана
До конца.
Ах, как пахнут луга
За Оршею!
Соловьи —
На поэте поэт!
Мы не просто с тобой
Хорошие
Как читатели —
Лучших нет!

Перевод с белорусского Юрия САПОЖКОВА.

Волшебный мир Эдны Фербер

Цель публикации фрагментов из мемуаров Эдны Фербер — хотя бы немного приподнять плиту забвения, положенную Временем над именем блестящей американской писательницы. Делаем мы это даже не для того, чтобы поелику возможно устранить явную несправедливость, которой не достоин прославленный автор более тридцати романов, сборников рассказов, пьес, экранизаций (киноверсия романа «Кимаррон» с Бетт Дэвис в главной роли получила в 1932 году «Оскара» как лучший фильм года), лауреат Пулитцеровской премии, любимец читателей и критики. Нет, предлагаемые отрывки из ее мемуаров интересны сегодня. Они раскрывают черты американского архетипа, помогают понять, что представляет собой американец сегодня, откуда и почему проистекают его поступки, как формируется его нравственный стержень.

Приступая к переводу книги «Нечто волшебное», я не раз задавалась вопросом: как отнесется наш отечественный читатель к изящным дамским кружевам стиля, которыми Эдна Фербер украшает свою прозу? Свободные медитации в мемуарном жанре литературы вещь непривычная, но именно этот поток сознания, кажущаяся неорганизованность письма позволяют писательнице все время оставаться на пике интереса как к своей персоне, так и привлекать внимание к значительным фигурам американской истории XX века. Никогда не знаешь, о чем она будет говорить в следующем абзаце, какими любопытными подробностями о жизни ведущих политиков, писателей, актеров, журналистов, с которыми свела ее судьба, вознаградит Эдна Фербер терпение читателя. Текст изобилует деталями, везде рассыпаны зернышки острой наблюдательности. Подкупает незлобивое чувство юмора (достаточно вспомнить те страницы, на которых автор рассказывает о его баталиях с властями Нью-Йорка). При изложении событий в книге нет никакого следования хронологии, даже знаков препинания при этом (почему-то сразу всплывает в памяти стиль Теннеси Уильямса, коим написана его проза), никаких привязок к временной шкале. Где было, когда было, все прорисовано пунктирно, на всем лежит легкая вуаль таинственности и даже некоторого кокетства. Кстати, сама Фербер, описывая давние встречи и впечатления, неоднократно использует метафору о стареющей женщине, которая изо всех сил старается скрыть свой возраст. Думается, применительно к ее собственным воспоминаниям эта метафора приобретает уже буквальный смысл. Покров таинственности набрасывается на прошлое именно так, как это делают женщины, когда надевают шляпы с вуалетками, отчаянно пытаясь с их помощью удержать за хвост ускользающее время. Молодое сияние глаз из-под тонкой паутинки и никаких морщин. А потому, чтобы понять автобиографический подтекст книги «Нечто волшебное», нам придется реконструировать некоторые подробности (разумеется, с датами), касающиеся уже реальной биографии Эдны Фербер.

Итак, будущая звезда американской журналистики родилась 15 августа 1885 года в небольшом городке Каламазу, штат Мичиган. Родители в те годы много раз переезжали из одного западного городка в другой, изредка задерживаясь на

какое-то время в Чикаго. Когда Эдне исполнилось двенадцать лет, семья, наконец, обосновалась в небольшом городке штата Висконсин под названием Эпплетон. Именно здесь Эдна и начала свою журналистскую деятельность в качестве репортера одной из местных ежедневных газет. Было ей в то время всего лишь семнадцать лет. В книге не без юмора описывается, какой именно ценой приобретался опыт и навыки журналистской работы. Вскользь замечено, как много было работы. Но Фербер ни единым словом не обмолвилась о том, что работы было так много и работала она так тяжело и напряженно, что в один прекрасный день свалилась без чувств. Врачи констатировали у пациентки полное истощение организма. Случилось это в Милуоки, где она в то время работала уже в качестве штатного сотрудника довольно влиятельной провинциальной газеты «Милуоки Джорнал», которая, как не без иронии замечает писательница, с самого начала положила ей просто сумасшедшие деньги. Целых пятнадцать долларов в неделю.

Болезнь заставила Эдну прервать на некоторое время свою напряженную работу и вернуться домой. И именно здесь она обратилась к художественной прозе. В 1910 году в журнале под названием «Журнал для всех» был опубликован первый рассказ Эдны Фербер «Простая героиня», действие в котором разворачивается в родном Эпплетоне. Годом позже, в 1911 году, выходит в свет роман «Дон О'Хара» о судьбе молодой журналистки, работающей в провинциальной газете.

Оправившись от болезни, Эдна снова уезжает из родительского дома, на сей раз в Нью-Йорк, средоточие политической, экономической и интеллектуальной жизни тогдашней Америки. Она довольно быстро делает себе карьеру и уже в двадцатые годы становится одной из наиболее влиятельных журналисток своего времени. Косвенным подтверждением ее влиятельности служит тот факт, что Эдна Фербер освещает работу всех предвыборных съездов Республиканской и Демократической партий, которые проходили в те годы в Соединенных Штатах, представляя на этих мероприятиях Ассоциацию американской прессы.

Однако карьера профессионального писателя кажется Фербер более притягательной и отвечающей склонностям ее натуры. И для этого у нее имеются веские основания. Серия коротких рассказов «Эмма Макчезни», о женщине-коммивояжере, разъезжающей по стране со своим товаром, женскими нижними юбками, сделала ее имя уже известным в общенациональном масштабе. Многие из этих рассказов (всего серия включает тридцать новелл) были напечатаны в ведущих американских журналах. Популярность героини была столь велика, что в 1915 году Фербер предложили написать пьесу на основе своих рассказов.

Пьеса под названием «Наша миссис Макчезни» была написана и в том же году поставлена на Бродвее. В главной роли выступила ведущая театральная звезда тех лет Этель Барримор, представительница славной театральной династии Барриморов. В последующие годы Эдна Фербер еще несколько раз обращалась к драматургии, как правило, всегда в соавторстве с известным драматургом тех лет, автором многих сатирических комедий Джорджем Кауфманом. Так, в соавторстве с ним Эдна Фербер написала свои, пожалуй, самые известные пьесы «Обед в восемь часов вечера» и «Королевская семья», которые имели счастливую сценическую судьбу и долго держались в репертуаре ведущих американских театров.

Эдна Фербер оказалась плодовитым автором и довольно скоро приобрела популярность: ее книги читали, регулярно издавали и переиздавали. Критика тех лет даже не побоялась назвать ее «величайшей американской писательницей современности». Многие романы Фербер незамедлительно переводились на разные языки, снискав немалый успех у зарубежного читателя, что принесло ей известность уже на мировом уровне.

Читатель публикуемых ниже фрагментов из книги «Нечто волшебное», особенно если он принадлежит к людям творческих профессий, обратит внимание на рассуждения Фербер о том, что есть труд писателя и творчество вообще. Вполне возможно, эти мысли даже покажутся им отголосками собственных размышлений на ту же тему. Для историков будут любопытны краткие, но очень емкие зарисовки с натуры, сделанные писательницей в Германии, летом 1945 года, то есть буквально по горячим следам только что завершившейся Второй мировой войны. Для любителей «постранствовать по свету» полезными могут оказаться оценки, которые дает писательница многим сторонам современной ей американской действительности. Кстати, не утратившим своей актуальности и до наших дней. Достаточно прочитать то, как Эдна Фербер описывает Нью-Йорк. Невольно приходят на ум слова, которые обронил герой романа современного русского писателя Максима Кантора «Учебник рисования»: *«Нью-Йорк — это город, где вчера забыли то, что вы узнаете завтра».*

А в заключение еще одно, уже сугубо личное замечание. Удивительно, но факт: книга Фербер, несмотря на поэтически возвышенный тон повествования, выдержана в строго прозаическом ключе, без единой отсылки к самой поэзии (ни одной поэтической цитаты, ни одной аллюзии, связанной со стихами, на протяжении более чем трехсот страниц текста). Видно, сказалась давняя репортерская закалка писательницы. Ведь в журналистской работе, как известно, излишняя сентиментальность скорее мешает, чем помогает добывать горячие новости. И, тем не менее, когда читаешь «Нечто волшебное», то сами собой в памяти всплывают строки, написанные ее соотечественницей, замечательной американской поэтессой XIX века Эмили Дикинсон. Ее у нас, к сожалению, пока еще мало знают и мало переводят. Будем надеяться, что обстоятельное знакомство с творчеством Дикинсон у большинства читателей впереди. Не знаю даже, переведено ли на русский язык и крохотное стихотворение, которое отныне, повторюсь еще раз, лично у меня будет всегда ассоциироваться с волшебным миром Эдны Фербер, который она попыталась воссоздать в своих воспоминаниях. А потому предлагаю свой подстрочный перевод этого маленького поэтического шедевра.

Мое письмо адресовано тем людям,
Которые никогда не писали мне.
Дорогие соотечественники, хочу сообщить вам
Простые новости, о которых так трогательно
И вместе с тем величаво поведала мне природа.
И вот сейчас я передаю ее сообщение
В руки тех, кого не знаю,
И прошу лишь об одном:
Ради любви к окружающему миру
Не судите меня слишком строго.

Наверное, нам следует внять этим мудрым словам и поступить точно так же с воспоминаниями Эдны Фербер. Не будем строгими судьями той, чей волшебный мир тоже остался в прошлом. В конце концов, прошлое — это единственная реальность, которую каждый волен переписать заново. По собственному усмотрению.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ



ЭДНА ФЕРБЕР

Нечто волшебное

Жить — это замечательно. Пожалуй, это самое замечательное из того, что есть на этом свете. И это при том, что жизнь — непредсказуемо опасная штука, несмотря на всю свою уникальность. Ведь живем-то мы только раз. А потому жить, ощущать в себе пульсацию жизни, знать, что ты еще жив, и наслаждаться этим знанием, ну не чудо ли это? В этом знании заключено, как мне кажется, нечто волшебное. Или я просто сумасшедшая?

Впрочем, сотни миллионов людей ни разу в своей жизни не задумались над теми простыми вещами, из которых, в сущности, и складывается их существование. Каждый день они ходят на работу, разговаривают с соседями и друзьями, гуляют по вечерам, растят детей, любят, ненавидят, болеют, а потом, в один прекрасный день, умирают. Но и их жизнь, как и их смерть, воспринимается окружающими как вполне обыденное явление с неизбежным финалом. Ведь никому и в голову не придет восторгаться тем, что он просто ходит или смотрит в окно. А это так замечательно — уметь восхищаться всем, что есть жизнь. Это умение удваивает отпущенный человеку срок пребывания на этой земле. Ведь тогда он играет сразу две роли, и актера, и зрителя. Вот только что ты с упоением маршировал на вдохновенном параде жизни в колонне таких же энтузиастов, как и сам, и тут же, стоя на тротуаре в толпе зевак, с интересом наблюдаешь за разворачивающимся на твоих глазах красочным действом.

И уж конечно, это редкостное и, повторяю, волшебное шестое чувство восприятия жизни в обязательном порядке должно быть присуще писателям, иначе…

Иначе разве бы я смотрела на мир такими восторженными глазами? И это несмотря на далеко не самое радужное детство, когда, словно в калейдоскопе, сменяли друг друга небольшие городки Среднего Запада, по которым колесили родители, с редкими заездами, для разнообразия, в Чикаго. Кстати, именно в одном из таких маленьких городков под названием Эплетон, штат Висконсин, где в то время обосновалась наша семья, я начала свою профессиональную карьеру газетного репортера. А вскоре переехала в Милуоки, где по-прежнему трудилась репортером, проработав в этом качестве целых четыре года, с семнадцати до двадцати одного года. Первые три месяца мне почти ничего не платили, потом повысили жалование до трех долларов в неделю. Через некоторое время стали платить уже пять, а потом я и вообще взлетела на головокружительные высоты — восемь долларов в неделю и никаких федеральных налогов! Ободренная столь ошеломляющими успехами и влюбленная в свою работу, я носилась по городу как угорелая. Пухленькая семнадцатилетняя девочка с туго стянутыми на затылке вьющимися кудряшками, похожими на жесткую проволоку, скрученную в спираль, я, несмотря на свою внешнюю инфантильность, умудрялась ежедневно

отыскивать свежие новости, то в зале суда, то в тюрьме, то в самом крупном в городе торговом центре. Что ни говори, а в работе репортера мелкой провинциальной газеты есть свои преимущества и даже целый ряд плюсов, так сказать, в бытовом плане. Начнем с того, что тебя обеспечивают контрамарками на все более или менее стоящие театральные спектакли, ты постоянно в курсе того, что происходит в городе. Но главное — это, конечно, постоянные контакты с самыми разными людьми, которые довольно быстро снабжают тебя знаниями о сути человеческой природы.

Кстати, по мере того как росли мои знания о жизни, я неуклонно теряла свою пухлость. Ведь репортер, работающий в газете на полную ставку, делает целыми днями что? Правильно! Непрестанно перемещается по городу, причем главным образом пешком. Автомобили в дни моей юности в маленьких американских городках были еще большой редкостью. Я бы даже сказала, пугающей редкостью, ибо они наводили ужас резкими звуками своих клаксонов на лошадей с окрестных ферм, хозяева которых наведывались в город по делам. Конечно, кое-какой общественный транспорт уже начинал функционировать. Например, трамваи. Этакие ярко-желтые чудовища, отдаленно напоминающие огромных пчел, которые методично объезжали город приблизительно раз в час. Но руководство газеты не сильно торопилось раскошелиться на транспортные расходы своих сотрудников. Я же, с детства не имеющая сибаритских наклонностей, тоже не горела желанием потратить лишних пять центов из собственного драгоценного бюджета на какой-то там трамвай. И все ради того, чтобы проехать какие-то три мили, которые можно легко преодолеть и пешком. Что ж, я и по сей день благодарна опыту, приобретенному в те далекие годы строжайшей экономии. Ведь и сегодня, несмотря на свой преклонный возраст и даже вопреки ему, я могу, как и прежде, без особых усилий пройти эти самые три мили, причем в любую погоду.

Следующий головокружительный взлет в моей профессиональной карьере — работа в «Милуоки Джорнал». И мне положили целых пятнадцать долларов в неделю. С утра до позднего вечера я при деле. Девять утра — заседание суда, днем ежегодный съезд фермеров-скотоводов штата Висконсин, ближе к вечеру открытие нового отдела по продаже мебели в местном универмаге, а еще постоянное отслеживание самых последних городских сплетен и слухов. Вечерами я бодро отстукиваю на машинке сообщение по любому из перечисленных выше сюжетов. Репортерская работа научила меня зоркости и развила природную склонность к постоянному наблюдению за окружающим миром. Иногда мне даже начинало казаться, что мои глаза превратились в своеобразную фотокамеру. Вот щелкает затвор где-то в голове, и в памяти навечно откладывается очередная картинка только что увиденного. Я носилась по Милуоки, от озера Мичиган на востоке до самых окраин на западе, как резвая молодая кобылка. Я была молода, счастлива, и каждый день меня ждали новые встречи с самыми разными людьми, населявшими этот типичный средних размеров город на Среднем Западе.

И именно тогда у меня зародилось желание писать. Я рискнула и пошла на приобретение подержанной пишущей машинки, истратив на покупку целое состояние — семнадцать долларов, после чего засела за первый в своей жизни роман, даже не имея четкого представления о том, что он будет собой представлять. Впрочем, уже с ранней юности я твердо знала, что больше всего на свете мне хочется стать писательницей. И первые тернии на избранной стезе. Повышенная зоркость, и я бы даже сказала, гипернаблюдательность сыграли со мной скверную шутку: мне хотелось рассказать сразу и обо всем. Практически любой предмет, попадавший в поле моего зрения, казался мне восхитительным и достойным увековечивания на страницах моих литературных опусов. Щедрой рукой я нанизывала

сразу по три определения на каждое существительное, потом с болью в сердце вымарывала два из трех, чтобы на следующей странице снова вернуться к цветистым описаниям. Надо сказать, что в те далекие годы стилистическая перенасыщенность была не в моде. Читателей в первую очередь интересовало само действие, то есть сюжет. А потому герои модных тогда романов и пьес изъяснялись незамысловато и предельно коротко.

А потом началась война. Первая мировая война. Нынешним молодым она представляется сплошной архаикой: нечто вроде тех доисторических войн, которые вела в свое время античная Греция. Да и фигура маршала Гинденбурга кажется им значительно более древней, чем даже личность первого американского президента Джорджа Вашингтона.

Стремительно промелькнули двадцатые, увенчавшись финансовым крахом на Уолл-стрит. С высоты прожитых лет тогдашние катаклизмы кажутся почти идиллией в сравнении с тем, что творится сегодня.

Впрочем, я вообще не перестаю удивляться тем переменам, которые происходят в современном мире. Недавно в разговоре с одной юной особой, кстати, вполне интеллигентной девушкой, я по своей наивности решила излить ей душу, поделиться, так сказать, своими восторгами и сомнениями по поводу стремительно ускоряющегося прогресса.

— Знаешь, — говорила я, — у меня такое чувство, будто два минувших десятилетия вместили в себя по крайней мере двести лет. Произошла самая настоящая революция не только в образе жизни, но и в образе нашего мышления. Изменилось, причем самым кардинальным образом, все: искусство, образование, отношения между людьми. Мода, религия, наука, архитектура, продолжительность человеческой жизни, все стало другим. Даже климат. Мы по-другому питаемся, ходим, занимаемся сексом. Ты даже не представляешь себе, — распалялась я все больше, видя, что восемнадцатилетняя собеседница остается равнодушной к моим прочувствованным речам, — что всего лишь каких-то двадцать пять лет тому назад все вокруг было совершенно, совершенно иным. Другая страна и другие люди.

Девушка тряхнула хорошенькой головкой, старательно выражая солидарность с моими последними словами.

— Я вообще не представляю, как это можно было жить без кондиционеров, — подвела она черту под моими ностальгическими рассуждениями о прошлом.

Вот вам и «ничто не ново под луной»! Терпеть не могу, когда люди начинают изрекать всякие банальные истины вроде «ничто не меняется в этом мире». Те, кто прожил достаточно долго, как я, к примеру, приготовившись разменять уже последнюю четверть века, знают, что это неправда. Старики-то уж отлично знают, что раньше было другим не только то, что ты делал, но даже и то, чего ты не делал.

Возьмем те же самолеты, которые в годы моей юности называли аэропланами. Сегодня это такое же заурядное транспортное средство, как грузовик. За свою жизнь я налетала не один десяток тысяч миль. И в годы войны, и в мирное время. Я летала над морями и континентами, тряслась в лоханках из хрупкого плексигласа над разрушенными бомбежками городами Европы и лениво потягивала шампанское, сидя в салонах ослепительно красивых реактивных лайнеров ярко-бирюзового цвета, которые с ревом проносились над землей на высоте сорок тысяч футов. И сегодня, стоя на террасе своей нью-йоркской квартиры, расположенной на одном из верхних этажей небоскреба, я могу день и ночь наблюдать за тем, как высоко в небе прочерчивает траекторию своего полета очередная железная птица, берущая курс то на запад, то на восток.

Я любуюсь этим зрелищем и все равно отказываюсь верить своим глазам. А телефон? Самый обычный телефон! Он тоже все еще кажется мне

«Всемирная литература» в «Нёмане»

чудом. И стиральная машина (вместе с посудомоечной), и морозильная камера, обеспечивающая, как пишут в инструкциях, «глубокую заморозку продуктов». Да что там холодильники! По большому счету, мы еще не отдали свою дань удивления такому фантастическому изобретению всех времен и народов, каким является самое обычное колесо. Наверное, этому мешает засилье машин на наших улицах.

Когда я задумала написать эту книгу, то решила, что она должна быть такой же неожиданной и непредсказуемой, как мартовский день. Фрагменты случайных встреч, случайные воспоминания. На каждой странице вперемежку то снег, то дождь, солнце, ветер, облака. На солнечной стороне улицы жарко, и тебя подмывает снять пальто. Переходишь на другую сторону, а там уже холодно. На одном перекрестке тебе нужен зонт, а через квартал тебя уже душит теплый шарф. Все погодные сюрпризы, спрессованные в один день, все дни, спрессованные в короткий отрезок времени протяженностью в четверть века, с 1938 по 1963 годы.

Но прежде чем уйти с головой в мир своих беспорядочных воспоминаний, я хочу поделиться с читателем тем открытием, которое сделала в конце пятидесятых, когда на глаза мне случайно попалась одна из книжек Олдоса Хаксли. Пожалуй, книга стала одним из самых сильных потрясений в моей жизни. Называется она «Дверь в мир ощущений». Собственно, это даже не книга, а так, тоненькая брошюрка в семьдесят девять страниц. Изданная в 1954 году, она в тот год проскочила мимо меня незамеченной. Я же прочитала ее лишь спустя пять лет. И повторюсь еще раз: книга произвела на меня просто потрясающее впечатление.

Методично, без излишних эмоций читателю сообщается, что всемирно известный писатель Олдос Хаксли вполне сознательно пошел на следующий опыт над самим собой. Он проглотил четыре десятых грана мескалина, растворив порошок в половине стакана воды. После чего стал наблюдать за теми процессами, которые начали происходить в его организме. Страница за страницей, книга сухим научным языком излагает факты и только факты того, каковы были последствия этого заранее спланированного шага.

Мескалин — это лекарственное вещество, извлекаемое из особого сорта кактусов, которые произрастают только на юге США и в Мексике.

О мескалине я впервые услышала еще в 1927 году, когда начала собирать материалы для своего очередного романа «Кимаррон», посвященного Золотой лихорадке, охватившей Оклахому в 1889 году. Именно тогда я и узнала от местных жителей, что индейцы, с незапамятных времен проживавшие на территории Оклахомы, давным-давно знали об удивительных свойствах сока растущих в их местности кактусов. Они выдавливали из колючек капельку сока, давали ей возможность слегка застыть, а потом съедали полученное снадобье, как таблетку. По словам рассказчиков, «таблетка» оказывала просто чудодейственный эффект на все органы чувств. Всякий, кто отведал мескалина, начинал видеть, слышать различать цвета и качество предметов намного острее и ярче, чем в обычном состоянии. Одновременно с этим резким обострением ощущений человека охватывало некое радостное возбуждение, на смену которому постепенно приходили умиротворение и безмятежность. На первый взгляд, типичное наркотическое опьянение, с той только разницей, что длительное употребление мескалина не формировало наркотической зависимости и вообще не наносило никакого ущерба здоровью тех, кто принимал его регулярно. В отличие от наркотиков или таких распространенных стимуляторов, как, скажем, табак или спиртное.

В брошюре Олдоса Хаксли с научной скрупулезностью были зафиксированы все малейшие изменения, происходившие с чувствами незаурядного интеллектуала, каким, несомненно, был писатель, решившийся на

подобный эксперимент. Вместе с Хаксли в проведении опыта участвовали несколько его друзей-ученых, а также ряд добровольных помощников. Хаксли проглотил дозу мескалина, достаточную, по его мнению, для того, чтобы обострить собственные ощущения до оптимально высокого уровня, после чего стал вслух надиктовывать помощникам о том, что с ним происходит и что именно он испытывает. Писатель, по словам очевидцев, все время возбужденно расхаживал по комнате, словно какая-то неведомая сила толкала его вперед, заставляя непрерывно двигаться.

Вначале мир вокруг него вдруг стал неожиданно ярким. Цвет, звук, рисунок и фактура материи — все воспринималось в совершенно новом свете, все казалось первозданно чистым и необыкновенно восхитительным. Каждая складка одежды поражала своей глубиной и эластичностью, лепестки цветов казались подсвеченными каким-то таинственным светом изнутри, узоры парчовой обивки мебели воспринимались как изысканные букеты, звуки музыки пленяли своей гармонией и наполняли душу не испытанным доселе наслаждением.

Однако в потоке своих новых ощущений Хаксли сумел различить не только это. Его поразила не столько новизна восприятия окружающего мира, сколько собственное «я», вырвавшееся вдруг на свободу. Душа его распахнулась навстречу окружающему миру. С глаз его словно спали шоры, и он впервые увидел во всей красоте и величии то, что мы в обиходе называем «повседневной жизнью», то есть обычную прозу бытия, на которую почти никто из нас, как правило, не обращает внимания.

Помню, прочитав эту страницу, я медленно отложила книжку в сторону. Кажется, я даже немного испугалась, словно мелкий воришка, схваченный за руку, хотя никаких вредных привычек за собой я доселе не замечала. В самом деле, я никогда не пила сильнодействующих лекарств и всю жизнь привыкла обходиться самыми простыми таблетками от простуды и головной боли, такими, как аспирин. К тому же, я совершенно равнодушна к горячительным напиткам, а в молодые годы могла месяцами обходиться без сигарет. И потом, я всегда гордилась тем здоровым образом жизни, который вела: восемь часов сна обязательно, ежедневная прогулка быстрым шагом, не менее двух-трех миль, во что бы то ни стало, при любой погоде, умеренность в еде всегда и везде. И вот, несмотря на весь рационализм моего существования, я воспринимала окружающий меня мир именно так, как это описывал Олдос Хаксли, проглотивший изрядную дозу мескалина. Почему-то в памяти вдруг всплыла небезызвестная миссис Гаммидж из романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд» с ее пресловутой репликой *«Я все вокруг себя чувствую глубже, чем другие… И в этом мое несчастье».*

Впрочем, в отличие от героини Диккенса, я никогда особо не комплексовала по этому поводу. Напротив, собственная острота чувств казалась мне не только восхитительной, но и вполне естественной. Наверное, решила я, это связано с какими-то индивидуальными особенностями моего организма, с теми субъективными химическими процессами, которые протекают в моем мозгу. Помнится, Хаксли объяснил свое состояние снижением содержания глюкозы в клетках головного мозга после принятия дозы мескалина. Кстати, у меня всю жизнь содержание сахара в крови было ниже нормы. Не этому ли обстоятельству я обязана тем, что чувствую окружающий меня мир ярче и насыщеннее, чем остальные? Неужели простая нехватка сахара в организме способна творить с человеком чудеса, превращая обычную прогулку по Мэдисон Авеню в захватывающее путешествие, изобилующее множеством самых неожиданных открытий? Неужели своей забывчивости зайти в бакалейную лавку, чтобы прикупить что-нибудь сладенькое к чаю, я должна быть благодарна за то, что мне неизвестно, что такое скука? Мою

душу наполняют одинаковым восторгом трансатлантический перелет через океан и возможность полакомиться спелой грушей, театральная премьера и чашечка крепкого, только что заваренного кофе, зимняя прогулка по Центральному парку и поездка в переполненном вагоне метро. Жить интересно, повторяю я себе что ни день. Принимай жизнь такой, какая она есть, пей ее день за днем, неделя за неделей, год за годом, до самого смертного часа не переставая восхищаться теми мелкими радостями, которыми она тебя одаривает.

А еще писательский труд! Помнится, как страшила меня голодная ненасытность журнала, в котором предполагалась публикация одного из моих первых романов. Роман должен был печататься с продолжением в течение полугода, а потому ежемесячно от меня требовалось предоставить двадцать пять тысяч слов. Тысячу слов каждый день, и каждое утро один и тот же внутренний монолог, разговор с собой: «У меня ничего не получится! Что ты о себе вообразила? Это невозможно! Ты кто? Человек или машина? Да, но ведь у других-то получалось! У Теккерея, к примеру, или у моего любимого Диккенса. И у того же Мопассана, у Синклера Льюиса».

Вот когда мне пригодился прежний репортерский опыт, приобретенный еще в ранней юности. Работа в газете закалила меня и, как ни странно, научила работать планомерно и ритмично. Каждый месяц, в положенный срок, на стол редактора ложилась новая стопка страниц с очередными главами романа. Да, я не выходила из дома, ни с кем не встречалась, никого не видела. Работа над рукописью, сон, обязательная прогулка после трех, снова работа. На какое-то время я просто выпала из жизни. И ничего страшного!

Такое принесение себя в жертву работе знакомо многим профессиональным литераторам. Практически любой писатель, достойный того, чтобы его читали, живет именно такой внешне однообразной жизнью. И не испытывает при этом никакого дискомфорта. Напротив! Ведь это его стиль существования. Каждый день он (или она) запирается в своей комнате и остается один на один со своими героями. Остроумные реплики, пространные диалоги, страсти, любовь и смерть, триумфы и падения, новые, самые неожиданные сюжетные повороты — за запертыми дверями может произойти все что угодно. Лишь одна-единственная вещь невыносима и не должна случаться ни при каких обстоятельствах. Писателю нельзя мешать. Никто не смеет отрывать его от работы, ибо эта изматывающая, рутинная по сути своей работа и есть его небесный рай. А все остальное, за исключением, пожалуй, трагедий вселенского масштаба, — пустяки, недостойные того, чтобы его беспокоили и отрывали от письменного стола.

Так о чем же еще я хотела вспомнить? Ах, да! Новый Орлеан! Ну конечно же, Новый Орлеан. Я всегда мечтала побывать в Новом Орлеане. Мое воображение рисовало этот город исключительно в романтическом ключе. Ажурные решетки балконов, красивые креолки, восседающие на этих самых балконах, все вокруг наполовину испанское, наполовину французское, величавое течение самой главной нашей реки Миссисипи, королевы всех остальных американских рек, старинный кафедральный собор на площади, знаменитый Французский рынок и воздух, напоенный ароматами цветов и всевозможными запахами свежих фруктов и овощей. Идиллическая картина! Но самое удивительное, что она точно совпала со всем увиденным мною уже воочию.

В Новый Орлеан я впервые приехала в 1940 году, как раз накануне тех трагических событий, которые предшествовали нашему вступлению во Вторую мировую войну. Предчувствие грозных перемен ощущалось повсюду, но в Новом Орлеане все еще царила та самая идиллия, которая долгие годы являлась мне лишь в мечтах.

Что ни говори, а сегодня мало что осталось от того старого Нового Орлеана. Он безвозвратно исчез в прошлом. Как исчез Париж начала века. Или Нью-Йорк. И даже Рим и Лондон ныне совсем другие. Все города стали похожими друг на друга: то же море огней неоновой рекламы, запруженные автомобилями улицы, тот же рев и шум транспортных развязок, и повсюду толпы туристов.

Но четверть века тому назад Новый Орлеан еще нес на себе печать своей уникальной романтичности и непохожести ни на один другой город на свете: беззаботный, слегка порочный, немного чужой, почти иностранный, и восхитительно притягательный, манящий и завлекающий в свои сети. Перед его чарами невозможно было устоять. Признаться, я даже забыла, что город расположен ниже уровня моря. Обычно такие топографические подробности должны были взволновать особу, постоянно испытывающую пониженное давление, какой я была в те годы. Но не взволновали.

Зато взволновало то, что я нахожусь в столице мирового джаза. Ведь именно в Новом Орлеане родилась музыка, которая сегодня известна во всем мире как рэгтайм. Знаменитые джазовые мелодии зазвучали на улицах этого города еще в семидесятые годы XIX столетия. Вначале то были крохотные коллективы любителей-самоучек, использовавшие в качестве музыкальных инструментов все что угодно — обыкновенную расческу, обернутую в папиросную бумагу, перевернутое вверх дном ведро или стиральный бачок, по которому исполнитель самозабвенно барабанил двумя палками, задавая ритм. Разумеется, банджо, губная гармошка, какой-нибудь завалявшийся рожок. Если — нет, то вместо него обычный свист. А вместе эта странная какофония звуков рождала мелодии, от которых хотелось немедленно пуститься в пляс. Да, именно так появился на свет наш всемирно известный рэгтайм. В результате город с преимущественно цветным населением, расположенный в самом сердце американского Юга, стал столицей мирового джаза.

Я приехала в Новый Орлеан, чтобы собрать материал, да и просто накопить впечатления, для своего нового романа «Дорожный сундук из Саратоги», действие в котором (во всяком случае, в первой части романа) разворачивается в Новом Орлеане. И вот я уже собственными глазами любуюсь романтическими балюстрадами с решетчатыми балконами, роскошными садами и парками, брожу по извилистым узким улочкам, вслушиваюсь в почти иностранную речь, пеструю смесь английского, французского, испанского и местного диалекта, именуемого «гомбо». И все вокруг именно так, как я себе и представляла. Я вижу перед собой город таким, каким он был почти семьдесят лет тому назад. Разнообразие красок и звуков, маленькие ресторанчики на каждом шагу, и повсюду обилие ночных клубов, крохотных лавочек, торгующих самым экзотическим товаром. Старый колесный пароходик, неторопливо плывущий по Миссисипи, уходящие до горизонта хлопковые плантации по обе стороны реки, старинные особняки, жалкие полуразрушенные следы былого величия, особенно в сравнении с роскошью богатых ранчо Техаса, откуда я только что приехала. Но есть что-то трогательное в этой обветшалой провинциальности и даже заброшенности современного Нового Орлеана, что-то такое, что хватает за душу и не отпускает от себя. А еще город напомнил мне стареющую, но все еще обворожительную куртизанку, спускающую свои последние драгоценности для того, чтобы прокормить себя. Отдельный разговор — это негритянское население города. Положение негров на Юге по-прежнему очень тяжелое, я бы даже сказала, ужасное. Чего никак не скажешь, глядя на улыбчивые лица вокруг. А все дело, наверное, в этой самой знаменитой музыке. Да, приходится признать еще раз, что джаз Нового Орлеана способен творить чудеса.

Кажется, я уже накопила достаточный запас впечатлений. Мне хочется домой. Быстрее к письменному столу, пора приниматься за работу. Я уже предвкушаю эти дни, заполненные работой и только работой. День за днем наедине с пишущей машинкой. Да, собственно, писатель работает даже тогда, когда спит. Ведь нередко именно во сне к тебе приходит то единственно нужное слово, тот образ, который ты тщетно пыталась найти весь день накануне.

Конечно, не всегда за письменный стол писателя гонит только вдохновение. Существует и такая прозаическая вещь, как заработок. Надо зарабатывать себе на жизнь, и этим все сказано. Кстати, именно последнее обстоятельство очень дисциплинирует распорядок дня литератора. В дождь и в холод, в снег и в солнечный летний день, с головной болью или без оной, ты обязан сделать свою ежедневную норму. А как же иначе? Впрочем, число писателей, живущих в Соединенных Штатах исключительно за счет своего литературного труда, по моим сведениям, весьма невелико. Не более двухсот пятидесяти. Вся остальная пишущая братия зарабатывает себе на жизнь, занимаясь бизнесом или чем-то другим. Все эти люди пишут лишь в свободное от основной работы время. Что же до тех двухсот пятидесяти…

Всегда почему-то раздражаюсь, когда меня атакуют вопросами типа:

— Вы пишете по вдохновению или как?

— Я пишу, как другие ходят на работу. Каждый день.

— То есть, вы похожи на стенографистку?

— Да. С той только разницей, что, в отличие от стенографистки, я работаю семь дней в неделю.

— Но почему?

— Потому что я — писатель. И это ремесло нравится мне больше всего на свете. И потом, именно так я зарабатываю себе на хлеб.

— И сколько часов в день вы работаете?

— Я работаю двадцать четыре часа в сутки.

— Это шутка?

— Ничуть! Если я не сижу непосредственно за письменным столом, это не значит, что я не работаю. Даже во время прогулки голова моя занята мыслями о книге, над которой я сейчас тружусь. Я постоянно обдумываю какие-то новые сюжетные линии, повороты в судьбах своих героев, бьюсь над каким-то фрагментом текста, и прочее, и прочее. Так уж, наверное, устроен мозг всех писателей.

— А вы не устаете от такой жизни?

— Усталость преследует меня постоянно.

— Тогда почему вы не остановитесь?

— Как? Каким образом? Перестать писать для меня равносильно физической смерти. А мне нравится жить.

— Даже несмотря на то, что у вас такая тяжелая, насыщенная каторжной работой жизнь?

— Знаете, лучше уж тяжелая, чем никакая. И потом, моя жизнь не обязательно всегда трудная. Временами она бывает просто замечательной.

И вот я пишу роман о прошлом и одновременно размышляю об исторических персоналиях. Некоторые политические деятели минувших лет снискали всеобщую любовь и преклонение потомков. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн. Впрочем, все это фигуры уже из далекого прошлого, портреты которых ныне красуются на страницах школьных учебников по истории. Но есть не менее достойные люди и из недавнего прошлого, чья значительность и значимость с годами проступают все отчетливее и яснее. Они тоже не щадили себя, работая на благо родины, во имя ее свободы и процветания.

Оглядываясь назад, на свою жизнь, с ранней юности и до дня сегодняшнего, могу сказать со всей уверенностью, что четыре политические

фигуры общенационального масштаба из числа современников повлияли на мое собственное мировоззрение, расширили мой кругозор и в конечном счете сформировали меня как личность. Все они уже ушли из жизни. Из этой четверки молодым американцам, чей возраст едва-едва перевалил за двадцать, пожалуй, знакомо лишь имя Франклина Рузвельта.

Но в моем списке первой значится другая фамилия. Роберт Лафоллет, губернатор штата Висконсин, позднее сенатор от этого же штата. Десятилетиями нашу огромную страну терзало омерзительное явление, которое на языке юриспруденции именуется «незаконными захватами», а в народе это называлось просто «большим хапком» от слова «хапать». Долгие годы эти «хапальщики» и грабители всех мастей оставались безнаказанными. Они захватывали земли, лесные угодья, месторождения полезных ископаемых, присваивали себе реки и озера. Еще бы! Такой огромный континент, и всего вдоволь! Девственная земля вокруг, которая как бы ничья. Власти не смели или боялись поставить заслон на пути хищнического разграбления национальных богатств.

И вот Роберт Лафоллет из Висконсина. Этот внешне небольшой человечек нашел в себе мужество бросить вызов всем этим ловкачам и пройдохам и повел с ними войну не на жизнь, а на смерть. Прежде всего он выступил против так называемых «железнодорожных заправил». Именно во времена губернаторства Лафоллета в его штате были приняты законы, в соответствии с которыми с железных дорог стал взиматься налог в соответствии с реальной значимостью транспортных магистралей. А как было раньше? Да вообще не платили ни за что! Богачи из штатов Висконсин и Мичиган, да и из других штатов тоже, вовсю эксплуатировали железные дороги, гоняя грузы по всей стране, не перечисляя за это ни цента ни в общефедеральную казну, ни в казну штата. Точно так же они бесплатно пользовались природными богатствами страны, которые незаконно присвоили себе. И вот первая попытка обуздать тех, кто самым беспардонным образом грабит государство. Надо ли говорить, что законопроект о налогообложении вызвал упорное сопротивление со стороны тех, кого будущий закон затрагивал уже напрямую.

Но коротышка Лафоллет вышел в этой борьбе победителем. Недостаток роста он с лихвой компенсировал беспримерным мужеством, абсолютной личной неподкупностью и высочайшей принципиальностью. Политическая карьера Лафоллета вообще изобиловала самыми драматичными поворотами. Блестящий оратор, человек, обладавший ярко выраженным артистизмом, что важно для любого политика, он, несомненно, был одной из ключевых политических фигур первых десятилетий XX столетия. И тем не менее президентом США так и не стал.

Сенатор Лафоллет участвовал в избирательной кампании 1924 года как независимый кандидат, баллотирующийся на основе собственной платформы. В его программе нашло свое отражение все то, чем он занимался на посту губернатора штата Висконсин: ограничение экономического и политического могущества монополий, ликвидация контроля со стороны крупного бизнеса над правительством и экономикой страны. Для чего, по мнению Лафоллета, нужны были, уже в общенациональном масштабе, такие меры, как национализация железных дорог и предприятий гидроэнергетики, введение общественного контроля над естественными ресурсами, повышение налогового обложения крупного капитала.

Стоит ли удивляться тому, что такая решительность со стороны сенатора круто поменять правила игры для большого бизнеса серьезно встревожила воротил этого самого бизнеса? На него обрушились и справа, и слева, и республиканцы, и демократы. А в результате, несмотря на широкую поддержку рядовых избирателей, сенатор Лафоллет сумел одержать победу

только в своем родном штате Висконсин, заручившись поддержкой всего лишь 13 выборщиков. В итоге очередным президентом США стал Кальвин Кулидж.

И вот спустя много лет я размышляю над тем, каким путем пошла бы история Соединенных Штатов, если бы вместо бесцветного и заурядного Кулиджа в Белый дом пришел такой энергичный и решительный политик, как Лафоллет? И как развивались бы события в судьбоносные для нашей экономики двадцатые и тридцатые годы. Кто знает, кто знает…

Следующим в моем списке значится Уильям Аллан Уайт. Собственно, этот человек никогда не занимал никаких официальных постов, да и не стремился их занимать. Редактор и владелец небольшой газеты в маленьком провинциальном городке Эмпориа-Канзас, штат Калифорния, Уайт тем не менее стал фигурой общенационального масштаба благодаря своим острым и умным передовицам, с которыми он регулярно выступал на страницах собственной газеты. Пожалуй, не было ни одного более или менее значимого политического события в стране, на которое бы он не откликнулся. Его статьи затем перепечатывались сотнями газет и читались по всем Соединенным Штатам. Уайт сыграл решающую роль в моем становлении как журналиста и как гражданина.

Я много раз бывала в его доме, иногда даже специально ездила в Калифорнию всего лишь на сутки, просто для того, чтобы подпитаться мудростью, доброжелательностью, оптимизмом и чувством юмора, которые буквально источал этот человек. Какое же это было удовольствие сидеть в беседке дома на Торговой улице, наслаждаться домашним мороженым из персиков и вести неспешные разговоры обо всем на свете.

Разумеется, нынешним молодым имя Уильяма Аллана Уайта уже ни о чем не говорит. Они даже не слышали такого имени, не читали его статей. Но не беда! Влияние Уайта, пусть и опосредствованное, все равно присутствует в их жизни. Ведь его статьи читали и знали их дедушки и бабушки, а потом и их родители. Их взгляды, пристрастия, политические симпатии и антипатии были в немалой степени сформированы именно под влиянием его публицистики.

Третью позицию в моем списке занимает Президент США Теодор Рузвельт, автор знаменитой концепции «большой дубинки». Кстати, Уайт и Рузвельт были не только в приятельских отношениях друг с другом, но и оба, будучи демократами по натуре, состояли в Республиканской партии. Сегодня стало модным говорить о Теодоре Рузвельте исключительно в уничижительных тонах. Его роль в нашей отечественной истории всячески преуменьшается и нивелируется. Напрасно! Это был очень значительный человек, много сделавший для блага своей страны. Пожалуй, это была самая яркая личность на посту Президента США после Линкольна. Аристократическое происхождение (кстати, как и у Джефферсона) и широта взглядов истинного демократа. К тому же, человек безмерного обаяния. Да, тоже артист, когда это необходимо. А когда надо, решительный и бескомпромиссный политический деятель.

Это он отучил Америку цинично жить с мыслью о том, что для богатых и бедных у нас существуют разные законы. При Теодоре Рузвельте наши законы впервые стали одинаковыми для всех. Он, как и Лафоллет, видел, какими чудовищными темпами ведется разграбление страны. И первым среди американских президентов повел борьбу за сохранение природных ресурсов Америки, которые все еще казались его современникам неистощимыми.

Вопрос об охране земных недр, лесов, берегов рек и гаваней поднимался многими американскими штатами еще в конце XIX века, но Теодор Рузвельт, как я уже говорила, первым решился на принятие общенациональных

мер по так называемой «консервации» природных ресурсов. Не запрашивая согласия Конгресса, он своими указами более чем в четыре раза увеличил государственный резервный фонд, куда вошли земли с залежами руд, угля, нефти, разных минералов, лесные угодья, берега рек и озер.

И это далеко не все в списке того, что может быть поставлено в заслугу этому незаурядному человеку. Только недалекие снобы боятся общаться с теми, кто ниже их по положению или званию. Теодор Рузвельт точно был не из их числа. Сегодня уже, наверное, мало кто помнит, что впервые негр появился в Белом доме в качестве гостя, когда там хозяйничала чета Рузвельтов. Самая большая республика в мире, наша страна в те годы была настолько недемократичным государством, что этот политический жест произвел на американцев эффект разорвавшейся бомбы. Гостем Теодора Рузвельта за обедом стал выходец из штата Алабама, педагог Вашингтон Т. Букер.

Жизнь Вашингтона Т. Букера — поучительная история о том, на что способна сила духа, могущая преодолеть любые препятствия. Бывший раб, с огромными трудностями получивший образование, Букер основал в городе Таскиги, штат Алабама, сначала ремесленную школу, а затем на его базе создал Педагогический и промышленный институт города Таскиги. Помню, как поразила меня в свое время последняя строчка, завершающая биографию этого замечательного человека. «Он умер 14 ноября 1915 года от истощения организма в результате чрезмерной работы». Совершенно нетипичный диагноз с медицинской точки зрения. Умереть оттого, что много работал. Когда нынешние молодые небрежно садятся в машину только затем, чтобы проехать квартал до ближайшего киоска, где можно купить пачку сигарет, то начинаешь острее понимать, что это такое — перетрудиться и умереть от этого.

Но снова вернусь к Теодору Рузвельту. Многое из того, что впервые было произнесено президентом, уже давно вошло в нашу речь в качестве своеобразных афоризмов. Та же «большая дубинка», к примеру. Или провозглашенный им «честный курс», его призыв к «деятельной жизни». Он впервые запустил в язык такие понятия, как «консервация» или «богатые преступники». А знаменитые слова, сказанные им про Белый дом! «Это ваш дом! Ведь вы за него платите», — обратился он к гражданам своей страны.

Да, что ни говори, а это был всесторонне образованный человек самого высокого интеллектуального уровня: автор более чем двух десятков книг, исследователь, натуралист, историк, солдат, крупномасштабный политический и государственный деятель. Казалось, что он все видит, слышит, знает, понимает, настолько адекватными были его оценки происходящего.

Будучи автором многих книг, Теодор Рузвельт уважал писательский труд и уважительно относился к самим писателям. Впервые, пожалуй, со времен Бенджамина Франклина во главе государства стоял человек, способный воспринимать книгу не как нечто отвлеченное и мертвое, пылящееся на полках академических книгохранилищ. Для него авторы книг были живыми людьми, многих из которых он знал лично. Кстати, он нередко приводил в замешательство того или иного писателя при первой личной встрече с ним, цитируя целыми абзацами фрагменты из его книг. И тут же давал развернутую оценку прочитанного, щедрой рукой рассыпая и критические замечания, и похвалы. Порой складывалось впечатление, что он знал книгу даже лучше и глубже, чем ее автор.

Теодор Рузвельт? Ах, да это тот самый джентльмен, который размахивал в начале века большой дубинкой, наводя ужас на соседние страны, — можно порой услышать сегодня. И уже почти никто не помнит, что его призыв к деятельной жизни был сполна подкреплен личным опытом. Долговязый подросток, страдавший болезнью легких, он, прежде чем

выступать с призывами делать свою жизнь, вначале сделал собственную жизнь. Болезненный и слабый паренек отправился на Запад и несколько лет отработал как простой ковбой на ранчо. Сутками напролет в седле, в любую погоду, в снег и в дождь, на бескрайних равнинах и в прериях. Такая работа закалила его организм. Домой, на Восток, вернулся уже не хилый юноша, но крепкий и выносливый молодой человек, вполне готовый ко всем жизненным испытаниям, которыми изобилует любая жизнь. Человек, сумевший побороть собственный тяжелый недуг, сможет держать удар и выстоять при любых обстоятельствах. А потому его рассуждения о деятельной жизни — это не пустые слова. Они в немалой степени поспособствовали нравственному очищению американской нации.

В этой связи интересно сопоставить судьбу Теодора Рузвельта с судьбой его кузена Франклина Рузвельта, который стал Президентом США спустя тридцать лет. И который значится в моем списке героев под номером четыре. В судьбах этих двух политиков действительно поразительно много общего. Даже обвинения, которые в свое время выдвигались против Теодора Рузвельта, были затем почти буквально повторены и в адрес его родственника. А еще их роднит тяжелая болезнь, которую они перенесли в молодости и с которой достойно справились. Оба, к тому же, на пути в Белый дом шагали почти по одним и тем же ступенькам карьерной лестницы: какое-то время занимали пост заместителя министра, в чьем ведении находились военно-морские силы США, потом избирались губернаторами штата Нью-Йорк. В конце концов, оба происходили из хороших, в высшей степени рафинированных семей, получили отменное образование, отличались высоким интеллектом, работоспособностью, были энергичными и напористыми политиками. Оба были достаточно состоятельными людьми, что, тем не менее, не мешало им весьма критически относиться к накоплению чрезмерных богатств в руках одного человека или одного семейства. А еще оба обладали необыкновенным шармом, под который попадали все без исключения, кто общался с ними.

Стоит ли удивляться тому, что когда я в свое время прочитала «Рузвельт предал свой собственный класс», я немедленно вспомнила, что точно такие же обвинения (и с такой же формулировкой) были выдвинуты против Теодора Рузвельта в 1901 году. В истории, как известно, все повторяется.

Итак, Франклин Делано Рузвельт. Он все еще популярен в Америке и широко известен даже в молодежной среде. И это спустя почти два десятилетия после смерти. Человек совершенно уникальной судьбы. Человек, который смог из совершенно беспомощной, парализованной жертвы полиомиелита превратить себя в полноценного, здорового мужчину. И более того, стать одним из крупнейших политических деятелей в нашей истории. Самое удивительное, что его жизнь со всеми ее грандиозными свершениями и обычными человеческими слабостями и ошибками все еще не воспринимается его соотечественниками как часть истории. Он по-прежнему среди нас, он и сегодня часть нашей жизни. Помню его негромкий, но такой магнетически притягательный голос, который донесли до каждого американца радиоволны, когда он выступил с обращением к нации по поводу вступления в войну. Голос, который согрел всех нас в те трагические минуты, сплотил и вселил надежду:

«Нам нечего бояться, кроме самого страха».

Я нередко бывала в Белом доме и имела возможность наблюдать за этим удивительным человеком в самых разных ситуациях. Помнится, однажды Рузвельты в очередной раз пригласили меня остаться у них на ночлег в качестве гостя. Я еще тогда подумала: «Надо бы все же наконец-то решиться и попросить хозяев показать мне личные апартаменты Авраама Линкольна. Я всегда мечтала их увидеть. Конечно, это приватные покои Белого дома, и наверное, моя просьба покажется им не вполне уместной… но так хочется увидеть спальню Линкольна своими глазами».

А несколько минут спустя ко мне в гостиной, где все собравшиеся гости чаевничали, прежде чем разойтись по своим комнатам для того, чтобы переодеться к вечернему приему, тихонько подошла миссис Рузвельт и прошептала на ухо:

— Вы не возражаете, если я предложу вам провести эту ночь в спальне Линкольна?

Помнится, в тот раз я даже опоздала (совершенно непозволительный проступок!) на коктейль, который обычно устраивают в кабинете Президента непосредственно перед ужином, после которого обычно следует сам прием и музыкальная часть вечера. А все потому, что вместо того чтобы переодеваться, я как зачарованная сидела в кресле и рассматривала историческую комнату, в которой (невероятно!) обитал когда-то сам Линкольн. Я спустилась вниз не только позже других (принеся тысячу извинений хозяевам), но и с покрасневшими от слез глазами. А еще абсолютно счастливая тем, что так неожиданно исполнилась моя мечта.

Войдя в кабинет последней, я увидела, как Франклин занимается своим обычным для такого момента делом: энергично сотрясает мартини в шейкере, собственноручно приготавливая нам, немногочисленным личным гостям президентской четы, коктейли. Вот так мы сидели, человек шесть, не более, неторопливо потягивая свой аперитив, и вели такие же неспешные разговоры на самые разные темы. Обычная вечеринка у старых добрых друзей, никакого официоза и никаких формальностей, которые начнутся чуть позже, уже за официальным ужином и на самом приеме.

После ужина большую часть гостей увлекли в музыкальную гостиную, где должен был состояться концерт. Помню, гости сгрудились, образовав проход, по которому медленно шел, опираясь на руку сына, Франклин Рузвельт. Я видела, с каким трудом дается ему каждый шаг. Но на его лице сияла невозмутимая улыбка истинно светского человека, готового внимать звукам музыки и наслаждаться ею. Наверное, это единственный раз в моей жизни, когда я имела возможность воочию увидеть, что такое героизм. Не абстрактный, а вполне конкретный, живой пример того, как безнадежно больной калека силой собственного духа заставляет себя быть таким как все. Каждый шаг — невыразимые страдания, но он делал его и с улыбкой шел дальше. Еще один шаг, еще один… Когда он поравнялся со мной, я вдруг увидела, каким мальчишеским азартом горят его глаза. В тот момент он напомнил мне ребенка, демонстрирующего матери свои успехи в освоении езды на велосипеде. «Мама! Посмотри! Я уже могу и без ног!» Нет, этой немощной плоти никогда не одолеть его дух, мелькнуло у меня, и я отвернулась, чтобы скрыть переполнявшие меня чувства.

Музыкальная гостиная была забита до отказа. Многие гости подтянулись в Белый дом уже непосредственно после ужина, только на концерт. То тут, то там образовывались небольшие группы меломанов, оживленно обсуждающих программу предстоящего концерта. Элеонора Рузвельт с радушной улыбкой на устах плавно двигалась от одной группы к другой, стараясь, как истинно гостеприимная хозяйка, не обделить никого из гостей своим вниманием.

Помнится, в тот мой приезд к Рузвельтам меня особенно поразила необыкновенно уютная, по-настоящему семейная атмосфера в самом особняке. Да, конечно, Белый дом — официальная резиденция Президента США и все такое, в том же духе. Мы как-то не привыкли думать, что в доме при всем том живет обычная семья, которая, скажем, любит собираться по вечерам на кухне. Вполне обычная кухня, никаких отделанных мрамором стен и прочей чепухи, могущей раздражать своей помпезностью обычную хозяйку. Когда я впервые оказалась на кухне Рузвельтов, то еще подумала тогда: «А что? Очень мило и по-домашнему уютно. Здесь так удобно

соорудить самому себе пару бутербродов, если вдруг захочется просто перекусить».

И Элеонора, словно прочитав мои мысли, сказала:

— Мои мальчики очень страдали в первый год нашего пребывания здесь. Дескать, на ночь все запирается, нигде ничего не найдешь. А ты же знаешь, рейдерские налеты на холодильник в ночное время — это обычная практика в большинстве семей. Вот потому я решила воссоздать на этой кухне все, как было у нас дома.

Однажды я навещала Рузвельтов поздней осенью. И Элеонора отвела меня в небольшую комнатку, наподобие чулана, рядом с кухней, все полки в которой были сплошь уставлены небольшими разноцветными пакетиками, перевязанными блестящими лентами.

— Это часть моих рождественских подарков. Я целый год их собираю и сортирую, что кому. Иначе непосредственно перед Рождеством у меня просто физически не хватит времени совершить все покупки, — поспешила она пояснить мне с несколько смущенной улыбкой на лице. И ничто в этой приветливой, милой женщине не напоминало в тот момент, что вот, перед тобой стоит дама номер один Соединенных Штатов, первая леди, жена самого Президента США. Просто милая, улыбчивая женщина, на долю которой, впрочем, выпало не меньше испытаний, чем их досталось ее мужу.

Но уж коль скоро я заговорила о женщинах, то, наверное, следует упомянуть хотя бы несколько имен тех из них, кто оказал на меня особенно сильное влияние.

Например, Джейн Аддамс, дочь зажиточного фермера из Иллинойса, посвятившую всю свою жизнь борьбе за права женщин и за улучшение жизненных условий городской бедноты. Именно она организовала в Чикаго в 1889 году первый сеттльмент под названием Халл-хауз, опробовав принципиально новую для своего времени социологическую модель. Сеттльмент — это небольшая колония передовой молодежи, которая селилась в рабочих кварталах и трущобах, личным трудом пытаясь облегчить жизнь обитателей этих трущоб. Я и сейчас отчетливо помню этот самый первый американский сеттльмент на самой окраине Чикаго, на Холстед-стрит. Закопченный дом из красного кирпича, грязные подъезды, преследующий тебя повсюду запах нищеты, следы обветшалости и заброшенности вокруг. Но если вспомнить, что через сеттльменты прошли тысячи и тысячи юношей и девушек, горевших желанием приобщиться к общественной деятельности, то понимаешь, сколь велик был вклад этой незаурядной женщины в нашу историю. И сегодня, спустя почти четверть века после смерти Джейн Аддамс, я, встречаясь с молодежью, бесцельно шатающейся по улицам Нью-Йорка, просто потому что ей некуда приложить свои силы или дать выход бьющей через край энергии, всегда вспоминаю книгу Аддамс «Молодежь и городские улицы», не утратившую своей актуальности и в наше время. Пожалуй, ее вполне можно было бы назвать «Вестсайдской историей Джейн Аддамс». Она заслужила такое название задолго до того, как на Бродвее пошел знаменитый мюзикл об обитателях Вестсайдских трущоб. А вторая книга Аддамс «Двадцать лет в Халл-хаузе» — это вообще самый настоящий учебник по социологии. Я бы даже сказала, законченный университетский курс по прикладной социологии. Тихая хрупкая женщина с лицом, испещренным глубокими морщинами и глазами, такими ясными, такими чистыми, такими приветливыми. Взгляд этих глаз так поразительно похож на взгляд Элеоноры Рузвельт. Но и у той, и у другой за внешней мягкостью и субтильностью скрывались решительность, целеустремленность и стальная воля.

Имя Айды Тарбелл сегодня тоже практически забыто. А ведь в свое время ее статья «История Стандарт Ойл Компани», в которой были преданы

гласности скандальные подробности обогащения семьи Рокфеллеров, наделала много шума. Можно сказать, что эта публикация потрясла до основания всю нацию. Айда в свое время была одним из редакторов журнала «Эмерикан мэгэзин», не существующего ныне, на страницах которого в 1902 — 1904 годах регулярно печатались ее разоблачительные статьи. Несмотря на то, что мое личное общение с Айдой Тарбелл было весьма ограниченным (в силу разницы в возрасте, несходства характеров и прочее), я всегда находилась под обаянием этой маленькой женщины с тихим голоском. А ее интеллект просто потрясал. Собственно, встреча с ней в Нью-Йорке в далеком 1911 году явилась для меня первым знакомством с по-настоящему влиятельной и знаменитой женщиной. Кстати, именно от Айды Тарбелл я получила и первый назидательный урок уже на чисто бытовом уровне.

Переехав в Нью-Йорк, я поселилась в небольшом отеле недалеко от Бродвея. Почти семейная гостиница с пансионом: повсюду кадки с пальмами, красный плюш, обязательный яблочный пирог к чаю, везде чистота и по-домашнему уютно. Однажды я пригласила к себе на ужин небольшую компанию журналистов, в их числе была и Айда Тарбелл. Мы приятно поболтали у меня в номере, а потом направились в небольшой ресторанчик на первом этаже, где и предполагался сам ужин. Мы с Айдой уходили из номера последними. Я уже приготовилась захлопнуть дверь, как вдруг услышала у себя за спиной:

— А свет? Ты забыла выключить свет!

Действительно, обе мои комнатки и прихожая были ярко освещены электрическими лампочками.

— А, пусть горит, — беззаботно отмахнулась я. — Это же гостиница. Все включено!

— Да, но свет здесь горит для тебя, а не для гостиницы. И если он тебе не нужен, то зачем же гостиница должна за него платить? — мягко возразила она.

Я послушно выключила освещение, не вполне поняв, что именно имела в виду Айда. Понимание того, что такое рачительное отношение ко всему на свете, пришло много позже. Сейчас, когда я вижу сотни, тысячи бесцельно горящих лампочек повсюду, впустую расходующих столь дорогую электроэнергию, когда на моих глазах бездумно и небрежно обращаются с едой, одеждой, землей, воздухом, потакая всяческим нелепым капризам и стремлению к роскоши, я всегда вспоминаю тот первый наглядный урок бережливости, преподанный мне Айдой. В один прекрасный день им за все это придется платить, думаю я с грустью. И цена, скорее всего, будет очень высокой.

Я продолжаю работать над своим новым романом «Дорожный сундук из Саратоги». Даже переехала из городской квартиры в свой загородный дом, чтобы ничто не отвлекало меня от работы. Но дело пока продвигается медленно, очень медленно. Слишком тревожные сообщения поступают из Европы. Вот запись из дневника, сделанная мною 14 июня 1940 года.

«В десять часов утра по радио передали ужасную новость о том, что нацисты заняли Париж. Французы в массовом порядке устремились на юг страны. Все дороги в южном направлении запружены беженцами. Я слушаю эти страшные подробности, тупо уставившись на пишущую машинку. Зачем писать? Кому это сегодня нужно? Глупо заниматься таким пустым делом сейчас».

Однако дисциплина труда есть дисциплина. Я с облегчением слежу за тем, как тает стопка чистой бумаги на письменном столе рядом с машинкой. Почему-то в начале всякой новой работы именно эти чистые листы бумаги наводят на меня почти панический страх, пугая непредсказуемостью того, что на них появится впоследствии. Моя сельская обитель, небольшой

городок Истон, всего лишь в полутора часах езды от Нью-Йорка, но ритм жизни разительно другой. Одно слово, глушь! Например, в Истоне не принято просто гулять. Встретить праздношатающегося человека на улицах городка в неурочное время практически невозможно. Местные жители с нескрываемым подозрением относятся к подобным эксцентричным выходкам представителей больших городов. Да и полиция тоже не дремлет.

В пять часов я выхожу на свою ежедневную прогулку и плетусь по пустынной дороге, словно это не городская улица, а самая настоящая африканская пустыня. Внезапно рядом тормозит полицейская машина.

— Добрый день, мэм! Куда держите путь?

— Что вы сказали?

— Я спрашиваю, куда идете.

— Никуда. Я просто гуляю.

— Как это, «просто гуляете»? Ваше имя, мэм?

— Так-то и так-то.

— Где проживаете?

— Там-то и там-то.

— Прошу садиться в машину.

— Как садиться? Послушайте… Но я и в самом деле…

— Леди! Попрошу не вступать в пререкания с полицией!

И тебя со всеми почестями доставляют в полицейский участок, где немедленно начинают проверять полученную информацию. Проверили, убедились в ее достоверности и отпустили. Но это в лучшем случае. А если нет, то могут и задержать, пришив в качестве обвинения бесцельное шатание по городу.

Да здесь и пешеходных дорожек нигде нет, обычных тротуаров для обычных прохожих. Только широкие мощеные мостовые для машин. Они проносятся мимо на угрожающей скорости. Впрочем, машин в городке не так уж и много, а потому движение на дорогах не самое оживленное.

— Послушайте, — интересуюсь я у одного из своих соседей, — но где у вас тут можно просто гулять?

— Гулять? — переспрашивает он меня с несколько глуповатым выражением на лице, ибо глупость уже моего вопроса потрясает его до самой глубины души. — Но у нас никто и никогда не гуляет. Разве что если кто приедет погостить из Европы. Или из Нью-Йорка.

И вот я брожу по городку в гордом одиночестве и размышляю о том, что сейчас происходит в мире. Итак, в войну уже втянуты Франция, Италия, Германия, Бельгия, Голландия, Австрия, Россия, Англия.

Англия — это моя особая боль. Я считаю эту страну своей второй родиной. И англичан с их безукоризненным чувством юмора, с их ярко выраженным осознанием собственного достоинства я уважаю как ни одну другую нацию в мире. Но сумеет ли выстоять этот маленький остров против нашествия варваров?

Мы тут у себя в Штатах все еще нежимся в комфорте и тепле. Огромное водное пространство под названием Атлантический океан отделяет нас от Англии, от воюющей Европы. Этот барьер кажется вполне надежной защитой. Мы, американцы, еще даже и не подозреваем, что через каких-то двадцать лет Атлантический океан скукожится до размеров сельского пруда, в котором полощутся дети в летнюю пору.

А потом Дюнкерк. Одно из наиболее ярких проявлений героизма и стойкости человеческого духа в мировой истории. Вся американская нация замерла, вслушиваясь в голоса двух людей. Вначале с обращением к народу Соединенных Штатов выступил президент Рузвельт. В полдень по местному времени транслировали уже выступление Черчилля. Его голос завораживал, слова были понятны и убеждали своей простотой. Иногда

слышались гнусавые нотки, похожие на рычание зверя, потревоженного в собственной берлоге. Презрительные интонации внезапно сменялись раскатами грома, и голос обретал пугающую мощь, потом становился тише, но звучал по-прежнему решительно, не вызывая ни у кого сомнения в правоте того, о чем он говорил. Как всегда остроумные пассажи, на первый взгляд, неуместные, с учетом серьезности момента, но это так по-английски. Да, воистину, то была речь государственного мужа, рассуждающего о героизме людей безо всякой ложной патетики, порой даже нарочито принижающего остроту и трагизм ситуации, подающего события под пикантным соусом сарказма и едкой издевки, заставляющей невольно рассмеяться.

Помнится, в одной из своих последних речей Гитлер истерично выкрикивал очередную порцию похвальбы: «Мы свернем Англии шею с такой же легкостью, как сворачивают шею цыпленку».

Англия в ту же ночь ответила массированной бомбардировкой Германии. И вот уже словесный ответ на эти безумные угрозы. Такое впечатление, что психопату отвечал не маститый политик, а жизнерадостный воспитанник Итона, приехавший домой на летние каникулы. Я даже представила себе на мгновение розовощекого подростка, этакого херувима с решительным блеском глаз и легкой гримасой презрения на лице.

«Мы еще посмотрим, что это будет за цыпленок, и чья это будет шея, в конце концов».

7 декабря Япония наносит свой устрашающий удар по кораблям ВМФ США в Пёрл-Харбор. Война! Наверное, сегодня воспоминания о Второй мировой войне многим кажутся такими же далекими, как исторические романы об индейцах, воюющих с помощью лука и стрел, или о драматических событиях Гражданской войны минувшего столетия. Тем, кто сам не пережил этих страшных четырех лет, не понять в полной мере, что такое война. Лично мне война представляется неким подобием психологического блендера, в котором моментально смешивается все и вся. Так, еще вчера были хорошие и плохие американцы, добрые и злые, эгоисты и филантропы, а сегодня просто «хорошеплохие», «доброзлые» и прочее, и прочее.

И вечные вопросы, которые неизбежно задает себе каждый порядочный человек в военное время. Что делать? Как помочь тем, кто на фронте? Особенно остро эти вопросы стали перед пожилыми людьми, уже не подлежащими мобилизации. Такими, к примеру, как я. В самом деле, не вывешивать же штандарты из окна собственной квартиры и не размахивать национальными флагами в порыве всеобщего патриотизма. Ответ пришел очень быстро. Его озвучило правительство страны. «Делайте то, что вы умеете делать и делаете лучше всего. Вы писатель? Так пишите!»

В скором времени был сформирован Совет военных писателей, который возглавила вполне работоспособная группа энергичных и весьма инициативных людей. Лично я отказалась войти в состав руководящих органов (всю жизнь небезосновательно боюсь представительских функций и всегда сторонюсь участия в разных комиссиях и комитетах), но с радостью согласилась участвовать уже в практической работе самой организации.

Итак, ты профессиональный писатель. Так вот, будь добра, напиши нам статью, рассказ, очерк, пьесу на заданную тему. Ужас! Писать на заказ — это то, чему я противилась всю свою жизнь и чего я, в принципе, не умею делать. Именно этим обстоятельством объясняется тот факт моей биографии, что я никогда не сотрудничала с Голливудом в качестве штатного сценариста. Мне всегда претило писать на тему, которую предлагают тебе другие. Нет, идея должна прийти мне самой, замысел должен созреть во мне постепенно, неспешно, как протекают любые химические процессы в нашем организме. А тут приходит депеша от известного режиссера, в которой он пишет тебе: «Послушай, Эдна. У меня возникла одна мысль…

Думаю, лучше тебя никто не разовьет этот сюжетец. Действие происходит на Ближнем Востоке, и главный герой должен…»

Наверняка большинство писателей получали подобные послания. Что до меня, то я всегда отвечала на них категорическим «Нет!».

Но сейчас война, а потому приходится освежить в памяти давний опыт своей репортерской деятельности. И вот уже первая служебная командировка в новом качестве.

— Во вторник вы летите в Кокомо. Вот ваши билеты на самолет. Туда и обратно, — сообщают мне в Совете.

— Кокомо? Где это?

География никогда не была моим сильным местом. Одно могу сказать с уверенностью: географическая точка, куда мне предстоит вылететь с полученным заданием, находится за пределами штата Нью-Йорк.

— Кокомо, штат Индиана, — отвечают мне, не поднимая головы от вороха бумаг. — В этом городке имеется предприятие по производству спасательных шлюпок. Вы должны написать рассказ на эту тему. Интересный рассказ! Он будет напечатан в «Космополитен». Мы уже заручились согласием со стороны руководства журнала.

Ах, так вот что от меня требуется! Сотворить художественное произведение малой формы, посвященное производству спасательных шлюпок. Все правильно. Рабочие на предприятии недовольны своим нынешним занятием, более того, они негодуют, они переживают. Им хочется делать корабли, всякие там военные эсминцы и линкоры. А тут какие-то шлюпки! Моя задача — пробудить в людях энтузиазм и понимание важности того, чем они занимаются. Спасательные шлюпки — это именно то, что нужно сегодня. Без них войны нам точно не выиграть. И особый акцент нужно сделать на том, что люди все же заняты производством почти мирной продукции. Спасательные шлюпки — это все же не бомбы.

И вот я уже в Кокомо, брожу по предприятию, знакомлюсь с производством, разговариваю с рабочими в цехах, все как положено. Во мне просыпается уже почти забытый репортерский нюх. Назад лечу маленьким транспортным самолетом из Индианаполиса. Самолет летит очень низко, и всю дорогу меня мутит от приступов морской болезни. Я борюсь с тошнотой и размышляю о замечательном писателе Буте Таркингтоне, уроженце Индианаполиса. Вспоминаю его трогательный и одновременно ужасно смешной роман «Элис Адамс». История одинокой девушки. Перипетии нелегкой судьбы героини романа мне хорошо понятны, ибо во многом созвучны тому, что пережила я сама в ранней юности.

Рассказ написан и благополучно перекочевал в редакцию «Космополитена». Через некоторое время он появляется на страницах журнала. Я не стала мудрить с названием, озаглавив свой первый отчет о командировке предельно просто: «Спасательная шлюпка». Надеюсь, свою основную функцию рассказ выполнил: и воодушевил, и подбодрил. Не припомню, чтобы его напечатали где-нибудь еще после той первой и, судя по всему, единственной публикации военных лет.

Следующее задание: «Напишите короткую новеллу о пожилой женщине, которая пошла работать на авиационный завод. Сейчас на военных предприятиях полно немолодых работниц, они успешно освоили ряд операций, что позволило высвободить высококвалифицированных мастеров-мужчин для выполнения более сложных работ».

Ну, это уж совсем просто! В двенадцати милях от моего загородного дома находится городок Бриджпорт, в котором расположен крупный авиационный завод. Там сейчас действительно в основном заняты женщины. Работают с охотой, внося свой посильный вклад в грядущую победу. Моложавого вида бабушки даже находят некоторое удовольствие в тех

переменах, которые случились в их жизни. Ведь теперь они по-настоящему независимы от своих взрослых детей, от их жен и мужей, а также вполне могут поставить на место внуков, если те начнут дерзить или требовать чего-то невозможного. Рассказ написался быстро, я назвала его «Бабушка вовсе не шутит».

Командировки следуют одна за другой. Калифорния, любимый Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Сиэтл, Вашингтон, снова Нью-Йорк. Здесь меня поджидает ошеломляющая новость. Ко мне являются с визитом представители ВВС, майор и полковник.

— Мы хотим предложить вам отправиться военным корреспондентом, в качестве нашего спецкора, на театр военных действий. Но предварительно вам нужно приехать в Вашингтон и получить направление для прохождения медкомиссии в военном госпитале в Мэриленде. Дело в том, что ваши предстоящие командировки будут сопряжены с полетами в горной местности, а для этого нужно получить специальное разрешение.

Ну, наконец-то что-то стоящее! Эдна, да ты просто сорвала джек-пот! Сердце мое подпрыгивает от радости, готовое вот-вот выскочить из груди.

Эка невидаль, медкомиссия! Я не привыкла задумываться о таких мелочах, как собственное сердце. Качает себе кровь, и пусть качает. Разумеется, время от времени меня прослушивали стетоскопом, но не более того. Работа электрического насоса, качающего воду в подвале загородного дома, всегда волновала меня гораздо больше, чем собственная кардиограмма.

Вылетаю в Вашингтон. Столица похожа на сумасшедший дом: типичная картина для любой столицы воюющего государства. Все гостиницы переполнены, улицы забиты машинами, цены на такси взлетели до заоблачных высот. Приходится вспомнить молодость и влиться в бесконечный поток пешеходов, заполнивший все тротуары.

Кардиолог, к которому мне дают направление для медосмотра, мой давний знакомый по Нью-Йорку. Один из лучших специалистов в этой области. Что вселяет надежду. Неприятная пустота в желудке сменяется радостным предвкушением.

— Я немного нервничала, — доверительно сообщаю я врачу. — Но когда узнала, что меня направили к вам…

Далее следует прелюбопытная процедура, напоминающая популярный некогда танец тустеп. С той только разницей, что по два шага приходится семенить не на ровном полу, а преодолевать две ступеньки — вверх, вниз, вверх, вниз. Приспособление напоминает небольшую стремянку, которой обычно пользуются в домашних библиотеках для того, чтобы достать с верхней полки нужную книгу. Немного кружится голова, но у кого бы не закружилась от столь экстравагантных па?

— Сюда, пожалуйста, на кушетку. Расслабьтесь и лежите спокойно. Сейчас снимем кардиограмму. Посмотрим, как отреагировало ваше сердечко на чередующиеся спуски и подъемы. Эта установка, кстати, довольно успешно моделирует те нагрузки, которые испытывает человек во время полетов по горной местности.

— О, я была в горах! — хвастливым тоном заявляю я. — Я даже самолично поднялась на вершину Лонг-пика, на высоту четырнадцать тысяч двести пятьдесят футов над уровнем моря.

— Да? — вежливо удивляется доктор, всецело поглощенный закреплением манжетки на моем плече.

— Все в порядке?

— Можете одеваться.

Я поспешно натягиваю на себя одежду и выхожу из-за ширмы. Он молча протягивает мне кардиограмму: бесконечная череда пиков, пляшущих то вверх, то вниз.

— Вам нельзя лететь.

— Лететь куда? — тупо переспрашиваю я.

— Полеты в горной местности вам противопоказаны.

Я уныло бреду по Вашингтону, не замечая никого вокруг. Дважды судьба сыграла со мной дурную шутку. Четверть века тому назад, во время Первой мировой войны, я по ряду причин (правда, совсем другого свойства) так и не сумела выехать в Европу в составе миссии Красного Креста. И вот снова отказ!

Возвращаюсь к себе домой в Нью-Йорк, где меня поджидает целый ворох новых поручений от Совета военных писателей. Оказывается, за время моего отсутствия уже успели сформировать специальную группу, в которую помимо видных писателей вошли известные кинодеятели, специально выписанные для этой цели из Голливуда, а также несколько молоденьких кинозвезд. Старлетки, судя по всему, должны будут стать нашей ударной силой в том нелегком деле, которое возлагается на нас правительством США.

Администрация президента озабочена тем, что американцы весьма неохотно приобретают облигации военного займа. И вот наша цель — убедить народ в том, что облигации — это хорошо, что, покупая облигации, каждый гражданин вносит свой неоценимый личный вклад в дело победного завершения войны. И вообще, облигации — это патриотично и даже гламурно, коль скоро сами кинозвезды охотно приобретают их. Словом, все мы на какое-то время превращаемся в своеобразных промоутеров. Станем колесить по стране, рекламируя очередные серии займа. В каждом городе нам гарантирован помпезный прием: флаги, транспаранты, полицейский эскорт, блицы фотокамер, ажиотаж со стороны местной прессы, обязательный прием у городского головы. Но это с утра или во второй половине дня, а вечером, ближе к ночи, большая реклама в форме какого-нибудь светского мероприятия, организуемого с шумом, треском и фанфарами. И конечно, в каждом городе на подкрепление скромных писательских сил в обязательном порядке бросается какой-нибудь известный гражданин или гражданка, уроженцы именно этого города. На его плечи и ложится основной груз всей акции.

Что ж, я всегда говорила, что писателей лучше читать, чем демонстрировать в качестве экспонатов. Они редко являют собой зрелище, достойное пристального внимания. Если говорить о писательницах, то среди них почти не встретишь красивых, по-настоящему гламурных дам. Да и мужчины-писатели тоже мало похожи на известных киногероев. А потому на большой успех наших ура-патриотических речей в ходе турне по стране рассчитывать не приходилось. Но в каждом городе мы честно убеждаем народ в полезности рекламируемого дела, после чего с явным облегчением уступаем место под прожекторами очередной знаменитости местного масштаба. Или главному аукционисту, если мероприятие проходит в форме аукциона. Впрочем, программа предусматривает и некоторую популяризацию нас, уже в своем писательском качестве. В общую корзину призов и наград, разыгрываемых на подобных аукционах и благотворительных вечерах, каждый из нас должен внести определенное количество экземпляров своих книг с автографами. А также передать кое-что из личных архивов: записные книжки, отдельные листы рукописей с авторскими правками, первоначальные наброски и прочее. Через какое-то время все эти вещи станут бесценными экспонатами в местных музеях, займут свое почетное место в фондах университетских библиотек, и вообще, будут стоить немалых денег.

А пока… Пока аукционист ударяет молотком и объявляет:

— Господа! Первое издание романа имярек с автографом. Машинописная рукопись прославленного произведения с личными правками автора! Бесценная вещь, господа!

Я сижу на возвышении, вместе с другими участниками нашей выездной бригады, и размышляю о том, какая участь уготована всем этим лотам. Что станет, к примеру, с рукописями моих книг «Плавучий театр», «Дорожный сундук из Саратоги», «Американская красавица». Иногда эти мысли посещают меня и сегодня. Интересно, где же они, думаю я. Вполне возможно, «бесценные вещи» уже давным-давно перекочевали в корзину для бумаг. Или, пожелтевшие от времени, пылятся где-нибудь на чердаке, если только в современных домах все еще имеются чердачные помещения.

До чего же все в нашей стране, начиная с самых верхов, то есть с правительства США, и кончая низами, то есть рядовыми читателями, до чего же все они далеки от понимания того, что такое писательский труд на самом деле. Абсолютное большинство американцев вполне искренне убеждены в том, что писатель — это никакая не профессия, и не искусство, боже упаси! И даже не ремесло, а так, хобби, которым можно и должно заниматься между делом, в свободное от основной, так сказать, работы время. На манер того, как иные домохозяйки вышивают крестиком по вечерам или расписывают цветочками фарфоровые чашки. Писать может любой, пренебрежительно говорят все эти люди. И что самое удивительное, у нас действительно пишет любой. Точнее, сегодня пишут все. Постоянно то на одной светской вечеринке, то на другой можно услышать, как кто-то из новоявленных авторов объясняет собравшимся свой внезапный порыв заняться литературным творчеством:

— Дети выросли. Женаты, живут отдельно. Вильнер вечерами пропадает в своем гольф-клубе. У меня бездна свободного времени. Вот, решила написать книгу. Разумеется, я пишу только для собственного удовольствия. Нет-нет, я не собираюсь издавать ее. Зачем?

И невдомек этим горе-литераторам, что писатель, настоящий писатель (добавлю я в скобках), потому и писатель, что он просто не представляет себя ни в каком ином качестве. Он пишет потому, что не может не писать. Это своего рода насилие, ежедневно совершаемое над собой, с которым нельзя ничего поделать. Каждый день неведомая сила гонит тебя к письменному столу, и ты сидишь за ним днями напролет, порой по десять часов кряду, пытаясь излить себя и свою душу на чистые листы бумаги. Иногда удается, чаще нет. Порой по итогам рабочего дня у тебя есть пару страниц приличного текста. Изредка тебе удаются даже целых пять страниц. Невероятная удача! Явно тебя посетило вдохновение.

И так изо дня в день, всю жизнь: две страницы, три страницы, одна… Вечерами мысли твои продолжают кружиться по тому же замкнутому кругу: герои, новые сюжетные повороты и линии. А на следующее утро ты приходишь к выводу, что все три страницы, написанные накануне, надо переписать заново. И еще раз переписать, а потом снова внести какие-то правки.

По собственному опыту знаю, что если приступаешь к большой работе, например, к роману, то лучше оперировать именно цифрами ежедневной нормы: две страницы, пять страниц и так далее. В противном случае колоссальные размеры того, что тебе предстоит сделать (например, написать пятьсот страниц текста), могут просто морально раздавить своей тяжестью. А так, шаг за шагом, день за днем, и ты почти у цели. Воистину, писательство похоже на долгий путь, в который ты отправляешься, иногда с радостью и уверенностью в собственных силах, а иногда тебя гонит вперед отчаяние. Но желание высказать то, что ты прочувствовал и понял в этой жизни, сильнее любого страха и неуверенности.

Но вот рукопись окончена, сдана, опубликована, и даже появились первые отзывы на твою книгу. Ты открываешь газету и читаешь в статье известного рецензента: «Вне всякого сомнения, автор задумывал свою книгу как основу для будущего киносценария, в расчете на то, чтобы перепродать потом права на ее экранизацию».

И после такого разгрома нужно собраться с силами и идти дальше. Нет, что ни говори, а писатели — это и есть те самые аристократы духа, которых величают «избранными». Аристократы мира, вот кто такие писатели! Они упорствуют в своем труде, даже если их не понимают, не сдаются, когда их преследуют и подвергают насилию. Личная безопасность и выгода всегда отступают для них на самый дальний план, ибо главное — это творчество, уважение к самому себе и надежда на то, что в один прекрасный день они будут поняты. Писатели прекрасно осведомлены о своей высокой миссии. Да, это они создают духовные и нравственные законы, по которым живет все остальное человечество. И пусть сегодня их труд остался невостребованным, мотивы непонятыми, а самих их оболгали и втоптали в грязь. Что из того? Они все равно будут писать. Они будут писать до тех пор, пока будет существовать человечество. А возможно, и потом, после этого.

Военная жизнь тяжела для всех. Даже для тех, кто не участвует непосредственно в боевых действиях, то есть для сугубо цивильных людей. Тебя постоянно мучает мысль о ненужности того, чем ты занимаешься. И это в то время, как другие… Ты завидуешь собственной секретарше, которая мобилизована и через несколько дней поступит в распоряжение штаба наших ВМФ в районе Тихого океана. Ты завидуешь горничной, которая устроилась работать на близлежащий авиационный завод. И соседскому фермеру, который забросил свою ферму и подался в Бриджпорт на какое-то предприятие, где выпускают оружие. Все вокруг заняты делом. А ты?

А я продолжаю делать то, что мне велят. Еду туда, куда меня посылают. И еще умудряюсь ежедневно выкраивать хотя бы пару часов для собственного творчества. Война войной, а жизнь продолжается. Впрочем, именно это собственное творчество не очень задается. Любопытное наблюдение. Писатель может писать даже под грузом самых тяжелых собственных проблем. Личные трагедии, разочарования, самые сильные эмоциональные потрясения, все это странным образом трансформируется в слова и выливается на бумагу. Но когда весь мир вокруг тебя охвачен гигантской катастрофой, когда человечество занято тем, чтобы выжить, сохранив в себе нечто человеческое, писать становится невозможным. Наверное, объяснение тому лежит на поверхности. Ведь именно человечество и его судьбы и есть основной предмет творчества любого писателя. А коль скоро весь мир катится в тартарары, то о каком вдохновении можно толковать? Большие романы и развернутые эпопеи не пишутся в периоды мировых потрясений и катаклизмов, когда трудно оставаться в стороне, сохраняя позицию бесстрастного наблюдателя. Для того чтобы написать что-то стоящее, нужна, как мне кажется, незамутненность чувств и совершенно ясный ум. Ничего личного!

Из эпизодов военного времени почему-то особенно ярко врезался в память вот этот. В конце зимы 1943 года мы с Пегом Пулитцером отправились в гости к чете Даблди. Нельсон Даблди пригласил нас в свое поместье в Южной Калифорнии, несколько архаичное имение, словно сошедшее со страниц исторического романа о плантаторах Юга. Собралась прекрасная компания людей, общаться с которыми одно удовольствие. Во-первых, сами хозяева Нельсон и Элен, умные и доброжелательные люди, потом их гости, Сомерсет Моэм, Глен Вескотт, Монро Уиллер, разумеется, Пег Пулитцер, могущий затмить своим остроумием любого собеседника. А еще вокруг море, солнце, красивая природа, живительная прохлада теплых вечеров, изобилие и роскошь южной кухни (достаточно вспомнить горячие хлебцы, подаваемые на ужин, перед которыми невозможно было устоять) и бесконечные разговоры за ужином и после него, за чашечкой кофе у камина. Несколько идиллических дней, незамутненных постоянными мыслями о войне.

В Нью-Йорк мы возвращались «Южным экспрессом» в самых комфортных условиях. Помнится, в февральских записях своего дневника я обнару-

жила пометку о том, что, устроившись в купе (у нас с Пегом были купе по соседству), я тотчас же улеглась спать и мгновенно отключилась, проспав девять часов кряду, ни разу не прохватившись. Завтракала я у себя в купе. А на обед мы с Пегом отправились в вагон-ресторан. Там уже образовалась целая очередь из желающих подкрепиться. Мы пристроились в самый хвост, а за нами стали два молодых негра в военной форме. Опрятно одетые интеллигентные молодые люди самой приятной наружности. Подошла наша очередь, нас усадили за столик и приняли заказ. Через некоторое время официант принес обед, и в этот момент два пассажира, сидевшие за нашим столиком, поднялись со своих мест и направились к выходу. А следом метрдотель подвел к нам двух белых офицеров. Темнокожие ребята продолжали тихо стоять в очереди, ожидая неизвестно чего. Пришлось недвусмысленно объяснить метрдотелю, что именно ему надлежит делать в подобной ситуации. После чего молодые люди заняли свои места рядом с нами и получили свой обед. Когда сталкиваешься с подобным, то возникает непреодолимое желание схватить бледнолицего соотечественника за шиворот и хорошенько встряхнуть его, чтобы он вспомнил, где и в какое время он живет.

Кстати, несколько позже в журнале «Нью-Йоркер» появился замечательный рассказ Ирвина Шоу с почти схожим сюжетом. Толпа проголодавшихся солдат заваливает в станционный ресторан и мгновенно заполняет все свободное пространство придорожной харчевни, ибо ребята страшно голодны и торопятся к очередному поезду. Среди них двое негров, которым вежливо, но твердо указывают на дверь. И вот пока остальные поглощают свой обед, вольготно расположившись за столиками, эти двое подкрепляются бутербродами и кофе, стоя на заднем дворе среди мусорных баков с отбросами.

Проходит год с небольшим, и в моем доме снова появляются двое вежливых молодых людей в офицерской форме летчиков ВВС.

— На сей раз никаких полетов в горах, мэм! — убеждают они меня, словно пытаясь реабилитировать все воздушные силы Соединенных Штатов за то, что в прошлый раз мне не дали разрешение на командировки из-за этих проклятых ступенек: две ступеньки вверх, две — вниз.

— Сейчас вас направят в Европу, — сообщают они мне сногсшибательную весть. — Командование уверено, что лучше вас эту работу никто не сделает. Совершите облет всех наших воздушных баз на континенте — в Англии, Франции, Бельгии, Италии, Германии, а потом напишете серию очерков.

— Не командировка, а настоящая увеселительная прогулка по Европе! — широко улыбается майор.

— Только в военной форме, — тут же добавляет полковник.

— А зачем мне форма? — удивляюсь я. — Я ведь уже старуха. Вдобавок, маленького роста. И вообще, я человек сугубо штатский.

— Отныне у вас звание капитана. Временно, конечно.

— Почему капитана? То есть, я хочу сказать, зачем мне это звание?

— На случай, если вас вдруг захватят в плен. Война ведь еще продолжается. Если такое, не дай бог, случится, то они будут обращаться с вами как с офицером ВВС США.

— Понятно! — хрюкаю я испуганно, несколько обескураженная такой малопривлекательной возможностью во время «увеселительной прогулки» по Европе.

— Вот и хорошо! Тогда собирайтесь и будьте готовы уже в ближайшее время вылететь к месту назначения.

— А врачи? Медкомиссия?

— Само собой, вас проверят на наличие всех прививок. Тиф, оспа, еще что-то там. Но, в общем-то, все это сущие пустяки и пустая формальность.

А потому немедленно начинайте привыкать к ношению военной формы. Уверен, вы будете в ней просто неотразимы. Вот увидите, наши ребята начнут выпрыгивать из кабин своих самолетов, чтобы лишний раз отдать вам честь. Да, кстати, вам разрешено иметь при себе секретаря.

И вот я снова в Вашингтоне. Все тот же бедлам на улицах и в гостиницах. И все тот же недовольный взгляд кардиолога при встрече.

— Надеюсь, вы не забыли, какая у вас была кардиограмма в прошлый раз, — напоминает он мне, нахмурившись.

— Ах, доктор! Я чувствую себя великолепно! — успокаиваю я строгого знакомого. — И потом, в Европе сейчас гибнет столько народу. Молодых здоровых людей травят газом, забрасывают бомбами, сжигают живьем. Так что там моя жизнь на таком устрашающем фоне? Одной больше, одной меньше.

Решено, в качестве секретаря со мной полетит моя племянница Мина. Начинаются обычные дорожные сборы. Получить форму, оформить кучу бумаг, не забыть обзвонить близких. Десятки неотложных дел, больших и малых, которые надо успеть решить до отъезда.

Последний инструктаж перед отлетом несколько деморализует.

«В случае непредвиденной посадки самолета на воду, прежде чем воспользоваться спасательными средствами, внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями, которые имеются на ваших комплектах».

На обратном пути в гостиницу захожу в обувную мастерскую, которую мне порекомендовали столичные приятели. Надо привести в порядок всю обувь, которую я намереваюсь взять с собой. Удобная обувь — это крайне важно для такой командировки.

Дверь в мастерскую распахнута настежь. Но внутри — ни души.

— Есть кто? — кричу я с порога.

Молчание. Я открываю дверь в подсобку. Пусто! Я снова выхожу на улицу и только сейчас замечаю, какие странные лица у прохожих, снующих мимо. Растерянность, смятение, многие бредут по тротуару, словно во сне, не видя ничего перед собой. Внезапно я выхватываю из толпы знакомое лицо. Молодой актер, играл когда-то в одной из моих пьес. Сейчас он тоже в военной форме. Я останавливаю его.

— Боб, что случилось? Я только что с инструктажа в штабе и не…

— Умер президент Рузвельт.

Вечером в гостиничном ресторане наблюдаю одну из самых омерзительных сцен, виденных мною в своей жизни. То тут, то там собираются оживленные кучки нарядно одетых мужчин и женщин. Слышится веселый смех, радостные восклицания, звон бокалов. Эти люди с упоением празднуют смерть великого человека и великого президента. Некрофилы, думаю я с гадливостью. Они травили его при жизни, мешали ему всю дорогу, постоянно путаясь под ногами, а сейчас готовы сплясать от счастья на его поминках. Кусок не лезет в горло. Я поднимаюсь к себе в номер, так и не притронувшись к еде.

Европа встретила нас необыкновенным холодом. По наблюдениям метеорологов, весна 1945 года признана одной из самых холодных за всю историю наблюдений. Что ни день — полеты. Летаю на транспортных самолетах, на бомбардировщиках и легкокрылых почтовых «стрекозах», напоминающих вблизи корыта для стирки белья. Созерцаю сверху панораму колоссальных разрушений и думаю о том, кто же из нормальных людей может любить войну. Наверное, только нерадивые мужья, уставшие от собственных жен и мечтающие сбежать от них хоть на край света, даже на фронт. Да еще генералы. Те любят войну по определению, в силу своего профессионального долга. Ведь каждому хочется делать свою работу как можно лучше. Ну, а их работа — воевать.

Размышляю об истории Европы и прихожу к выводу, что эта часть суши заселена отнюдь не самыми воинственными нациями в мире. Разве что Германия. Германия традиционно любит воевать. Более того, она просто обожает войны. И в прошлом всегда имела их в избытке. И в будущем тоже будет иметь. Сумеречный немецкий дух в мятежном стремлении вырваться наружу гонит их на поле брани, а хронический комплекс неполноценности, испытываемый этой нацией, заставляет их снова и снова идти в бой. Разумеется, это мое, сугубо личное, мнение цивильного человека, но в глубине души я и сегодня абсолютно уверена в том, что Германия уже завтра объявила бы новую войну, если бы у нее для этого было достаточно сил. И в один прекрасный день, когда, по ее мнению, она накопит для победы достаточно этих самых сил, человеческих ресурсов и оружия, она обязательно так и поступит.

Нет-нет, у меня нет никаких достаточных научных обоснований для подобного умозаключения. И секретной информацией по данному вопросу я не владею. А потому мое мнение можно не принимать в расчет. Наверное, если бы эти строки попались на глаза ведущим мировым политикам, посвященным во все тайны политического закулисья, они не согласились бы со мной. Но они вряд ли станут читать эту книгу, а потому я остаюсь при своем мнении. Я только знаю, хотя, по правде говоря, ничего не знаю. И они не знают. И никто не знает, что будет завтра.

Почти двадцать лет прошло с того безумного майского дня, когда было объявлено о победном окончании Второй мировой войны. Правда, пока только в Европе. Величайшая удача в моей жизни: День Победы я встретила в Париже, куда только что вернулась из очередной командировки в Германию. Этот день невозможно забыть. Париж гулял весь день и ночь напролет. Все улицы были запружены народом. Среди них много военных в формах своих стран: французы, англичане, американцы, бельгийцы. Кстати, американцы доминировали в этой толпе, выделяясь своим ростом и могучим разворотом плеч. На фоне субтильных французов и поджарых англичан они смотрелись настоящими гигантами, что совсем не удивительно, если вспомнить традиционно наш рацион питания. Много мяса и много-много молока. А плюс еще гамбургеры и мороженое.

Помню, я спросила у одного американского солдата, чего ему больше всего хочется по возвращении домой.

— Свежего молока, мэм! — последовал ответ.

Наблюдая за массовыми гуляньями парижан из окна отеля «Ритц», где мы расположились на постой, я думала: какое счастье, что фашисты не превратили этот прекраснейший город в руины, как это произошло со многими другими европейскими столицами. Впрочем, у Гитлера был свой сугубо прагматичный расчет в отношении Парижа. Нацисты планировали сделать из него впоследствии своеобразный увеселительный центр. Париж, с его знаменитыми на весь мир ресторанами и кабаре, тенистыми бульварами и роскошными авеню, как нельзя лучше, по их мнению, подходил на роль этакого туристического центра для богатых немцев, которые стали бы наезжать сюда семьями во время своих отпусков.

Из парижских впечатлений тех лет память сохранила облик Гертруды Стайн. Массивная, грузная, она напоминала мне прогуливающегося Будду, когда неспешно совершала свои долгие променады по улицам города, уже давно ставшего ее родным домом. В сопровождении неизменной спутницы, серой овчарки размером с хорошего пони, которая послушно бежала за ней на поводке. Со стороны они смотрелись довольно эксцентрично и даже немного жутковато: дородная величавая дама и похожий на монстра пес. Вместе они методично обходили Вандомскую площадь, потом перебирались на левый берег Сены, шли в сад Тюильри или на остров святого

Людовика. На всем протяжении своего маршрута Гертруда неизменно останавливала любого военного в форме армии США и начинала расспрашивать о его фронтовых впечатлениях.

У нее была своя теория по поводу войны и мира. По ее глубокому убеждению, войну можно искоренить только любовью. Если все будут любить всех, если каждый полюбит своего ближнего, говорила она, войны навсегда уйдут в историю. Звучало красиво, но не очень реалистично. Однажды я даже попыталась оспорить ее точку зрения. Стоя на оживленном парижском перекрестке, мы обе ввязались в жаркий спор, ибо Гертруда Стайн никак не могла понять, что же в ее теории не сработает при соприкосновении с реальной жизнью. И слава богу, что она этого не понимала. В одну из таких уличных встреч она пригласила меня к себе на чашечку чая. Обещала показать свою знаменитую коллекцию картин. Сказала, что каждый вечер в ее квартире собираются толпы народа. Среди них не менее дюжины американских военных всех родов войск, возрастов, званий и цвета кожи. К несчастью, уже на завтрашний день у меня была назначена очередная командировка, потом еще одна, и еще. Мой визит к Гертруде Стайн так и не состоялся. Наш диспут о благотворной роли всемирной любви остался незаконченным. А жаль! Впрочем, ее идею не смогли воплотить в жизнь даже те, кто трудится сегодня в здании ООН в Нью-Йорке.

Когда на одной из сессий Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций Никита Хрущев снял свой башмак и стал демонстративно барабанить им по столу, грубо мешая выступать очередному оратору на трибуне, я снова вспомнила Гертруду Стайн и подумала, что едва ли русский лидер руководствовался любовью к своим ближним. Как не хватало в тот момент присутствия в зале заседаний такой женщины, как Элеонора Рузвельт. Вот она уж точно сумела бы своим тихим голоском поставить этого зарвавшегося грубияна на место. Указала бы ему на угол, как плохо воспитанному и не в меру расшалившемуся мальчишке. Потому что, вопреки всем рассуждениям Гертруды Стайн о всемирной любви, хулиган остается хулиганом, а хулиганские выходки надо немедленно пресекать всеми возможными способами.

Итак, моя основная обязанность здесь, в Европе — освещать деятельность Военно-воздушных сил США. Честно признаюсь, ни одна из ранее известных мне гражданских организаций даже отдаленно не могла сравниться с военной авиацией по слаженности работы и четкости организации всех работ. Готова поспорить с кем угодно, что это именно так. Во мне говорит вовсе не азарт спорщика-новичка, согласного поставить на кон что угодно. Нет, это убежденность, приобретенная в ходе общения не только с летным составом, но и наземными службами обеспечения безопасности полетов.

Кстати, героями моих очерков становились и техники, и мотористы, и рядовые, и сержанты из состава срочнослужащих, словом, все, кто нес военную службу в американских ВВС. С сержантским составом и рядовыми встретиться было сложнее всего, ибо вышестоящее начальство старательно сводило мои контакты только к общению с летчиками-офицерами и бдительно следило за тем, чтобы мы питались исключительно в офицерских столовых. И это несмотря на все мои далеко не всегда самые вежливые протесты. Верно, офицерский паек был значительно калорийнее того, чем кормили солдат. А вот разговоры не казались мне столь же питательными для моего писательского аппетита. Через какое-то время я уже могла заранее смоделировать весь ход нашего общения. В первые же минуты знакомства из портмоне извлекалась фотография розовощекого бутуза десяти-двенадцати месяцев. Следом мне демонстрировали фото девочки, вполне годившейся в старшие сестры бутузу. Но нет! Девочка — надо же! — оказывалась очаровательной мамой очаровательного малыша, и начиналось бесконечное ностальгирование по семье.

Иногда среди собеседников встречались и вовсе малоприятные типы, озабоченные лишь накоплением как можно большего числа трофеев, благо немцы при отступлении в панике побросали массу добра. Трофейные ножи и фотоаппараты были практически у всех. К тому же немецкие беженцы охотно меняли на кусок хлеба все, что у них оставалось ценного: меховые манто, шубы и даже автомобили. Не скрою, некоторые из наших чересчур увлеклись подобным бизнесом, который лично мне казался ничуть не лучше того, чем занимаются кладбищенские воры. Что ж, вот еще одна малопривлекательная черта в том отвратительном действе, которое называется войной.

На занятых союзниками территориях установилось временное затишье. Короткий час отлива. Мир словно замер в ожидании наступления нового дня.

И одновременно безмерная тяжесть бездействия для сотен и сотен молодых людей, привыкших быть всегда в боевой готовности.

Короткий разговор на одной из наших баз в Неаполе.

— Показать вам, какой я смастерил радиоприемник, мэм?

— Сам смастерил? И из чего?

— Да практически из ничего. Насобирал на старом кладбище.

— Где-где? — переспрашиваешь ты почти с ужасом.

— Да здесь неподалеку есть свалка старых самолетов, которую местные называют «кладбищем». Там много чего валяется стоящего: всякие конденсаторы, обмотки, трансформаторы. А микрофон я извлек из старого телефона. И чудный получился приемничек. Послушайте, как он вещает, мэм!

Ох уж эта неизменная тяга американцев к технике! Едва научившись ходить, наши мальчишки тут же устремляются к отцовскому автомобилю. Или, на худой конец, к какому-нибудь завалящему драндулету, пылящемуся под навесом на заднем дворе.

— Посмотрите, мэм, какой отличный у меня получился скутер. Для рамы я приспособил кое-что из старого фюзеляжа, покрышки снял с задних колес вон того крохотного трофейного самолетика, а мотор соорудил из отработанных компрессоров. Правда, здорово получилось? А сейчас вот хочу заняться изготовлением автофургона для нашей авиабазы. Ничего сложного, мэм! Возьму старые упаковочные клети, в которых мы перевозили боеприпасы, покрашу, пролакирую все внутри, прорежу отверстия для окон, застеклю, и чудная получится повозка.

Странная атмосфера полумирной жизни. Нет, конечно, это еще не гражданка, но уже и не война. По вечерам музыка, на базе даже есть свой оркестр. И никакой самодеятельности! Вполне профессиональный джаз-банд: барабаны, трубы, даже пианино, невесть откуда взявшееся и невесть на что выменянное.

— Разрешите пригласить вас на танец, мэм! — следует вежливый поклон, которому моего юного кавалера обучили еще дома, в маленьком городке штата Огайо. В качестве партнерши я гожусь этому пареньку разве что в бабушки. Но других женщин поблизости нет.

— С удовольствием, — отвечаю я и, тряхнув стариной, вспоминаю полузабытые па. Когда-то я неплохо танцевала, только когда это было?

Мы продолжаем колесить по дорогам Германии. Шок от соприкосновения со всем, что видишь вокруг, шок от посещения бывших концлагерей в Бухенвальде и Освенциме. Германия лежит в руинах. В сопровождении офицеров направляюсь в центр Франкфурта. Стою на центральной площади и не узнаю города, в котором бывала когда-то еще давным-давно, в далекой юности. Все мосты через Майн взорваны, и их остовы зловеще возвышаются по обе стороны реки. Запах гари и тления в кварталах, изуродованных бомбежками. Кажется, что жизнь никогда не возродится в этих местах.

И вместе с тем картинки того, что заставляет задуматься и даже, как ни странно, восхититься. Среди нескончаемых кварталов руин неторопливо копошатся немцы. Да, они побеждены, но не сломлены, и это поражает. Они что-то там делают, пытаются хоть как-то привести в порядок окружающий их ландшафт. Несколько центральных улиц уже очищены бульдозерами от завалов. Редкие прохожие, мужчины и женщины, все опрятно одеты. Головки женщин в завитых кудряшках, шелковые чулки, аккуратная обувь, красивые, элегантные костюмы и плащи. Мужчины неспешно шествуют с тросточками и портфелями, разительно напоминая своим внешним обликом лондонских клерков, устремляющихся по утрам в Сити. И каждый несет в руке какой-нибудь сверток, небольшой пакет или толкает перед собой маленькую тележку. Немцы напоминают мне рачительных муравьев, чей муравейник был только что разрушен до основания. И вот сейчас каждый из них старательно тащит на своих плечах хотя бы маленькую досочку, чтобы поскорее заново отстроить свой дом. Проезжаем по сельской местности. Та же картина: мужчины и женщины, старики и дети, все в поле. Все, не разгибая спин, вручную, бросают в землю зерно, сажают овощи, приводят в порядок фруктовые сады. Пахотные земли, изрытые сотнями фугасов и бомб, начинают снова оживать. Мужчины и женщины впрягаются в деревянные плуги и тащат их по бескрайним полям. Вот такие они, эти немцы! Работать, работать, работать! Работать, чтобы жить, работать, чтобы выжить. Всецело сконцентрировавшись на своем занятии, они не смотрят по сторонам, не замечают посторонних взглядов. Они заняты, они работают. Везде, в Веймаре, в Майнце, во Франкфурте и в Касселе, по всей Германии. Они заняты возрождением своей страны. Со стороны такое впечатление, словно все эти люди много лет тому назад получили некий негласный приказ, как именно им следует поступать в случае совершенно немыслимого, как им тогда казалось, поражения. И вот поражение свершилось, и они снова работают. Впряглись в работу не только ради того, чтобы выжить сегодня, но и ради завтрашнего дня страны. Поразительно! Кажется, впервые я начинаю понимать, почему сталь в Германии намного дешевле, чем в Соединенных Штатах. А строительную сталь американцы всегда покупали и продолжают покупать у немцев.

Я страстно хочу побывать в Берлине. Собственными глазами увидеть логово зверя, поверженного в прах. Я хочу увидеть этот город павшим, убедиться, что, несмотря ни на что, справедливость восторжествовала. Увы, в Берлин 1945 года я так и не попала.

Вначале мне отказали наши штабисты в Париже. Тогда я обратилась в Госдеп в Вашингтоне, снова отказ. В порыве отчаяния я написала президенту. И получила все то же «нет» в ответ.

Правда, после моего обращения в эту самую высшую инстанцию последовали кое-какие объяснения от представителя американского командования в Париже. Объяснения были даны мне в неформальной обстановке, как бы между делом.

— Вы же знаете, корреспондентам запрещен въезд на территорию Берлина.

— Но почему? — наивно удивляюсь я.

— Русские категорически против, — подводит генерал черту под своим объяснением, не вдаваясь в излишние подробности.

Я вспоминаю, как Уинстон Черчилль, искушенный и умный политик, чьей интуиции я всегда доверяла, буквально умолял генерала Эйзенхауэра и других наших начальников из военного ведомства в Вашингтоне сделать направлением главного удара союзнических сил именно Берлин. Но генерал Эйзенхауэр ответил тогда, что Берлин не является стратегически важным объектом. И вот результат. Порой я думаю, что фундамент знаменитой Берлинской стены был заложен еще в те далекие майские дни 1945 года.

Говорят, если тебя сбросит на землю лошадь (или даст пинок судьба!), то нужно во что бы то ни стало снова вскарабкаться в седло и скакать дальше. В противном случае ты так и проваляешься на обочине до конца дней своих. Хороший совет, вот только это не всегда срабатывает в реальной жизни. Да и куда, скажите на милость, карабкаться, если ты всю свою жизнь прожил пешеходом?

По возвращении домой я с ужасом обнаружила, что не могу больше писать. Впервые за многие десятилетия с тех давних пор, когда я семнадцатилетней девчонкой рыскала по своему родному городку в поисках свежих новостей, я ничего не пишу. Это кажется странным и ставит в тупик. Проходят дни, и я начинаю заметно нервничать. Такое впечатление, что моя лошадь не просто ускакала далеко вперед, а уже даже скрылась из виду. Так проходит лето, наступает осень. Я возвращаюсь из загородного дома в Нью-Йорк. Город снова сияет разноцветьем огней. Правда, немного пожух за годы войны, но все так же ослепительно ярок в свете ночной рекламы. А я по-прежнему ничего не пишу.

Даже дневниковые записи скукожились до двух-трех строчек. А иногда хватает и одного слова, брошенного на бумагу так, как бросают голую кость голодному бездомному псу. Как говорят в таких случаях те, у кого ты берешь интервью, «без комментариев».

С марта 1945 года, с того самого момента, как я была прикомандирована к штабу ВВС США в Европе, и до 1 января 1946 года в моих дневниках вообще отсутствуют какие бы то ни было пометки.

Шок, пережитое потрясение от посещения концлагерей, колоссальное количество горя и разрухи. Я морально и физически раздавлена. Я готова отречься от всего человеческого рода. Я не могу больше писать. Наверное, любой психиатр, обратись я к нему в тот момент за помощью, объяснил бы мое состояние именно эмоциональным стрессом. Однако внешне все о’кей. Я методично продолжаю вести прежнюю жизнь: ежедневные прогулки, встречи с друзьями, регулярные культпоходы в театр. Я начала есть много мяса, огромные куски стейка за обедом. Благо, этот главный поставщик протеина в наш организм стал снова повсеместно доступным. И еще много сплю. Помню, в те месяцы я спала, спала и спала, и все никак не могла отоспаться. Наверное, именно сон и вернул меня к жизни. Постепенно кошмары увиденного начали отступать, и меня снова потянуло к письменному столу, к пишущей машинке. Я даже попыталась размять пальцы рук, два указательных, левый мизинец и правый средний, с помощью которых я, в общем-то машинистка-самоучка, напечатала десятки, сотни тысяч слов за все предшествующие десятилетия работы. Эти робкие попытки напечатать хоть что-то на чистом листе бумаги напоминали мне ежедневные упражнения балерин у станка, которыми они изводят себя, чтобы постоянно быть в форме.

Но шаг за шагом былая форма действительно возвращается ко мне. И вот уже вышел из печати сборник моих рассказов под названием «В одной корзине», тридцать одна короткая новелла. Я написала специальное предисловие к этому сборнику. Позволю себе процитировать небольшой фрагмент из него, вполне уместный в контексте моего повествования.

«Всю свою жизнь я писала, в первую очередь, для собственного удовольствия. Никогда, за исключением военных лет, я не работала на заказ, на заданную тему или сюжет. Впрочем, для меня война — это годы, целиком изъятые из жизни. Война — это какой-то чудовищный нарост на теле человеческой цивилизации, наподобие раковой опухоли… Из всего того, что было написано мною за годы Второй мировой войны, я включила в новый сборник два рассказа. Один называется «Все места в гостинице заняты», второй — «Бабушка вовсе не шутит». Замысел первого рассказа возник у

меня спонтанно, как своеобразная реакция, с помощью которой я смогла выразить охватившее меня возмущение от той несправедливости, свидетелем которой я стала в реальной жизни. Второй рассказ был написан по заданию Союза военных писателей. Это самый настоящий образчик типичной пропаганды, который был включен мной исключительно в качестве наглядного примера. Потому что в результате на свет все же появилась не чисто пропагандистская агитка, а довольно трогательная история, написанная на уровне вполне хорошей прозы. Вот так иногда случается в писательской жизни, правда, не так часто, как того бы хотелось».

Второй день победы, объявленный в сентябре после завершения разгрома Японии, я встречаю в Нью-Йорке. И снова толпы ликующих людей на улицах. Массивные двери Собора святого Патрика на Пятой авеню распахнуты настежь: нескончаемая вереница верующих, стремящихся попасть на службу. Мужчины (среди них многие в военной форме), женщины, дети, некоторые несут детей на руках. Все правильно, думаю я. Собственно, именно для этого и нужны храмы: чтобы давать страждущим укрытие в годину испытаний или снимать напряжение от переполняющих чувств в годину радости. В эту ночь в Нью-Йорке церкви всех конфессий оставались открытыми, католические, протестантские, еврейские. Везде люди молились, вознося хвалу Всевышнему за обретенный мир. Ближе к вечеру нескончаемые людские потоки заполняют Бродвей и Сорок пятую улицу. Наконец-то Нью-Йорк гуляет, как в старые добрые времена. Сами собой люди выстраиваются в колонны, и вот уже стихийная демонстрация, размахивая многочисленными флагами, двинулась по центральным улицам города.

— Я живой! — кричит мне какой-то молоденький солдатик, бегущий навстречу в угаре всеобщего ликования. — Я остался в живых, мэм! Представляете? Война закончилась, а я жив!

Наверное, мы еще не все знали и не все понимали в тот уже давно ушедший день. Пролистывая дневники 1946 года, натолкнулась вот на такую, весьма неприятную запись, больно царапнувшую меня своей простодушной наивностью.

«10 января. Прием в честь летчиков, принимавших участие в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Публика оживлена, все веселы. Весь вечер гостей развлекал своим пением Бинг Кросби. Вокруг полно корреспондентов, представляющих глянцевую прессу. По всему залу вспышки фотокамер».

Сегодня, с высоты прожитых лет, мне уже не кажется, что бомбардировка, какой бы эффективной она ни была, есть достаточно веский повод для всеобщего веселья и радости. Но это сегодня, а тогда?

— А знаешь, у меня возникла идея, — делюсь я планами со своим старым добрым приятелем Джорджем Кауфманом. — Я решила написать комедию о еврейских беженцах, которые, спасаясь от нацистов в годы войны, очутились в Нью-Йорке.

— Комедию? — удивляется маститый драматург, в соавторстве с которым я уже написала несколько пьес с вполне успешной сценической судьбой. — Ужасно!

— Что «ужасно»?

— Ты находишь такой сюжет подходящим для комедии? Гитлер и Муссолини на заднем плане, в качестве фона, да?

— Да нет же! — раздражаюсь я из-за того, что меня неправильно поняли. — Ты просто забыл, что иногда даже самые трагические события могут стать хорошим материалом для комедии. Представь себе старый обветшалый дом на окраине Нью-Йорка, где-нибудь в Вестсайде. Не дом, а настоящий барак: общая кухня, общая столовая, все общее. И это при том,

что в квартире поселяется не семья, а совершенно чужие друг другу люди, которых свела трагическая судьба. Среди них — масса колоритных персонажей. Писатель, в прошлом достаточно успешный драматург. Актриса, дама чуть за тридцать, блиставшая некогда в оперетках на театральных подмостках Вены, молоденькая балерина из Берлина, разорившийся промышленник, талантливый молодой ученый, кто-нибудь еще. Надо подумать! Всего человек двенадцать, не более. И вот они все очутились в этом своеобразном Ноевом ковчеге без денег, без каких-либо средств к существованию, без работы и перспектив ее найти, без друзей и знакомых. Словом, одни в чужом городе и в чужой стране. Каждый проходит через свой ад, но в конце концов…

В конце концов я уговорила Кауфмана, и мы таки написали комедию, которую назвали нарочито броско: «Браво!» Именно так, с восклицательным знаком в конце.

Пьеса была моментально принята к постановке в одном из самых престижных нью-йоркских театров «Лицеум». Тотчас же начались непрерывные репетиции сразу несколькими составами. Близился к концу 1948 год, и все хотели успеть с премьерой к Рождеству.

Тот факт, что премьерный показ комедии состоится в «Лицеуме», я восприняла как хороший знак. Ведь именно на подмостках этого респектабельного и консервативно чинного театра тридцать три года тому назад, в 1915 году, состоялся мой театральный дебют в качестве драматурга. Тогда здесь с большим успехом прошла моя первая пьеса «Наша миссис Макчезни» с несравненной Этель Барримор в главной роли.

Было решено, что в спектакле будут заняты в основном актеры-эмигранты, многие из которых лично пережили многое из того, о чем рассказывается в пьесе. Увы-увы, одной человеческой аутентичности европейских актеров оказалось недостаточно для того, чтобы растопить сердца искушенной нью-йоркской публики. Что ж, приходится признать, что зарубежные актеры, как и некоторые импортные вина, не всегда успешно переносят все тяготы пути, сопряженные с транспортировкой через океан. Впрочем, вполне возможно, те же проблемы возникают и у американских актеров в Европе.

Однако первые сбои на репетициях меня не обескуражили, и я все еще была полна самых радужных надежд, предвкушая новый триумф. А почему бы и нет? «Лицеум» не подвел меня тогда, тридцать три года тому назад. Не подведет и сейчас, самонадеянно полагала я.

Уже на первом показе пьеса потерпела сокрушительный провал. Один из столичных критиков поместил в газете разгромную рецензию на премьеру под весьма остроумным названием «Браво?», поменяв наш восклицательный на свой вопросительный знак. Экий озорник! Его критический разбор был безжалостным и не оставил камня на камне ни от самой пьесы, ни от ее театрального воплощения. Пьеса была снята с репертуара ровно за неделю до Рождества. Огромная трагедия для любого театра, не говоря уже об артистах, которые были заняты в спектакле. Я чувствовала себя самой настоящей преступницей, по вине которой пострадало столько невинных людей. К чести Кауфмана, он потом ни разу в жизни не упрекнул меня в столь позорном фиаско. Никаких намеков типа «Я же тебя предупреждал!».

Что ж, порой холодный душ неудачи бывает полезнее для творческого здоровья автора, чем самый ошеломляющий успех. Так, объевшись сладким, нас иногда тянет на соленое или кислое. Парадоксально, но во мне внезапно проснулся волчий творческий аппетит, и мне страстно захотелось писать. И не что-нибудь там по мелочам. Я решила осуществить свою давнюю мечту и замахнулась сразу на большой роман из жизни Техаса. Я уже даже название придумала: «Гигант».

Прошло десять лет с тех пор, как я впервые побывала в Техасе. Целых десять лет, вместивших в себя все ужасы войны и постепенное возвращение к мирной жизни. И не все в этом возвращении было столь гладким и обнадеживающим, как это нам представлялось в тот день всеобщего ликования, когда молодой солдатик кричал мне: «Я жив, мэм!»

Иногда я корила себя за собственное неприятие того, что творится вокруг. Ты — сердитая злая старуха, повторяла я себе в сердцах, ты просто злишься на таких же сердитых, но еще молодых людей, отставших от тебя, по крайней мере, на целых два поколения.

Но, кажется, волна разочарования, которая с головой накрыла меня в те первые послевоенные годы, докатилась до многих. Все напряжение военных лет, духовное, интеллектуальное, физическое, вдруг спало, и людей охватила страшная апатия и безразличие. Мы, словно вещи, вышедшие из употребления, вдруг оказались никому не нужными. И одновременно с этим в страну безудержным потоком хлынули невиданные деньги и новые, просто сказочные богатства, ибо весь мир нуждался в американских товарах, в продукции наших заводов и фабрик.

Да, верно, в те годы мы щедрой рукой раздавали чеки на миллионы и миллиарды долларов всем, кому была нужна помощь, наивно полагая, что за это нас полюбят. Но богатый дядюшка Сэм вызывал у бедных просителей лишь скрытое презрение. «Да, бери у них все, что дают, — фыркал очередной наш должник. — Эти ребята своего не упустят. У них и так все через край валится».

И в чем-то они были правы: наша экономика переживала явный бум. Страна богатела невиданными темпами. Да и как же иначе? Ведь второй раз за четверть века Америка осталась в стороне от страшных катаклизмов мировой истории, не пережив и тысячной доли тех потрясений, которые выпали на страны, территории которых превратились в театр военных действий.

Но странное дело, всеобщее благоденствие породило паралич духа. Страшные миазмы безразличия, всеобщей бездуховности, распущенности расползались по стране, пожирая, подобно раковым клеткам, еще вчера совершенно здоровые органы.

А еще этот телевизор! Леса антенн на крышах американских домов издали были похожи на самые обычные громоотводы, которые устанавливают у себя на домах деревенские жители, чтобы защитить постройку от ударов молнии. Вот только функция у этих металлических конструкций была совсем иной. Телевидение очень быстро отучило американскую нацию читать, разговаривать, двигаться, думать. Вместо этого — непрерывно болтающий ящик в углу. Красота, да и только! Ящик думает вместо нас, он решает за нас, потому что лучше знает, что и как. И все покорно приняли его диктат, угодливо склонившись перед новым идолом.

И реклама, реклама, реклама.

Покупайте последнюю модель такого-то автомобиля.

Самый богатый выбор норковых манто только в нашем магазине.

Курите только сигареты этой марки.

Стирайте белье только этим порошком.

И вообще, *покупайте сегодня, заплатите завтра*.

В хлопотах послевоенной жизни мы как-то и не заметили, что рядом с нами подросли дети войны, дети, которых социальные работники сороковых называли не иначе, как «дети с ключами на шее». Да, именно так! Всю войну эти детишки были предоставлены сами себе: отец на фронте, мать днюет и ночует на каком-нибудь оборонном предприятии или мобилизована на работу в военный госпиталь. И вот малышу вешается на шею шнурок с ключом от дома, чтобы, вернувшись из школы, он самостоятельно себя

покормил, обслужил и уложил спать. Так эти дети и росли, поднимая самих себя, растерянные, сбитые с толку, недополучившие тепла и родительской ласки. Не из этого ли поколения детей войны мы и получили впоследствии поколение битников? Выросшие на улице, предоставленные сами себе, дерзкие и непослушные дети 1941—1948 годов выросли и превратились в таких же дерзких уличных хулиганов, но только уже взрослых. Бедные дети, бедные взрослые.

Всякий раз, приступая к новому роману, я вначале собираю материал для будущей книги, провожу, так сказать, предварительные исследования. Так было и с «Дорожным сундуком из Саратоги», и с «Плавучим театром», и с «Американской красавицей», и со всеми остальными моими романами. На подготовку уходило достаточно много времени, но все равно это были сущие пустяки по сравнению с той работой, какая предстояла мне в Техасе.

Штат Техас — это огромная территория, и на ней смешалось все. Техас — это и Мексика с ее испанской культурой, и Америка с ее неизменной яичницей на беконе, которую подают на завтрак в каждом американском доме. Это и роскошь особняков на Пятой Авеню, и бескрайние просторы Дикого Запада, заросшие огромными экзотического вида кактусами. И в людях, которые живут здесь, тоже мирно уживаются доброжелательность и заносчивость, радушие и настороженность, миролюбие и воинственность, простота и хитрость. Надо признать, природа щедро одарила Техас всем, но безграничность территорий и природных богатств стали, как ни странно, для этого штата не только благом, но и злом. Всего слишком много, и это явно раздражает чужаков.

Отдельная тема — это речь техасцев. Поначалу я никак не могла привыкнуть к ней.

Вот ты разговариваешь с типичным жителем штата. Крупный, загорелый мужчина с обветренным на солнце лицом говорит тебе на прощание своим мягким, почти мелодичным южным говором:

— Надеюсь, мэм, вы еще не раз приедете в нашу страну.

— О, а я думала вы — коренной житель Техаса.

— Так оно и есть, мэм.

— Да, но вы только что сказали «в нашу страну».

— Да, мэм! К нам, в Техас.

Оказывается, для техасцев — известное выражение «моя страна, хороша она или плоха, но это моя страна» означает отнюдь не всю страну в целом, то есть не всю их большую родину. Для местного жителя «страна» — это исключительно собственное ранчо плюс (минус) несколько сот миль в пределах штата, ибо здесь привыкли манипулировать большими расстояниями, и они никого не пугают.

На выходе из ресторана улыбчивый метрдотель напутствует вас:

— Возвращайтесь скорее!

Что для этих мест эквивалентно дежурной фразе «Будем рады увидеть вас в нашем заведении еще раз».

Долго не могла привыкнуть к тому, как техасцы произносят односложные слова. Они их растягивают, превращая один слог в по меньшей мере два.

— Эй-ди! — кричит моя приятельница Мэй, вызывая откуда-то из глубины дома своего мужа, огромного верзилу по имени Эд.

Кажется, впечатлений более чем достаточно. Пора возвращаться домой и садиться за работу. Всю зиму 1949 года, всю весну я безотрывно сижу в своей нью-йоркской квартире и строчу роман.

Я очень люблю свою страну. И очень люблю американцев. «Вы только подумайте, — не перестаю я твердить оппонентам, — американцы создали свою страну голыми руками. Всего каких-то триста пятьдесят лет назад все эти люди приехали сюда, на эти девственные земли, имея при себе только

топор и лопату. Горстка энтузиастов, без денег, без крыши над головой, без какой-либо помощи и защиты извне. Ну, и где еще в мире было что-то подобное?»

Да, я люблю американцев, но одно меня раздражало всегда и продолжает раздражать по сей день. Их наивность, та самая святая простота, которая может быть очаровательной, когда тебе восемнадцать. Но в сорок пять это уже, извините, перебор! А Америка по своему возрасту как раз и относится к категории людей среднего возраста. Увы, наивность американцев осталась точно такой же, какой была триста пятьдесят лет тому назад. Мир вокруг них стал совершенно другим. Ушли в прошлое лопаты и мотыги, вместо них бульдозеры, тракторы, грейдеры. Руки современного американца сжимают сегодня не черенок топора, а руль автомобиля, или нажимают на кнопку телевизора, настраивая его на нужный канал, но ничего не меняется в природной ментальности моих соотечественников. И они по-прежнему свято верят в то, что матерого серого волка можно приручить, погладив его по голове и обозвав «моим песиком».

Так, к примеру, только в Америке существует категория читателей, искренне убежденных в том, что чем скучнее книга, тем она значительнее. А уж если книгу и вовсе невозможно читать, то тут наверняка мы имеем дело с Великой книгой.

А еще одно забавное наблюдение, связанное с нашими читателями (впрочем, и с критиками тоже), это то, что они напрочь отказывают писателю в наличии у того творческого воображения, силой которого может сотворить героя буквально из ничего, то есть из собственной фантазии. Но нет! Все они, и рядовые читатели, и маститые обозреватели, пребывают в приятном заблуждении (и их почти невозможно убедить в противном), что писатель берет из жизни готовые характеры или ситуации и просто описывает их.

Помнится, когда много лет тому назад вышел в свет мой роман «Плавучий театр», практически все театры на воде, существовавшие на тот момент в Соединенных Штатах, в один голос заявили, что это именно они стали прототипом того театра, который описан в романе. Более того, некоторые даже угрожали мне судебными исками за якобы клевету на них. По мере того как росла известность книги, на основе которой впоследствии был написан популярный мюзикл и даже снят фильм, они постепенно утратили интерес к моей персоне и перешли уже на выяснение отношений между собой, оспаривая друг у друга пальму первенства. Газеты почти всех провинциальных городков, в которых существовали плавучие театры, писали пространные статьи о том, что это именно их город, их река и их театр описаны в моем романе с точностью один к одному. Более того, каждую весну, с открытием навигации на реках, я стала получать пачками приглашения совершить небольшой круиз вниз по Миссисипи, Миссури или по Огайо на одном из таких плавучих спецподразделений Мельпомены.

Нечто подобное происходило и с остальными моими романами. А потому я с некоторой тревогой ожидала того момента, когда роман о Техасе предстанет перед читающей публикой. Как оказалось, мои страхи были не напрасны. Появление романа «Гигант» вызвало бурю негодования в Техасе. Пресса изобиловала многочисленными статьями, полными возмущения и нелицеприятных реплик в адрес автора книги. Многие из этих замечаний были столь оскорбительными по форме, что я поначалу даже отказывалась верить своим глазам. Неужели свобода прессы в нашей стране продвинулась так далеко, спрашивала я себя. В те годы, когда я сама подвизалась на ниве журналистики, ни одна уважающая себя газета не посмела бы напечатать ничего подобного.

А тут еще Голливуд задумал экранизировать роман, пригласив в качестве режиссера Джорджа Стивенса. Стивенс решил снять масштабно

эпохальное полотно и даже любезно пригласил меня поприсутствовать на натурных съемках непосредственно на месте действия романа, то есть в самом Техасе. И в результате копилка моих знаний о своеобразии жителей этого американского штата пополнилась новыми наблюдениями. Помнится, как-то днем мы с режиссером и сценаристом сидели за столиком во внутреннем дворике ресторана при отеле, в котором я остановилась, и вкушали свою дневную трапезу. И вдруг по внутреннему радио громко объявили мое имя, следом в патио появился рассыльный и, подойдя к нашему столику, передал мне телеграмму. Я пробежала послание глазами, после чего разговор наш вернулся к прежней теме, то есть к сценарию будущей кинокартины. В этот момент в дворик вбежал запыхавшийся Генри Гинзберг, один из продюсеров фильма. Закутавшись в пляжное полотенце, которое нелепо било его по ногам, мешая идти, он ринулся к нашему столику. Дело в том, что в момент объявления по радио Генри коротал досуг, загорая возле бассейна. Его сосед, загоравший рядом с ним, услышав мое имя, страшно возбудился.

— Что? — заорал он во все горло. — Кого он только что назвал?

Ничего не подозревающий Генри сказал, что разыскивается Эдна Фербер, для которой имеется срочное сообщение.

— Где она? — с новой силой завопил незнакомец, вскакивая со своего лежака. — Я сейчас убью ее!

То был настоящий техасец, и Генри ни на минуту не усомнился в твердости его намерений. А потому стремглав бросился к нам, чтобы предупредить меня о грозящей опасности.

Но было уже поздно. Мой потенциальный убийца, джентльмен весьма внушительных габаритов, облаченный в роскошный махровый халат, уже шел к нам, яростно посверкивая глазами. Взглянув на него, я вдруг вспомнила корриду, виденную мною когда-то в Сан-Себастьяне. Техасец был похож на разъяренного быка, мчавшегося напролом, ничего не видя перед собой. Отступать было некуда. Я сделала шаг навстречу и протянула руку для приветствия.

— Меня зовут Эдна Фербер, — отрекомендовалась я, не дожидаясь кровавой развязки. — Говорят, вы хотите меня убить?

И — о чудо! На наших глазах произошло волшебное превращение свирепого быка в ласкового теленка.

— Вот что я скажу вам, мэм! — промямлил верзила неожиданно тихим голоском. — Напрасно вы в своей книге выставили нас, техасцев, в таком смешном свете. Что б вы знали, здесь живут славные ребята. Очень славные!

После чего обед был продолжен, но уже в расширенном составе, с участием грозного представителя штата Техас. И действительно, наш новый знакомый оказался славным малым, дружелюбным и разговорчивым. Очень скоро из бумажника были извлечены фотографии его супруги и деток, которые он с гордостью продемонстрировал нам. Вспыльчивость и добродушие в характере техасцев, а потому я, в отличие от своих спутников, совсем не удивилась такой развязке.

Впрочем, со съемками кинофильма «Гигант» у меня связано еще одно воспоминание, на сей раз действительно по-настоящему трагичное. Одну из главных ролей в кинофильме играл молодой и очень талантливый актер Джеймс Дин, новая восходящая звезда кинокомпании «Уорнер Бразерс». Парень, к тому же, был очень хорош собой, являя несколько утонченный тип красоты в сочетании с бурным темпераментом и полной непредсказуемостью поведения и на съемочной площадке, и в жизни. Но мальчишка был чертовски талантлив, а потому ему прощались многие его сумасбродства. Среди которых наиболее опасной была безудержная страсть Дина к

гоночным машинам, на которых он носился по дорогам как сумасшедший, и отдаленно не придерживаясь никаких правил дорожного движения. Зная об этом смертельно опасном хобби артиста, кинокомпания, утверждая его на одну из главных ролей в новом фильме, даже оговорила специальный пункт в контракте. Дин не должен был и близко подходить к гоночным автомобилям, не говоря уже об участии в автогонках, до момента завершения съемок кинофильма «Гигант».

И действительно, на съемочной площадке Дин вел себя с ангельским послушанием, словно образцовый маменькин сынок. Ни одного нарекания со стороны режиссера или партнеров, таких прославленных кинозвезд, как Элизабет Тейлор и Рок Хадсон.

И вот, наконец, съемки картины завершены. Осталось доснять лишь несколько незначительных эпизодов, уже в павильонах киностудии, и, возможно, переснять пару сцен, не имеющих, впрочем, принципиального значения для сюжета в целом.

На следующий же день после завершения съемок Джеймс купил себе новый гоночный автомобиль порше, способный развивать скорость более ста двадцати миль в час. Наверное, именно такую скорость он и развил в тот роковой час, когда мчался на очередные состязания по скоростным гонкам. В какой-то момент Дин не вписался в поворот, машина на всей скорости вылетела на обочину и несколько раз перевернулась. Очевидцы происшествия рассказывали, что артист погиб на месте, а его тело буквально вырезали из груды металла.

Накануне этой нелепой трагедии на мой нью-йоркский адрес пришло письмо из Голливуда. Джеймс Дин прислал мне свою фотографию на память с трогательной надписью. Он был сфотографирован в гриме Джетта Ринка, героя, которого сыграл в фильме «Гигант». Я тут же поторопилась отписать благодарственный ответ.

Помнится, я еще тогда написала, что, взглянув на снимок, я вдруг обнаружила удивительное сходство молодого артиста с прославленным театральным актером Джоном Барримором, блиставшим на сценах американских театров в двадцатые годы.

«Впрочем, вы еще слишком молоды и едва ли застали его на сцене, — писала я. — Но ваше внешнее сходство поразительно! Надеюсь, страсть к автомобильным гонкам не помешает вам сохранить это сходство как можно дольше».

Позже мне рассказали, что Дин получил письмо в день гибели, так и не успев прочитать его.

А сейчас поговорим о женщинах. У героинь всех моих книг, романов, пьес, рассказов, написанных мною за последние полвека, есть много общего. Например, сила духа, мужество, острая интуиция, умение предвосхищать события и, конечно, искренность чувств. Не то чтобы я задавалась такой целью специально. Так получалось само собой, непроизвольно, наверное, потому что в глубине души я, если признаться честно, вполне искренне полагаю, что женщины, и в частности американки, гораздо сильнее своих собратьев. И умнее, и искреннее, и предусмотрительнее, и гораздо способнее во многих других сферах нашей жизни.

Из этого вовсе не следует, что американки играют в футбол лучше, чем их соотечественники. Или эффективнее заколачивают гвозди, быстрее преодолевают дистанцию в одну милю, или на их счету больше прекрасных опер, замечательных художественных полотен или великих книг. Нет, нет и еще раз нет!

Наделяя женщин всеми перечисленными выше качествами, я говорю не об их превосходстве над мужчинами, а лишь о том, что представительницы слабого пола по своей натуре гораздо крепче, я бы даже сказала, прочнее,

чем мужчины. Такая выносливость заложена в них самой природой, и им под силу многое, очень многое. Мне даже кажется, что если бы женщины захотели, то они могли бы править миром. Впрочем, вполне возможно, к этому все и идет. Достаточно только взглянуть на некоторые цифры нашей статистики, опубликованные за 1960 год. Оказывается, согласно этим показателям, женщины составляют в Америке одну треть общенациональной рабочей силы. Более того, на их долю приходится половина богатств нашей страны. А еще, если бы все американки пожелали объединиться в некую одну политическую силу, руководствуясь исключительно принципом половых различий (не дай бог дожить до такого!), то они бы смогли провести своего кандидата на пост Президента США уже в 1964 году.

Итак, между мужчиной и женщиной тьма различий. Мы, женщины, как правило, менее романтичны и чаще смотрим на жизнь исключительно под практическим углом зрения. Мы не так легковерны и не страдаем излишней чувствительностью. Вполне возможно, все эти качества сформировались в нас исторически, в силу того, что на протяжении многих веков женщину было принято считать существом второго сорта. Даже у нас, в Соединенных Штатах, женщина стала полноправным членом общества, получила избирательные права и другие политические свободы всего лишь каких-то несколько десятков лет тому назад.

Впрочем, нигде различия между мужчиной и женщиной не проявляются так выпукло, как на бытовом уровне. Достаточно только понаблюдать, как мы выбираем подарки своим близким. Большинство продавцов отлично знают, что мужчина-покупатель — это самый простой клиент, которого даже не надо уговаривать совершить покупку. Разглядывая предложенную ему в качестве потенциального подарка вещь, будь то духи, драгоценности, мех или нарядное платье, он, скорее всего, тут же поинтересуется у продавщицы:

— Скажите, а вы бы надели такое в театр? На вечеринку? На прием в Белый дом?

— О, сэр, да любая женщина будет в восторге от такого подарка! — пылко заверяет его продавщица.

— Да? Ну, раз так, значит, я беру.

Иное дело уломать женщину.

«А у вас есть что-нибудь такое же, но подешевле?», «Нет, это ему точно не понравится!», «Нет, это он никогда не наденет! Покажите что-нибудь еще!», «Нет, это мне не нравится, а муж всецело полагается на мой вкус», и так далее, до бесконечности.

Но быт бытом, а в мировой истории полно имен женщин, прославивших себя в самых разных областях человеческой деятельности. Достаточно вспомнить Марию Кюри, сестер Бронте, Сару Бернар, Флоренс Найтингейл и многих других.

Более тридцати лет я носилась с идеей написать роман об одной из таких великих женщин, чье имя, впрочем, не так на слуху, как имена тех, кого я перечислила выше. Что совсем не умаляет величие этой по-своему уникальной женщины. Я имею в виду Абигейл Адамс, жену второго президента США Джона Адамса и мать Джона Куинси Адамса, нашего шестого президента. Это была милая и очень тихая женщина, послушная дочь и примерная жена. Впрочем, в ту эпоху все эти качества вменялись женщине в обязанность. Но Абигейл была еще и умна, у нее был характер, и она имела свое мнение на многое из того, что происходило вокруг, не боясь открыто высказывать его.

Отцы-основатели американской демократии работали тогда над главным документом страны — нашей Конституцией. Никто не станет оспаривать тот факт, что они проделали просто блестящую работу, но их исто-

рическая миссия приобрела бы еще больший блеск и величие, если бы умница и интеллектуал Джон Адамс прислушался к словам своей жены.

Я почти воочию представляю себе сцену их разговора.

Поздний вечер. Джон сидит у себя в кабинете, погруженный в ворох бумаг. К нему неслышно подходит жена.

— Джон!

— Да, дорогая! — говорит он, не отрываясь от работы.

— Джон, я хочу сказать тебе одну вещь.

— Прости, дорогая, но я очень занят. Ты же знаешь, завтра у нас состоится очередное заседание по поводу обсуждения проекта Конституции. И мне надо…

— Вот именно об этом я и хочу с тобой поговорить. Джон, пожалуйста, не забывай о женщинах.

— Как это? — Адамс поднимает голову и смотрит на жену испытующим взглядом.

— Я хочу сказать, что мы, женщины, тоже являемся гражданами своей страны. И точно так же работаем во имя ее блага, разве не так? Мне кажется, что в будущей Конституции Соединенных Штатов Америки вы должны заложить равные права для мужчин и женщин. Вот тогда это действительно будет документ на века, достойный пример для подражания всем остальным народам мира. А потому прошу тебя, Джон, не забывайте о женщинах.

А вот уже и документальные строки из письма Абигейл мужу, датированного 1776 годом. И сколько горечи в этих словах. *«Провозглашая мир и добрую волю для мужчин, освобождая все нации, вы настаиваете на сохранении абсолютной власти над женами».*

Разумеется, Джон не прислушался к совету жены и забыл о ее наказе. Абигейл не участвовала в голосовании за избрание своего мужа президентом в 1796 году, ибо тогдашняя американская конституция не наделила ее таким правом. Не голосовала она и за сына, потому что он пришел в Белый дом в 1824 году, то есть спустя всего лишь 28 лет после своего отца.

Но какая прозорливость! Какая историческая и человеческая проницательность! Я не перестаю восхищаться Абигейл Адамс, когда-то мечтала написать о ней биографический роман и назвать его так: «Не забывай о женщинах». Увы, скорее всего, этому замыслу уже не суждено осуществиться. Не он первый, не он последний.

Если же говорить о современницах, то, бесспорно, одной из наиболее ярких личностей на ниве отечественной словесности я считаю Эдит Гамильтон. Наверное, не только я одна, прочитав ее книги, задаюсь вопросом: «Ну почему все эти почтенные и уважаемые члены комиссий и комитетов, которые занимаются присуждением Нобелевских или Пулитцеровских премий, почему они так бессовестно проспали появление столь неординарного таланта? Почему не увенчали эту замечательную женщину еще при жизни одной из тех позолоченных медалей, знаков лауреатства, которые они с такой легкостью раздают другим?»

Книга Эдит Гамильтон «Греческий путь» лично мне представляется одним из наиболее значительных произведений, которое появилось в американской литературе за последние сто лет. А ведь это была ее первая книга. И написала она ее в возрасте шестидесяти трех лет.

Читать книгу — одно наслаждение: это все равно, что подставлять лицо и руки под живительные струи целебного источника. Только не надо читать ее слишком быстро. Одну, две страницы. От силы одну главу. На первый взгляд, книга рассказывает о славном прошлом греческой цивилизации. Но не только об этом. Она полна философских размышлений, ярких исторических реминисценций, позволяющих освежить в памяти свои зна-

ния о прошлом и проникнуться надеждой на будущее, ибо, как известно, история — это лучший учитель для тех, кто хочет учиться на ошибках других. И недаром в предисловии к повторному изданию «Греческого пути», куда писательница включила несколько новых глав, сама она сказала об этом так:

«Когда я писала эти новые, дополнительные главы, то особенно остро почувствовала, какой надежной опорой и помощником может быть для всех нас прошлое в столь непростое, тревожное время, которое мы сегодня переживаем».

К сожалению, я не была лично знакома с Эдит Гамильтон и даже ни разу не встречалась с ней. Но заочного знакомства с писательницей по ее книгам мне вполне достаточно, чтобы с твердой уверенностью заявить, что минувшие тридцать лет не прошли бесследно для ее творчества и она смогла в полной мере реализовать и свои возможности, и свой талант.

А теперь один забавный эпизод, связанный уже с моей литературной карьерой. В начале 1950 года я провела несколько приятных недель в Европе, которая уже стала потихоньку забывать о перенесенных недавно ужасах войны. Домой я возвращалась на роскошном океаническом лайнере «Куин Элизабет». По прибытии судна в Нью-Йорк пассажиров атаковали десятки корреспондентов, фото- и кинорепортеров. Я тоже попала в плотное кольцо журналистов. Признаюсь честно, не люблю давать интервью. И никогда не любила. Ибо еще с тех давних пор, когда сама работала газетным репортером, хорошо усвоила золотое правило всех газетчиков: всегда проще задавать вопросы, чем отвечать на них. Согласитесь (или это мне только кажется?), порой просто неловко наблюдать за тем, как взрослый человек почти по-детски пытается обойти сложный вопрос и мямлит что-то нечленораздельное, чтобы уйти от ответа. А потому я твердо заявила собравшимся журналистам, что никаких интервью давать не собираюсь. И тогда кто-то из пишущей братии шутливо выкрикнул вопрос, который обычно задают тем, кто впервые приезжает в Нью-Йорк:

— А что вы думаете о нашем городе?

К своему немалому изумлению и к радости всех собравшихся (если бы в тот момент я только подозревала о том, какие громы и молнии обрушатся на мою голову!), я вдруг открыла рот и стала говорить. Я говорила о том, как мне надоели грязь и кучи мусора на улицах города, даже в самом центре Манхэттена, на Парк Авеню, не говоря уже об аллеях Центрального парка или районах Бронкса. Я говорила о том, что только что проехала всю Европу: Рим, Париж, Неаполь, Цюрих, Лондон, Мадрид, и нигде не наблюдала подобного запустения и грязи. Скорее всего, в тот момент я вполне искренне выплеснула все те чувства, которые накопились у меня за долгие десятилетия проживания в Нью-Йорке. Наивная старческая глупость, совершенно непозволительная для пишущего человека! Да еще в прошлом журналиста. Уже на следующий день с десяток нью-йоркских газет опубликовали развернутое изложение моих пылких речей.

«Нью-Йорк на сегодня — это самый грязный город в мире. Я только что посетила многие европейские города, которые в годы войны подвергались жесточайшим бомбардировкам, и многие их кварталы были стерты с лица земли, но везде царит чистота и порядок. Дома опрятны, парки и скверы ухожены, все вокруг радует глаз, а у нас! Самый богатый город в мире, каким является Нью-Йорк, более всего похож на сточную канаву. Наши парки превращены в свалки для мусора, наши дома поражают своей обветшалостью и затрапезностью. Думаю, во многом виноваты и сами жители, позволившие превратить свой родной город в мусорную яму. Сегодня Нью-Йорк напоминает мне уродливую старуху в грязном тряпье, и трудно поверить, что когда-то эта старуха была прелестной юной женщиной».

Разумеется, такие речи не могли прийтись по вкусу муниципальным властям. И ответный удар был нанесен незамедлительно. Уже во второй половине дня под окнами дома, в котором я жила, выстроился небольшой пикет, в основном из женщин. Представительницы коммунальных служб держали в руках самодельный плакат, на котором большими буквами была написана следующая уничижительная надпись: «Фербер! Без тебя Нью-Йорк станет гораздо чище!»

В редакции газет посыпались сотни писем от разгневанных граждан. На страницах многочисленных изданий запестрели интервью с муниципальными чиновниками самого различного ранга, в которых давалась весьма нелицеприятная оценка моим рассуждениям и моей личности как таковой тоже. Один из руководителей города, кстати, действительно много сделавший для того, чтобы Нью-Йорк стал лучше и чище, с нескрываемым сарказмом заявил, что мне уже давно пора вернуться в свою родную дыру, из которой я сюда когда-то приехала. Поскольку в детстве и в ранней юности я вместе с родителями достаточно поколесила по Америке (мы жили в штате Айова, и в Висконсине, и в Иллинойсе), то у меня был самый широкий выбор для поиска этой самой дыры.

Письма от рядовых и нерядовых горожан приходили пачками и ко мне домой. Правды ради стоит заметить, что далеко не все они были только ругательными. Порой оказывалось, что в ворохе почтовой корреспонденции находилось не более трех-пяти писем, авторы которых были категорически не согласны с моим мнением или ругали за отсутствие местного патриотизма. Более того, среди семи миллионов жителей Нью-Йорка у меня оказалось на удивление много сторонников, что лишний раз доказывает правоту следующего наблюдения, сделанного мною за долгие годы жизни. Если тебя что-то не устраивает в тех процессах или явлениях, которые есть в обществе, то можешь не сомневаться (как говорят игроки, сто к одному), что точно такие же эмоции испытывают и многие другие твои соотечественники. Просто многим не хватает смелости, гражданского мужества или уверенности в надежности своих тылов, чтобы открыто заявить свою точку зрения.

Постепенно страсти вокруг имени Эдны Фербер поутихли, и кампания с моей публичной поркой сама собой сошла на нет. И вот, стоя у окна в рабочем кабинете своей квартиры на пятнадцатом этаже, я рассматриваю лежащую внизу Парк Авеню. Потом перевожу взгляд вдаль и всматриваюсь в небольшую рощицу, виднеющуюся на самом горизонте. Скорее даже не рощицу, а так, поросший деревьями и кустарниками овраг, который едва виден из-за леса телевизионных антенн. Их гладкие металлические остовы протыкают крыши всех близлежащих домов и издали похожи на зубочистки, те самые, с помощью которых хозяйки изготавливают бутерброды канапе. И чем больше я любуюсь панорамой Нью-Йорка, тем сильнее во мне разгорается желание незамедлительно отправиться в еще одно путешествие, на сей раз по родной стране, и обязательно автомобилем.

Наверное, столь острое желание побыстрее приобщиться к жизни провинциальной Америки появляется только у тех, кто живет в таком огромном мегаполисе, каким является Нью-Йорк. Город-мечта и город-свалка! Помню свои первые впечатления об этом городе, увиденном глазами юной провинциалки, прибывшей сюда из глуши маленького городка на Среднем Западе. Эти громады зданий из металла и стекла, вознесшиеся ввысь, словно горные пики, и трущобы, заселенные крысами. И крысиная политика местных властей по отношению к тем несчастным, кто ютился в трущобах. Но одновременно с этим невиданная концентрация людских талантов, что ни день выбрасывающая наружу новые гениальные творения во всех сферах человеческой деятельности: в музыке, в театральном и изобразительном искусстве, в балетных постановках, в науке и технике, в бизнесе

и торговле. Поистине, Нью-Йорк — это сразу все: мировой центр моды, созидатель новой архитектуры, ведущий политический игрок, законодатель вкуса и в то же время средоточие криминала, невежества и грязи.

В девять часов вечера выхожу на свою обычную вечернюю прогулку. Привратник внизу, который служит в нашем доме с незапамятных времен, вежливо интересуется:

— Вам заказать такси, мэм?

— Нет, спасибо. Я вышла прогуляться.

— Одна? В такое время, мэм?

— Но ведь еще только девять часов вечера.

— И далеко собрались?

— Пройду свою обычную милю вверх по Парк Авеню, а потом спущусь вниз до Мэдисон-сквер.

— Лучше не ходите туда одна!

— Но не сидеть же мне безвылазно целыми днями в квартире, словно в тюремном изоляторе!

В глубине души я понимаю, что старый привратник прав и его беспокойство за сохранность моей персоны вполне обосновано.

Я иду по вечернему городу и думаю, что современный Нью-Йорк похож на постаревшую красотку, которая днями напролет шатается по собственному дому в старых шлепанцах и грязном халате. Но вот наступает вечер, благодатная тень ложится на ее лицо, скрадывая морщины и дряблость кожи. Она лихорадочно украшает себя драгоценностями, сотни тысяч огней, горящих бриллиантами, рубинами и изумрудами на ее шее и плечах, шелка и серебристый мех, переливающиеся в окнах широких витрин на Пятой Авеню. А на голову она водружает тиару из небоскребов и фонтанов, расцвеченных огнями ночного города. И вот она снова красавица и будет блистать, как когда-то в дни юности, до первых сполохов зари, пока снова, уже при свете утреннего дня, не проступят ее морщины, не станут заметными грязь, печать тления и распада, лежащая на всем ее облике.

А еще шум и гам, невыносимый для чувствительного уха. На каждом шагу эти противные балаболки, портативные радиоприемники. Ньюйоркцы похожи на маленьких детей, которые боятся оставаться на ночь одни и потому просят маму, чтобы та не выключала в комнате свет. Ну, а эти не могут без звуков, исторгаемых из механических ящиков. Они повсюду, в такси, в парках, на улицах. Порой кажется, что даже в мусорных баках притаились транзисторы, которые оглушают окрестности какофонией современных ритмов. Люди не хотят, даже днем, коротать время в одиночестве, побыть в тишине, наедине с собою. Современный радиоприемник заменяет им все: родную мать, интересного собеседника, заботливую няньку, успокоительную таблетку. Причем в большинстве случаев радио создает лишь шумовой фон, не более того. Большинство даже не вслушивается в то, что там говорят или что исполняют. Просто источник звука рядом, создающий иллюзию, что ты не один.

Оказывается, не так-то просто взять напрокат приличный, то есть в хорошем состоянии, автомобиль среднего класса за умеренную оплату, который не подвел бы тебя в пути. Мои поиски ничем не увенчались, и вот мы уже влились в бесконечный поток транспорта, спешащего на Запад, сидя в шикарном кадиллаке с кондиционером. В такой машине больше пристало ездить в оперу или, на худой конец, на чьи-то богатые похороны. Но для путешествия по стране, да еще человеку, который зарабатывает себе на жизнь собственным пером, это, согласитесь, чересчур экстравагантно. Но делать нечего, берем то, что есть, и в путь, на самый дальний Запад США. Мимо нас проносятся сотни, тысячи автомобилей. Август, пора отпусков. Вся Америка пересела на колеса.

Страсть к путешествиям — это у нас в крови. Американцы просто обожают быть в пути или, во всяком случае, быть не там, где они есть сейчас. Наверное, эта тяга к новым горизонтам сохранилась у нас от наших предков, бесстрашных пионеров, которые неудержимо двигались когда-то вперед и вперед, на Запад. А в результате мы имеем огромную страну, и в ней, при желании, можно найти все что угодно, на любой вкус. Солнечные пляжи для любителей позагорать и снежные склоны гор для тех, кто увлекается лыжным спортом, шум больших городов и деревенскую тишь, роскошь богатых отелей и убогость бедных кварталов. Заливай полный бак бензина — и вперед! Вся Америка у твоих ног. Солнечная Флорида и холодные волны Мичигана, Вайоминг и Калифорния, экзотика Нью-Мексико и идиллия Новой Англии. И везде, в любой географической точке Соединенных Штатов, ты в обязательном порядке встретишь школьного учителя в окружении детворы. Впрочем, в толпе туристов есть бизнесмены и коммивояжеры, скромные секретарши-стенографистки и обычные домохозяйки, офисные клерки, врачи, полицейские, банкиры, юристы, рассыльные и автомеханики. И вся эта разношерстная и разноликая публика колесит на своих авто по дорогам Америки. Свобода!

Наверное, это и есть высшая форма свободы для современного человека (в его среднестатистическом варианте, разумеется). Никаких домашних забот, долгих изнурительных часов, проведенных у конвейера, станка или за письменным столом, не надо думать, что приготовить на ужин и какой завтрак соорудить для мужа и детей-школьников. Никаких забот, обязательств, хождений по магазинам, телефонных звонков, докучливых визитов и прочее, и прочее. Только ты и дорога, стремительно разматывающееся полотно шоссе. И целый месяц ты волен делать что хочешь. Могу остановиться здесь, могу заночевать там, могу посмотреть то, могу полюбоваться этим. Благодать!

Наша первая большая остановка — Чикаго. Пересекаем Айову и Небраску. Везде, до самого горизонта, колышущиеся нивы пшеницы, следом бескрайние поля кукурузы, которые, помнится, так впечатлили Хрущева во время его посещения Америки.

«Да это же готовые деньги в чистом виде!» — воскликнул он тогда.

Невероятная жара для этих мест, даже для августа. И за все дни, что мы находимся в пути, ни одного дождя. На горизонте уже замаячили снежные шапки горных вершин Сьерра-Невады. Мы подъезжаем к Неваде, оставив позади равнинные ландшафты Иллинойса и Айовы, прерии и степи Небраски и Вайоминга, море соли вокруг Солтон-Си и Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Все вокруг увеличивается в масштабе, растет буквально на глазах. Ты уже физически ощущаешь, что даже сам воздух стал другим, чистым и более холодным. И более разреженным, отмечаю я про себя, вдыхая очередную порцию кислорода. Пейзажи, до боли знакомые по многочисленным вестернам: лесные чащобы национальных парков, бурные реки, устремляющиеся вниз с горных круч, патриархальные салуны, словно сошедшие с эстампов прошлого века. Таким они были в 1849 году, когда в этих местах появились первые золотоискатели, предвестники будущей Золотой лихорадки. Такими они встречают современных туристов и сегодня, в 1960 году. Каждое утро подъем в шесть тридцать, чтобы продолжить наше путешествие «в час утренней свежести», как любят витиевато изъясняться герои все тех же вестернов.

Слава богу, мы уже миновали полосу городов «открытого порока» с их бесчисленными игорными заведениями, отдав положенную дань азарту. Из нас троих самой везучей оказалась я, подтвердив старую примету о том, что новичкам всегда везет в игре. Бросив в щель автомата сверкающий новенький доллар, я уже приготовилась отойти прочь, как вдруг внутри

машины что-то щелкнуло, и к моему вещему изумлению, на металлический поддон высыпалось десять серебряных монеток, по одному доллару каждая. Правила игрового этикета требуют, чтобы первый выигрыш был незамедлительно снова пущен в игру. Но я решила не испытывать судьбу, поровну поделив свой «гигантский» выигрыш между несколькими коридорными мальчишками, которые, судя по выражению их лиц, просто ошалели от свалившегося на них счастья.

Нам предстоит еще один бросок, последний в этом путешествии. Всего лишь каких-то двести шестьдесят миль, и к вечеру мы должны прибыть в конечный пункт нашего двухнедельного автопробега. Там на берегу голубого залива под такими же невероятно голубыми небесами нас ждет Сан-Франциско.

Одно примеряет меня с Хрущевым, и даже до некоторой степени роднит с ним. Тот во время своего первого официального визита в США тоже пересек американский континент с Востока на Запад. И все время задирался, грубил, пренебрежительно фыркал, всячески показывая всем и вся, что его трудно чем-то удивить или, тем более, поразить. Но Сан-Франциско! Он даже не стал скрывать своего восхищения при виде этого великолепного города. Вот и я всей душой и сердцем устремляюсь к самому романтическому и прекрасному месту на земле.

Сан-Франциско!

Перевод с английского Зинаиды КРАСНЕВСКОЙ.



Зов далеких горизонтов: поэзия Новой Зеландии

Когда знакомишься с поэзией страны, о которой знаешь лишь понаслышке, всегда хочется увидеть в ней знакомые, общечеловеческие черты. В этом смысле поэзия Новой Зеландии не исключение. И страна, и поэзия ее мало известны отечественному читателю. В советские времена, в 1978 году, вышла небольшая книжка, составленная Л. Володарской. Почти тридцать лет спустя в Москве опубликована солидная антология (456 страниц!), в которой впервые представлены поэты, чье творчество — гордость нынешней новозеландской литературы. Вот, пожалуй, и все, что мы знаем в переводах.

Интересна ли нам эта поэзия? Разумеется, да. В нашей подборке представлены половина из восьми поэтов-лауреатов Новой Зеландии (этот титул учрежден в стране шестнадцать лет назад, в 1996 году). Эти имена отечественному любителю поэзии знать полезно.

Важно и то, что они пишут по-английски, и практически всегда белым стихом, освободив себя от дисциплины рифмы. Поэтические находки новозеландцев, если случаются, могут войти в общую сокровищницу англоязычной литературы.

Переводить такие стихи, на первый взгляд, просто. Но это лишь на первый взгляд. Выходящие из-под пера переводчика тексты могут оказаться очень разными — дотошного читателя отсылаем к антологии «Земля морей» (Москва, 2005), где можно найти несколько текстов переводов тех же самых стихотворений, или к 10-му номеру журнала «Нёман» за 2011 год, в котором представлены новые переводы Шекспира. Все дело тут в глубине постижения смысла подлинника, в способности передать его средствами родного языка.

По сути дела, перевод произведений новозеландских авторов нужен нам не столько для расширения общего кругозора, сколько для того, чтобы не забыть, сколь богат и выразителен язык, на который мы переводим. В этом мы видим свою главную задачу.

Что до подборки авторов, то она — вполне представительна. Открывают ее стихи Хоне Туфаре, самого колоритного из поэтов старшего поколения. Родом из местных маори, английский язык выучил в девять лет, с ранней юности и до 35 лет работал на заводе. Был в свое время приверженцем леворадикальных взглядов, но в 1956 году вышел из коммунистической партии в знак протеста против венгерских событий. После того, как в 42 года опубликовал свою первую книгу, стал знаменит, и слава его росла год от года. Его язык — это самородный слиток речений рабочего человека, библейских аллюзий и метафор маорийских народных сказаний. Немудрено, что в 1999 году, в 77 лет, Туфаре стал поэтом-лауреатом.

Второй по возрасту поэт — Уильям Мэнхайр. Три больших «П» в его биографии — он писатель, поэт, профессор. Его профессорство занимает важное место хотя бы потому, что он активный пропагандист новозеландской литературы. Под его редакцией вышли две солидные антологии лучших стихов. Пять раз получал литературные премии и стал, в конце концов, первым в истории Новой Зеландии поэтом-лауреатом в 1996 году. Он мастер метафоры. Пусть даже стихи напоми-

нают порой те самые вестерны, в которых вечные ковбои пропадают за горизонтом на фоне пылающего заката. Все равно читать интересно.

Мишель Леготт — поэт-лауреат 2008—2009 годов. И тоже профессор. Ее поэзия, конечно, больше литературная, головная, но в ней слышится древняя музыка английской речи — переливы гласных, гулкие удары согласных. Это завораживает. Она человек трудной судьбы, ибо много лет борется со слепотой, и все-таки продолжает преподавательскую деятельность. Именно Леготт выпало представлять Новую Зеландию на мировых поэтических форумах в Германии, Португалии, Южной Африке.

Одного поколения с ней Дженнифер Мэри Борнхолдт, поэт-лауреат 2005—2007 годов. Будучи студенткой университета Веллингтона, она прилежно слушала своего профессора — Уильяма Мэнхайра. Именно он, наверное, и пробудил в ней желание стать большим поэтом. Она ироничная умница, начитанная и эрудированная, один из редакторов солидной антологии новозеландской поэзии, вышедшей в Оксфорде. Ее поколение пробило большую дорогу в мировую культуру, оттого и география ее стихов столь обширна — вплоть до никому не известных у нее на родине эстонских народных песен, которые послужили источником неожиданных вдохновений…

Хочется надеяться, что наша подборка станет для кого-то началом увлекательного путешествия в незнакомый мир современной новозеландской литературы.

Юрий МАСЛОВ

ХОНЕ ТУФАРЕ



Это не просто солнце

Опустите руки, деревья,
не вздымайте призывно в мольбе
к ярким облакам в сияющих нимбах.
Не напрягайте упруго руки,
потому что им не тупить топора,
не тушить пожара.

Не взойти опять древесным сокам,
откликаясь на лунный зов.
Не кивнуть вам с почтением
в ответ на вопросы ветра, не замереть
от влажных касаний долгожданного ливня.

Не украсить прежде густые кроны
гирляндами перелетных пернатых

странниц, не остудить от бесчинств солнца
любовную пару, позабывшую все на свете.

Обнаженные руки опустите, деревья,
тщетно сияющий диск молить о пощаде.
Не будет ни мощного дыханья муссона,
ни рьяных порывов пассата.

Тускнеет лучистое волшебство
листвы, не под силу очистить ей
эти отравленные небеса… ибо
это не просто солнце.

О деревья!
На склонах опаленных гор,
на раскаленных равнинах,
в темных глубинах моря
слышна последняя ваша песня.

Размышления над древней мудростью

Давным-давно я был атом. Восхитительное единство двух частиц, спаянных вместе. Я был полон мощью, я был сутью своей сути.

Но я распался и перетек в новую форму. Из плавильни я вышел камнем. И постепенно остыл.

В камне я умер и стал водорослью. Я научился строить ловушки и добывать мясо. Я умер как водоросль и стал рыбой. Став рыбой, я отрастил крылья и научился летать над тяжелыми гребнями волн. И мне захотелось взлететь выше — к скалистым зеленеющим берегам.

Однако нелетная часть меня, что так нравилась мне, отрастила конечности и выползла на берег — на всех пяти. А может, шести или семи? Не важно, ибо я заимел руки, лапы, и научился подбирать камень и острить палку.

Однажды летучая моя особь чуть не выклевала мне глаз. Она насмехалась над моей ползучей жизнью. Я постарался не замечать насмешки, увертываясь от опасности. Я научился метать камни. Очень скоро я метал столь метко, что насмешникам не поздоровилось.

Я их ел целиком, с костями и перьями, потом догадался перья оставлять на головные уборы. В конце концов я стал полноправным животным. Но я умер как животное, чтобы стать человеком. Теперь… когда я умираю, я всегда становлюсь выше, понимаешь?

Но я снова хочу стать камнем, только не холодным, как вечная тьма — вроде темной стороны Луны. Потому что форма камня ничем не хуже других форм жизни. Камень плотный, гладкий, и в нем несть числа шепотливым песчинкам, что сыпятся тихо и становятся древним прахом; не раньше и не позже, в точный срок, со сдержанным благородством.



УИЛЬЯМ МЭНХАЙР

Ты солнце мое

Он поет Ты солнце мое
А небеса в тучах, а она
Хочет счастье дарить, но
Все складывается не так
Ей никогда не узнать
Как сильно он ее любит
Он любит ее столь сильно
Что старую отложил бы гитару
И проводил домой все песни
Распевая без всякой музыки

О любовь сладка она везде, и уже
Вечер и синие тени ложатся
На ребенка и игрушки, лежащие
На кровати. Он любит ее, это верно,
Но почему было не сказать ей,
Надо было, надо было сказать

Глупый вечер, глупый мальчишка-вечер
Он вздыхает, поникший цветок над гитарой
Пальцам не дается аккорд, он что-то
Простое пытается сочинить,
И бросает, глядя на гриф,
Урока выучить никак у него не выходит

Начинается дождь
О если бы снова
Нежные ее шестнадцать и выбежать из дверей
Если бы стать ему птицей
Он спел под окном бы
Он спел бы что-то
Такое что-то такое

По поводу оригинальности

Поэты! Несусь вслед каждому,
сквозь сельву — в улицы города,
или из улиц прямо в дикую сельву.

Первому передавливаю горло.
Забираю нож и прячу
за голенище, привалившись к двери,
и выхожу, ковыряя ногти,
в уличный гомон.

Пью с другим.
Он любит молоденьких.
Что ни строка — свежий труп.

С той девчонкой мы вроде сдружились.
Он нависает над ней,
сдирает одежду —
вгоняю ему под ребра нож.

Насвистывая мотивчик, забираю
шестизарядный и шейный платок и —
в погоню по горячему следу.

Догоняю третьего у реки и дырку
сверлю аккурат между глаз.
Из поэтических побуждений
его бумажник в простом конверте
отправляю вдове.

Однако ствол забираю.
Дело, похоже, сладилось.
Между прочим, уже светает.

Кольт — в расстегнутую кобуру,
надо теперь глядеть в оба.
В этом мире попробуй выжить.
Что ни слово — рваная рана.

Вот мое гнездовище оружий.
Вот мой лирический листопад.



МИШЕЛЬ ЛЕГОТТ

Прохождение Венеры

Обидно тебе поэт
Июльские ветра свищут мимо
Высыхают реки

Высыхают реки
Обнажая речные камни
В глазах твоих

Словно клинок
Разрубил меня надвое
Милое зеркало
Зеркало милое
Гор голубые отроги
В белых прожилках дорог
Сердце мое запорошено
Разлука звенит на ветру

У ворот моя гибель
Камни речные
Пенится волна и падает
В жерло беззвучно
Как долго ждать мне
Затаивши дыханье
Шепот твоих возвращений?

Ирисы опустили ножи
Не разжать нам руки
Расставанье пришло
Расставанье пришло
Цветы дрожат
Это было похоже на сон
Но цветы не плачут

Бедное глупое сердце
Разъеденное изнутри
Саранчой летучей
О тебе никто не подумал
О тебе-то никто не подумал
Подорожная твоя
У меня в кармане поэт
Гремучие снега тают
Когда подаю тебе руку
Счастливой тебе дороги
После маленькой этой смерти
Двух сердец
О них никто не подумал
О них-то никто не подумал

Из сборника «Молоко и мед»

Вот тот по-
целуй
не забыт по-
целуй

что там был по-
целуй

лучше всех по-
целуй

после
всех поцелуй
нежный след по-
целуй

талый снег по-
целуй
легкий сон по-
целуй

губ твоих
поцелуй



ДЖЕННИФЕР МЭРИ БОРНХОЛДТ

Поэма прощаний

1

Мысль о расставанье
делает нас ближе близкого
сказать «Я уезжаю» означает
что распахнуть объятья
теперь легче легкого
поскольку риск
минимален
и потому что терять уже нечего
остались лишь расстоянья
так что можно стать
очень честным
и мы обнимаем друг друга
совсем по-иному
с новым чувством
потери

2

Оттого что это так далеко
не знаю что и сказать
слова что тянутся над
равнинами никак

не сходятся
вместе
И слишком долго блуждаешь
в кустарниках чтобы
выискать смысл
Верно то что сам факт расставанья
умом не понять
Подспудно он в каждом шаге
ведущем к двери
в каждой картонной коробке
в саквояже
в пустеющих стенах

Бойфренды

Все твои бойфренды тебя, конечно, любят, но не знают за что. Им очень жалко, что не получилось прожить вместе до гробовой доски. А не получилось потому, что они, понимаешь, по натуре волки-одиночки, а ты такая славная девочка.

Отец у тебя адвокат, и они себе вбили в голову, что они тебе неровня. Тебе обязательно надо выйти замуж за молодого адвоката, такого, знаешь, хорошего, надежного, который будет покупать все, что тебе понадобится и к чему ты привыкла. В общем, не за такого, как они, за перекати-поле, за авантюриста в душе. Не за того, кому суждено прожить в одиночку.

Они твердят, что тебе так будет лучше. Ты будешь счастлива, иначе и быть не может. И все у тебя получится. Найдешь себе молодого адвоката, или он сам тебя отыщет, и вы поженитесь и будете вместе счастливы.

Потому что тебе этого и надо, верно? Потому что любому ясно, что ты прямо создана для счастья. Ты еще будешь ох как счастлива, вот увидишь.

Они рассказывают, как горько им будет, когда этот день придет. Так прямо и говорят. О том, как они встретят тебя на улице с этим твоим молодым адвокатом. Он тебя обнимает за плечи. Весь такой счастливый. Ты вся такая счастливая. Вы оба такие счастливые. А они будут глядеть и глядеть на вас двоих и страдать оттого, что не сложилось у вас, что нет в мире места для великой любви. Потому что у тебя любовь великая. Крепкая у тебя любовь. Настоящая. Но не получилось. Ведь великая любовь долго не живет. Великая любовь всегда кончается.

А у тебя возникает подозрение, что все они, твои бойфренды, насмотрелись вестернов, где одинокий ковбой в финале скачет прочь прямо в пылающий закат.

В конце концов ты его бросаешь. Выбора-то нет. Он все время несчастный. Очень несчастный. Какая тут романтика.

Вы пока встречаетесь. На улице, и у вас нет слов. Просто глядите друг на друга. Иногда вы роняете слезы прямо на тротуар. Прохожим от этого не по себе. Вам тоже.

Он говорит, вернись, я прошу тебя.

Говорит, что хуже ничего быть не может. Очень верно.
Он говорит, пожалуйста, я прошу.

Но ты не возвращаешься. Потому что в конце концов все кончится тем же. Ты столько лет собиралась его бросить.
Столько времени на это убила.

Он столько лет твердил, что вам не прожить вместе, а сам не спешил расставаться. Ох уж эти расставанья.
Кроме расставаний, ничего и не осталось.

Эстонские песни

Сверчок мой сестренка

Сестренка слушай
Жизнь кажется порой
Потертой кошелкой со старым луком
Иное дело путешествовать
Хотя бы ради того, чем так богата
Любая новая дорога
Вот, например, любовь — так интересно
Узнать ее на любом языке!

Девушка плачет

Весь мир вокруг
В круженье. Желтые материки
Вращаются, вращаются, пока
Маленький фургончик чувства
Не толкнется и тронется...
И понесет его по крутой дороге.

Перевод с английского Юрия МАСЛОВА.



НАТАЛЬЯ ПРУШИНСКАЯ

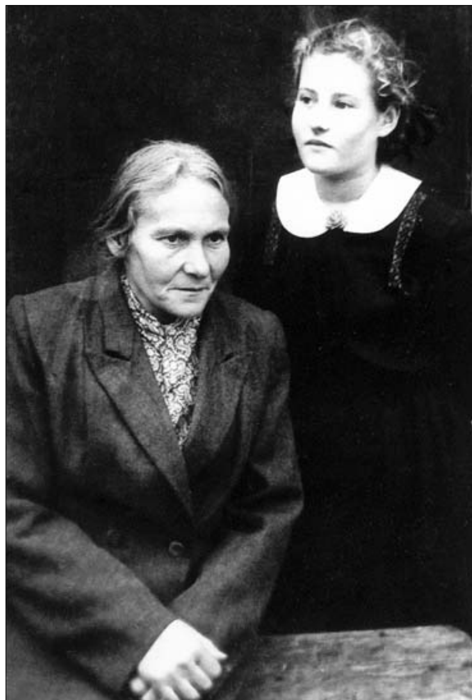
Белорусский аспект биографии карельского ученого

Наталья Прушинская — дочь известного белорусского писателя Андрея Мрыя (наст. Андрей Шашалевич), репрессированного и погибшего в сталинских лагерях. Родилась она в г. Кола Мурманской области в 1939 г. Закончила Карельский государственный пединститут по специальности русский язык, литература и немецкий язык. Работала в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Автор многочисленных литературоведческих исследований, в том числе «Якуб Колас», «Калевала», «Калевала» в Белоруссии», «Новые сведения к биографии Андрея Мрыя», «Летопись литературной жизни Карелии» и других.

Первому карельскому ученому, ливвиковскому карелу В. Я. Евсееву (1910—1986), наша семья была очень многим обязана. В его большом деревянном доме, построенном отцом Виктора Яковлевича (Яковом Васильевичем Евсеевым) в финском стиле, с четырьмя фронтонами и просторным чердаком, я вместе с тетей Ксенией Антоновной Шашалевич и сестрой Оксаной провела с перерывами немалую часть своей жизни. Тетя приходилась Виктору Яковлевичу свояченицей: ее муж, краевед Николай Васильевич Хрисанфов, репрессированный в 1937 году, был его дядей (братом отца). В немалой мере он был и наставником Виктора Яковлевича, благотворно повлиявшим на выбор его жизненного и творческого пути, научившим ценить и беречь родное слово, собирать и изучать все, что сохранила народная память на карельском языке. Виктор Яковлевич признавался, что всю жизнь был за это благодарен Н. В. Хрисанфову, а незадолго до своей кончины он неожиданно попросил меня написать о Николае Васильевиче... «Но как, Виктор Яковлевич? Я ведь совсем не знала его...», — растерялась я. «Вы работаете с «Летописью литературной жизни Карелии», это прекрасный источник библиографической информации. Воспользуйтесь, найдите материалы, напишите!» — отвечал он. Действительно, я как раз тогда начала участвовать в составлении «Летописи 1982—1986» (П., 1989). Но прошло еще немало лет, пока пожелание осуществилось…

Хранит благодарную память о Н. В. Хрисанфове и наша семья. Николай Васильевич со своей женой в 1934 г. приютили двухлетнюю Оксану после первого ареста нашего отца, белорусского писателя Андрея Мрыя (наст. фам. А. А. Шашалевич), а летом 1937 года, после того как отец отбыл наказание, Николай Васильевич принимал его в течение нескольких дней у себя в Петрозаводске. Отец незадолго до этой встречи получил советский паспорт; он приехал с семилетним сыном Юрой, по-видимому, из Вельска через Ленинград[1], откуда и взял с собою Юру от матери, чтобы вместе с ним повидать близких. Выглядел отец довольно

[1] В Вельске Вологодской обл. отец отбывал административную высылку. См.: Там же. С. 29; Прушынская Н. Новыя звесткі да біяграфіі пісьменніка А. Мрыя // Кантакты і дыялогі. 2001. № 11. С. 7.



Н. Прушинская со своей матерью С. А. Зыковой в Неговке (1953 г.).

бодро, и даже почти элегантно, в своем новом светло-сером костюме. Ксения Антоновна сказала Оксане, что это папа. Малышка не задавала вопросов: то ли уже в этом юном возрасте в ней сказывалась общая черта нашей с нею натуры (сдержанность и созерцательность), то ли, может быть, девочки реже бывают «почемучками», чем мальчики.

В конце того же 1937 года, после того как Н. В. Хрисанфов был арестован, а Ксения Антоновна вынуждена была искать работу и жилье вне Петрозаводска, Оксана некоторое время оставалась с родителями Виктора Яковлевича и помнит, как тетя Даша (Дарья Сысоевна Евсеева, мать ученого) купала ее в маленькой цинковой ванночке. С 1940 года, после трех лет скитаний по районам Карелии, Ксения Антоновна с Оксаной стали жить в доме Евсеевых. Незадолго до того они побывали в Мурманске у нас с мамой (Софьей Андреевной Зыковой) и Юрой по случаю большой беды: отец был арестован вторично. Я была еще грудным ребенком, и Оксана помнит, что она оставалась вдвоем с Юрой, когда мама и тетя Ксеня пошли на свидание к отцу. Меня, видимо, взяли с собой.

Осенью 1940 года, высланные из Мурманска после приговора, мы с мамой и братом опять-таки остановились в доме Евсеевых у тети Ксении и Оксаны — наверное, на день. В Белоруссию нам нельзя было ехать, и чтобы все-таки быть поближе к родным местам, мы поехали в Брянскую область, где попали в оккупацию.

Вернувшись в освобожденный Петрозаводск, Евсеевы снова приняли Ксению Антоновну с Оксаной, а вскоре тетя привезла сюда и меня из сгоревшей в войну деревни.

Давая прибежище нашей тете, Евсеевы, конечно, рисковали своею свободой и благополучием из-за нас, родственников «врага народа». Две племянницы жены Виктора Яковлевича, Полины Яковлевны Куйкка: Элна Туорила (дочь репрессированного рабочего Осипа Туорила) и Майре Гампф (дочь репрессированного поэта и художника Готтфрида Гампфа) — тоже нашли приют в доме Евсеевых. Элна была ровесницей Оксаны, они вместе учились в педучилище, а мы были подругами с Майре в наши студенческие годы.

Тетя Ксеня привезла меня в Петрозаводск пятилетним ребенком. Мы жили в одной из трех маленьких комнат чердака. В другой жил с женой младший брат Виктора Яковлевича, Игорь Яковлевич Евсеев, имевший боевые награды, но за какую-то мелкую провинность отправленный в лагерь, из которого он вернулся с туберкулезом легких. Позже его семья заняла еще одну комнату, а затем получила городскую квартиру.

Здесь было много детворы. Подолгу мы играли в доме или во дворе с Толей, Тонечкой (детьми Евсеевых), детьми квартирантов и соседей, не замечая приближения непривычных белых ночей. Виктор Яковлевич был внимателен к детям и как-то раз, издали наблюдая за нашей игрой в школу, вдруг подошел к нам и сказал, что у меня есть педагогические способности. В доме было много книг. Особенно любил чтение Сережа (младший сын Евсеевых) — я постоянно видела

его с книгой. Иногда Виктор Яковлевич рассказывал нам, уже повзрослевшей молодежи, эпизоды из истории финно-угорских народов, казавшиеся нам таинственными и невероятными.

Добрая и хлопотливая хозяйка дома, Полина Яковлевна однажды просто-таки спасла мне здоровье и жизнь. В то время мы жили с сестрой вдвоем (тетя работала в Лоухах). Но Оксана находилась на сельхозработах, а меня, восьмиклассницу, вдруг свалила с ног скоротечная ангина с температурой 40°. К счастью, Полина Яковлевна, среди многих своих забот, не преминула заглянуть в мой уголок и вызвать «скорую помощь».



Н. В. Хрисанфов и его жена К. А. Шашалевич (1924—1926 гг.).

Виктор Яковлевич давал приют многим людям. В 1950—1960-е годы в доме жила сказительница-карелка из Сямозера, Евдокия Силична Попова, потерявшая жилье из-за ареста сына; все звали ее Силичной. По-русски она говорила очень мало, но прекрасно понимала. Всегда была готова разделить чьи-то проблемы, посочувствовать, пригласить к чаю: «A-voi, voi, kacyt, kacyt! No, istukkaa cuaju juomaa!» Силична нянчила маленького Сережу; случилось ей однажды позвать в дом и «бабку», чтобы, подкрепляя усилия врачей, изгнать болезнь впавшего в депрессию обитателя. Не знаю, как это действо исполнялось, но точно известно, что в конце его женщина жалостно прошептала: «Не жилец…» — а человек здоров по сей день. Силична жила в доме почти до самого его сноса.

В мире тепла и доброты естественны открытость, доверие. Как к будущему филологу, Виктор Яковлевич обратился однажды к сестре (тогда студентке четвертого курса университета) с просьбой посмотреть рукопись его диссертации с точки зрения русского языка. Позже она получила в подарок двухтомный труд «Исторические основы карело-финского эпоса» с автографом: «Первой читательнице первого варианта рукописи этой книги Оксане Шашалевич от автора. 31.03.59 г.». Между страницами хранится (уже более 50 лет) пожелтевшая газетная вырезка с рецензией В. Г. Базанова, любимого преподавателя студенческой группы, в которой училась Оксана.

Виктору Яковлевичу всегда была интересна наша белорусская ментальность, и перспективной с этой точки зрения ему казалась главным образом я, поскольку после окончания первого класса несколько лет жила с матерью и братом в Белоруссии, четыре из них — в глухой деревушке Неговке Гомельской области. Мама здесь учительствовала, а я закончила (с похвальной грамотой) школу-семилетку. В конце 1960-х годов ученый даже предложил мою кандидатуру в качестве исполнителя темы «Белорусский фольклор в Карелии». Его идея была вполне осуществима в связи с послевоенными миграциями белорусского населения[1]. Кстати, расскажу, что и сама я, живя в Неговке, была свидетелем этого тяжелого социально-экономического процесса. Каждый отъезд по вербовке «у Карэла-Фінскую» становился в жизни деревни печальным событием. Так, уехала

[1] Кляменцеў Е. І., Кашанаў А. А., Бірын В. М. Беларусы ў Карэліі: Фарміраванне этнічнай групы // Весці Акадэміі навук Беларусі. Серыя грамадскіх навук. Мінск, 1992. № 1. С. 89—98.



К. А. Шашалевич (в центре), Оксана Шашалевич и Н. Прушинская (1948 г.).

с родителями в Карелию моя одноклассница и подруга Зоя Рогачева, а у другой моей подруги, Нади Артеменко, в Карелию уехали родственники — большая семья с пятерыми детьми, жившая неподалеку от дома, где квартировали мы с мамой. В их опустевшем доме мы с Надей ночевали первую ночь после их отъезда, чтобы, по поверьям, в нем не поселился какой-либо злой «дух» или пьяница. «Дух» я беру в кавычки, потому что в те годы в деревне шла усиленная антирелигиозная пропаганда против веры в «духов», против суеверий, предрассудков; проводились лекции, сопровождавшиеся разоблачением «чудес», которыми попы якобы обманывали народ. Какие-то «бдительные» люди (по-моему, в штатском) однажды даже пришли к нам в дом и расспрашивали маму о знахарях, колдунах и ворожеях, собиравших травы. Мама на все вопросы тихо отвечала, что в нашей деревне таких нет… В доме и в селе стояла какая-то непривычная, словно испуганная, тишина.

Когда я вернулась из Неговки в Петрозаводск, чтобы продолжить здесь учебу, Виктор Яковлевич расспросил меня о тамошней жизни, он хотел услышать белорусскую речь, осведомился, не знаю ли я каких-либо произведений белорусского народного творчества. Жизнь в деревне была тогда очень трудна, хотя, конечно, имелись свои радости: вечеринки, свадьбы, самодеятельность. Не было электричества (уроки я готовила при керосиновой лампе, подвешенной к потолку), радио провели незадолго до моего отъезда, и в первой передаче, которую я там слушала, было сообщение о смерти Сталина. Но главное — людей душили непомерными налогами и ничтожными заработками (натурой) по колхозным трудодням; от этой нищеты и бежали, вербуясь в Карелию, наши односельчане.

Пару фраз по-белорусски я сказала, но песен, слышанных от деревенских девчат (о вишенке, о лодке — в жанре жестокого романса), петь не стала. Виктор Яковлевич остался доволен моим белорусским и даже поставил меня в пример своей дочери. К сожалению, исследование «Белорусский фольклор в Карелии» не состоялось, но кое-что для этой темы было все-таки сделано самим Виктором Яковлевичем. Как свидетельствовали белорусские фольклористы А. С. Федосик



О. Шашалевич и Н. Прушинская за чтением белорусских журналов. Осень 1964 г. (Фото В. Я. Евсеева.)

и Р. Б. Смолькин, он записал «тысячи устно-поэтических произведений, в том числе и от белорусов, живущих на севере страны»[1].

Внимание Виктора Яковлевича к нашей белорусской ментальности проявилось также в 1964 году. Я тогда решила совершенствоваться в немецком языке в Московском инязе им. Мориса Тореза, и мама, жившая в Гомеле, посоветовала мне прочитать в Библиотеке им. В. И. Ленина белорусские журналы с произведениями отца. Пока длилась абитуриентская сессия, я таки прочитала их, а потом заказала «Записки Самсона Самосуя» на межбиблиотечный абонемент в Петрозаводск, думая: может, попробовать перевести? Тетя Ксеня, пережившая в годы репрессий гибель мужа и обоих братьев, встретила эту новость с ужасом. Также и дядя-москвич (брат матери) сказал, что, мол, не гонись за славой! А Виктор Яковлевич поддержал нас. Когда мы с Оксаной стали читать прибывшие журналы, то и он с женой пришел посмотреть их и сфотографировал нас в момент чтения.

В тот памятный день наши старшие говорили о погибших братьях Шашалевичах и о Н. В. Хрисанфове. Младший из братьев — белорусский драматург Василий Антонович — был по возрасту и по жизни ближе Ксении Антоновне, чем наш отец. Виктор Яковлевич спросил тетю об эпизоде 1937 года, когда наш отец посетил Петрозаводск: говорили ли тогда Мрый и Хрисанфов о литературе? Ксения Антоновна отвечала, что одною из тем долгой беседы свояков было творчество Кнута Гамсуна — любимого писателя Н. В. Хрисанфова. Через много лет я, узнав о литературном псевдониме Н. В. Хрисанфова (Миикул Крисун), поразилась его сходству с псевдонимом норвежского прозаика.

Белорусский аспект биографии В. Я. Евсеева органично слит с бесценным вкладом ученого и других сторонников представляемого им историко-материалистического научного течения в дело сохранения и изучения карело-финской культурной традиции, а через нее и традиций других этносов нашей Родины. Историко-материалистическое течение российской гуманитарной науки

[1] Архив КарНЦ РАН. Фонд № 1. Оп. № 35. Дело № 2990. С. 242—243.



У входа в дом В. Я. Евсеева (1957). В. Я. Евсеев (в центре, в кепке); за ним слева — его брат И. Я. Евсеев, справа вверху — жена И. В. Евсеева Мирьям Евсеева, справа внизу — жена В. Я. Евсеева П. Я. Куйкка; сверху, рядом с Мирьям — Сережа и Тоня (дети В. Я. Евсеева). В первом ряду — Е. С. Попова (Силична) и родственники В. Я. Евсеева.

существовало с конца 1940-х по 1970-е годы. Его возникновение в Карелии было вызвано опасной внутриполитической ситуацией в СССР, сложившейся после того, как были приняты партийные «Решения о состоянии идеологической работы в Татарии и Башкирии» 1944—1945 годов[1] и началась кампания «борьбы против шаманизма». (Отголоски этой грозы я, видимо, и уловила, как рассказала выше, в Неговке в начале 1950-х. Всемирно известная «Калевала», в которой эпическая традиция карел и финнов представлена со времен язычества и в какой-то мере может рассматриваться как «шаманская», оказалась под угрозой; положение могло обернуться новыми бедствиями для населения края. Опасность вовремя заметил О. В. Куусинен[2]. Глава правительства КФССР принял ряд мер, благодаря которым «Калевала» не подверглась запрету, и волна послевоенной реакции была в Карелии значительно ослаблена. Одним из мероприятий стала научная конференция, посвященная 100-летию полного издания «Калевалы» (1949), которая положила начало разработке историко-материалистической концепции карело-финского эпоса. В числе сторонников концепции и одноименного научного течения был профессор ЛГУ В. Я. Пропп, научная деятельность которого получила всеобщее признание и славу как в СССР, так и за рубежом[3], В. Я. Пропп подготовил в 1949 году, — видимо, по просьбе О. В. Куусинена, — экспертную статью «“Калевала” в свете фольклора», опубликованную посмертно (1976). Идею осуществляли также авторы сборника материалов юбилейной научной конференции «Сто лет полного издания “Калевалы”» (1950): О. В. Куусинен, В. М. Жирмунский, В. Я. Евсеев, Д. В. Бубрих, В. Г. Базанов, К. В. Чистов, Н. А. Линевский, Н. М. Яккола — и другие исследователи.

В двухтомной монографии В. Я. Евсеева «Исторические основы карело-финского эпоса» (М.; Л., 1957—1960), одним из ответственных редакторов которой стал В. Я. Пропп, историко-материалистическая версия выразилась наиболее

[1] «Решения» упоминаются в двух книгах материалов Всесоюзного совещания, проходившего в ноябре 1958 года в Москве, в ИМЛИ им. А. М. Горького. См.: Вопросы изучения эпоса народов ССР: Сб. ст. М., 1958. С. 20; Вопросы изучения эпоса народов СССР. На правах рукописи. М., 1959. С. 33.

[2] См.: Prushinskaja N. Karjalais-suomalainen eepos Neuvostoliitossa 1930—1940 luvulla // Carelia. 1996/№ 2. S. 63—69; Прушинская Н. А. Под сенью «язычества» // Север. 2005. № 3/4. С. 115—117.

[3] См.: Чистов К. В. В. Я. Пропп: Легенды и факты // Сов. этнография. 1981. № 6. С. 63.

полно. Она была оценена академиком В. М. Жирмунским во время защиты диссертации как новое слово в науке[1]; труд В. Я. Евсеева и сегодня вызывает пристальное внимание, хотя в нем и осуждается «некая надуманность и прямолинейность историко-материалистического подхода при воссоздании эволюции эпоса»[2]. Докторская ученая степень, присужденная В. Я. Евсееву за первый том монографии, — по его словам, через пятнадцать минут после присуждения кандидатской, — стала форсмажорным событием Академии наук. Однако автор, проделавший гигантскую работу, сумел перевыполнить стоявшую перед ним задачу. Он воссоздал исторически многостепенную картину не только духовной стороны карело-финской культурной традиции (в частности, атеистических и религиозных воззрений карел и финнов), но еще и материальной и социальной ее граней. Первый карельский ученый заслуживал поощрения также во имя того, чтобы декларируемая в СССР национальная политика проводилась не на словах, а на деле, не репрессивными мерами, а на путях науки и национальной консолидации. На защите диссертации В. Я. Евсеева, состоявшейся в ИРЛ АН СССР 20 марта 1958 г., во время тайного голосования не было брошено ни одного «черного шара»...

Отдавая должное В. Я. Евсееву в деле укрепления белорусско-карельских литературных связей, мы испытываем чувство глубокой благодарности и к тем советским исследователям — сторонникам историко-материалистического течения российской гуманитарной науки, — которые, отстаивая вместе с ним культурную традицию финно-угорских народов Карелии, защищали национальное согласие нашей отчизны.

---

[1] См.: Базанов В. Г. Ценный труд карельского ученого // Ленинская правда. 1958. 23 марта.

[2] Саватеев Ю. А. Фольклорист В. Я. Евсеев // У истоков карельской фольклористики: К 100-летию со дня рождения. Петрозаводск, 2010. С. 17.

Нестоличные писатели

Наша анкета

Можно ли, живя в глубинке, написать великое произведение?

«Так ведь и пишем, — видимо, ответили бы на этот вопрос литераторы, живущие в провинции. — Кто-то лучше, кто-то хуже, но в основном неплохо. Не хуже, чем в ваших столицах». И неплохо ответили бы. Потому что как в столице, так и в провинции есть литераторы разного уровня.

Разве можем мы, например, сказать, что Волковыск — провинция? В нем живет и работает хороший поэт, тонкий критик Георгий Киселев. Его произведения печатают и белорусские, и российские толстые литературные журналы. Он сам является островком культурной жизни не только региона, но и республики. Уверены, местной интеллигенции, особенно поэтам, есть о чем поговорить с ним. Единственное только — сблизиться творческим людям бывает непросто. Иногда легче найти родственную душу на другом конце земли (хорошо, что есть Интернет), чем на соседней улице. Наверное, это серьезная проблема для творческого человека, живущего в провинции. А может, и в столице. Ведь занятия, не приносящие денег, дохода, нередко воспринимаются окружающими как блажь. А литература, как известно, денег не приносит.

Вторая (если не первая и главная) проблема литератора в провинции, как нам видится, — работа. Найти работу по душе, по способностям в маленьком городке непросто, так как организаций на периферии — раз, два и обчелся. Хорошо если у кого-то она все же есть. Но у многих таковой нет. Вспомнить, к примеру, Василя Годулько. Талантливейший поэт, переводчик, знаток иностранных языков — работал полеводом в колхозе. А где еще он мог устроиться в деревне? В школе? Для того, чтобы работать в школе, нужно иметь несколько иной характер, чем, чувствуется, был у Василя. Недалеко от деревни Федьковичи, где жил поэт, находится районный центр Жабинка. Но и там для человека с гуманитарным образованием мест, видимо, негусто. Библиотека, музей, редакция районной газеты. Обычно все перечисленные организации в глубинке укомплектованы, рабочее место освобождается только тогда, когда кто-то уходит на пенсию. Что было делать тому же Годулько? Перебиваться случайным поденным заработком и надеяться... На что? Какой свет мог забрезжить в конце туннеля? Он просто поплыл по течению. И утонул. А если бы смог переехать в Минск? Сложилась ли бы его судьба по-другому? Если бы он нашел какую-нибудь, для начала пусть и захудалую, работенку, имел бы отдушину в творчестве, в общении с коллегами по перу — глядишь, судьба и сложилась бы как-то иначе. Но в Минск, как и в другие крупные города, из-за прописки, из-за отсутствия жилья было не попасть. Эта проблема жива и сегодня.

Однако, выходит, мы снова «приехали» в Минск.

Но если человек все же устроил на периферии свой быт, достаточно ли этого, чтобы и талант его раскрылся? Или нужно что-то еще?

Редакция журнала разослала нашим коллегам анкету с вопросами о различных аспектах жизни литератора в провинции. Каждый из адресатов заполнил ее по-своему: одни ограничились прямыми ответами, другие развернули их в статью. Предполагаем, читателям будет интересно узнать, что думают поэты и прозаики о том, как зависит и зависит ли вообще их творчество от условий жизни на периферии, в чем это выражается и как преодолевается. Возможно, сегодня, в географических реалиях Беларуси о периферии вообще нужно говорить условно? Впрочем, слово нашим респондентам.

Приглашаем и других писателей, не успевших принять участие в этом разговоре, также высказаться по этому поводу.

От редакции

Вопросы анкеты

1. Где, на Ваш взгляд, современная литература в Беларуси развивается лучше, уверенней — в столичных центрах или на периферии? Аргументируйте, пожалуйста, Ваше мнение. Объясняете ли Вы отсутствие (если это факт) большой литературы в провинции социальными, индивидуальными причинами: более замедленный, чем в столице, темп жизни, порождающий некую леность, недостаток общения с коллегами, то есть профессиональное затворничество?

2. Согласны ли Вы с тем, что в условиях Беларуси о периферии нужно все-таки говорить с некоторой натяжкой? Это, скажем, не Дальний Восток и Москва. У нас сравнительно малые расстояния между географическими точками, хорошо развитая сеть коммуникации, Интернет, наконец. Разве все это не умаляет сегодня само понятие периферия?

3. Расскажите о Вашем собственном опыте творческой жизни в провинции. Чувствуете ли Вы, что Ваш талант в столице, в ее суете и многолюдье, но при наличии большого количества журналов, газет, издательств, раскрылся бы ярче?

4. Есть ли у Вас ощущение (наблюдение), что литературный Минск стоит как бы в стороне от литературных проблем провинции, что он погружен в свои заботы? Какие в связи с этим у Вас есть предложения, пожелания?

ИВАН БИСЕВ,
Гомель

На мой взгляд, литература в Республике Беларусь развивается одинаково в столице и провинции. Отсутствие большой литературы в Беларуси вообще объясняется другими причинами. Примером может служить недавно проведенный (май 2011 г.) в г. Бресте республиканский конкурс русской литературы «Созвучье слов живых» (поэзия, проза) среди белорусской молодежи, где столичная команда была незаметной. А призовые места в основных номинациях заняли молодые литераторы из разных городов Беларуси.

Да, я согласен с тем, что понятие периферии достаточно условно в наш век скоростей и коммуникационных систем, учитывая малую территорию республики.

Вряд ли творческий процесс требует суеты и шума большого города. Скорее более необходима сосредоточенность и тишина (исхожу из собственного опыта).

Проблем хватает и у столичных писателей, и у провинциальных. Думается, что они примерно одни и те же. И решаются одинаково. Поэтому ждать особой помощи от столицы не приходится. Талант если есть, то он есть независимо от места пребывания его носителя.

Желаю всем взявшимся за перо вдохновения и свершений.

ВАЛЕРИЙ ГРИШКОВЕЦ,
Пинск

1. Насколько я понимаю, у нас один «столичный центр». На мой взгляд, «современная литература в Беларуси» особенно не развивается ни в «столичных центрах», ни на периферии. Причина одна: не востребована литература сегодня. Конечно, есть немало хорошего и в прозе, и в стихах. Причем написанных как на белорусском, так и на русском языках. Сложилась и солидная библиотека переводной литературы, сделанная нашими переводчиками. Но, как я уже сказал, все это просто не доходит до читателя. Книги и журналы выходят мизерными тиражами. Если журналы еще берут (увы, далеко не так, как того хотелось бы) в библиотеках, то книги в основном расходятся в «своем кругу» — среди нашего же брата-литератора. Возможно, я преувеличиваю, сгущаю краски. Вполне возможно, не отрицаю. Но, увы, трудно при-

помнить за последние лет двадцать хоть один литературный вечер в моем Пинске, где бы «яблоку негде было упасть». Да и годы, проведенные в Москве (1993—2004), запомнились совершенной «глухотой» как общества, так и властей по отношению к литературе и литераторам. Не приходилось встречать и начинающих авторов, которые много читали бы, да на худой конец, хотя бы более-менее живо интересовались классикой, предшественниками, известными современниками. Сколько ни советуешь, ни рекомендуешь, а я уже пять лет веду литобъединение при городской газете «Пінскі веснік», ноль внимания! Даже обидно... Я до сих пор помню, как на меня, по сути, русского литератора, влияли стихи Михася Рудковского и Миколы Купреева, проза и стихи Михася Стрельцова, а чуть позже Виктора Гордея; я и сегодня помню отдельные строки Пысина и Велюгина, Короткевича и Гаврусёва, Макаля и Гречаникова, Федюковича и Ковтун... А как я дорожил книгами с автографами Бронислава Спринчана, Ивана Колесника, Владимира Павлова, Леонида Дайнеко, Казимира Камейши... Я их читал и перечитывал! А сколько прочитано стихов русских поэтов... Сотни и сотни! Разве сегодняшние молодые белорусские поэты пишут лучше Янищиц, Сербантовича, Блатуна, Сыса?.. А кого из сегодняшних молодых прозаиков можно сравнить с их предшественниками — Наваричем, Яговдиком, Глобусом, Федаренко, Бадаком? Я уж не говорю про Мележа, Быкова, Брыля… Алену Браво, Алену Масло. Так и они из поколения Федаренко и Бадака...

Увы, увы, ничего не изменишь, никого не изменишь, да и время вспять не течет. Трудно назвать новым и оригинальным то, что делают сегодняшние молодые в литературе Беларуси, чаще всего это всего лишь калька того, что делают (и давно уже!) за Бугом, на «брегах Невы», да шустрые московские «перья». Вся оригинальность и новизна тутошних молодых разве что в их именах, которые порой даже я, доживший до приличного возраста и немало повидавший, не всегда могу «расшифровать» — Винцук, Винцэсь, Уладысь, Вальжына, Валярына, Югася...

И все же есть ДОСТИЖЕНИЯ. Это, в первую очередь то, что у нас все еще выходят журналы «Нёман», «Полымя», «Маладосць», выходят «ЛіМ», «Бярозка», «Вясёлка», издаются книги некоммерческого толка и даже выплачиваются, пусть себе и символические, гонорары. Зная ситуацию с ЭТИМ в России... Впрочем, не буду — как бы не сглазить и ЭТО...

Да, темп жизни в провинции иной, нежели в столице. Он, безусловно, порождает «некую леность», провинции также присущ «недостаток общения с коллегами», но, хоть разбейся, «профессионального затворничества» тут не сыщешь, как говорится, днем с огнем! В этом самая главная беда литератора в провинции. Если в столице еще можно избежать встреч (и неминуемых «бесед») с графоманами, или, так сказать, людьми неравнодушными, активными, то в провинции это «удовольствие» подстерегает тебя на каждом шагу, почти ежедневно, а то и по нескольку раз на дню! Что это ТАКОЕ, и КАК сие сказывается на собственном творчестве, поверьте, никому не пожелаю, разве что отпетым проходимцам от литературы.

2. Согласен. «В условиях Беларуси о периферии нужно все-таки говорить с некоторой натяжкой». Но, согласитесь, Владивосток даже в советские годы отличался от любого нашего областного центра тем, что там было собственное книжное издательство, был и краевой журнал, пусть и не во Владивостоке, а в Хабаровске, но литераторы Дальнего Востока имели гораздо большие возможности печататься и издаваться, нежели их белорусские коллеги. Правда, следует признать, что тогда и у нас в республике писатели имели гораздо большие возможности творить и влиять на массы (печататься, издаваться, выступать по радио, на ТВ и т. д.), нежели сегодня.

3. Лучше не буду говорить о «собственном опыте творческой жизни в провинции», ибо ОПЫТ сей доводил меня до грани, до последнего шага перед самым страшным, до чего можно довести человека вообще. Мой талант, собственно говоря, и раскрылся, если вообще раскрылся, в столице — Москве. Правда, уже тогда, когда и радости-то никакой, увы, не было. Ни собственно от таланта, ни оттого, что он раскрылся, ни тем более оттого, что вообще связался с литературным творчеством.

4. Есть у меня и «ощущение (наблюдение), что литературный Минск стоит как бы в стороне от литературных проблем провинции», и давно известно мне, «что он погружен в свои заботы», и прочее-прочее. Но никаких предложений, а тем паче пожеланий, у меня нет ни к дорогой столице, ни к не менее дорогим нашим литераторам. Ибо все ЭТО — пустой звук. И не более! Разве потешишь кого-то или, не дай бог, рассердишь...

МАРИЯ ШЕВЧЕНОК,
Гродно

1. 2. Литератор в провинции в наше время — никто. Знаю на собственном опыте: после перестройки я лично смогла издать три книги, но все — лишь в масштабе области и за свои деньги. Но и это еще не главное — эти книги не доходят до Минска и других областей. Значит, столица наша — Гродно (для нас), а Минску никакого дела нет до нас и быть не может. Утешаемся тем, что хотя бы здесь нас знают и принимают наши читатели.

3. Таланты в наше время смиренно уступили дорогу людям от литературы. Искусственно созданы два-три имени, и это как охранная зона, через которую пробиться другим шансов почти нет. Почти нет доброжелательности и поддержки никому, а способному, талантливому — тем более. Ибо он должен сначала пробить стену и «охранную зону», — сможет, хватит сил и жизни, значит состоится. Но беда в том, что истинные творцы, тем более поэты, такими качествами не обладают. Если бы в наше время жила Цветаева, то она добилась бы в лучшем случае одной подборки в журнале «Нёман», который не продается в киосках, имеет смешной тираж и не по времени жалко оформлен. Это все, что светило бы бедной Цветаевой в наши дни! Она еще смогла бы издать сборник стихов на свои мизерные доходы, а потом спокойно и долго спать на этом тираже, т. к. поэзия в магазинах никому не нужна (даже известных авторов). Единственный вариант реализовать изданную книгу — раздарить библиотекам и знакомым.

4. Есть пожелания. Но кто их исполнит? Минску пора «проснуться», оглядеться и оценить обстановку: а не утонули ли уже все «известные» и малоизвестные в одной перегруженной лодке? Может, надо им вспомнить строки Пастернака: «Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех»? Ведь очень много молодых, талантливых (и не очень молодых, но интересных) творцов. Дайте же им дорогу в литиздания, протяните дружескую руку, почаще замечайте их книги в своих отзывах, не скупитесь на похвалу, не бойтесь, что у кого-то от этого вырастут крылья и он взлетит выше официально признанных. Никогда не ставьте себя выше других, и тогда сами же возвыситесь на законных основаниях. И хотя в Беларуси, на мой взгляд, нет географической провинции, но она существует везде: в Минске, в Гродно, в Островце и т. д., потому что она существует в головах и в отношениях творцов-литераторов.

ЮРИЙ ФАТНЕВ,
Гомель

Зачем ящерице хвост?

В сорок третьем, когда фронт приблизился к деревне Старые Дятловичи на Гомельщине, ее жители спасались на болоте. Не стихала канонада. Земля тряслась так, что ночью я просыпался и просил: «Мама, привяжи голову». Иногда снаряды шлепались рядом с нашими шалашами. Однажды утром я увидел лягушонка, гревшего лапки на еще тепленьком, случайно не взорвавшемся снаряде.

Иногда и в октябре радовали теплые деньки, и я играл с ящерками, выползавшими на солнышко. Почему они вспомнились через много лет?

Журнал «Нёман» попросил ответить на анкету о современной литературе. О том, чем отличается жизнь провинциальных писателей от столичных. Сразу же вспомнилось предостережение Юрия Кузнецова: «Поэт должен жить в Москве». Можно перефразировать: «В Минске». И еще строки Михаила Исаковского:

В провинции плохо живется поэту,
Который не пишет в ударном порядке.

«В ударном порядке» пишут некоторые знакомые литераторы. А что я думаю сам?

Кажется, в анкете был вопрос, не страдает ли писатель в провинции от малочисленности профессиональной среды. Тут сразу возникает другой вопрос: а сколько в этой среде должно быть тех, кто считает себя профессионалом? В Гомеле таких заблуждающихся полсотни наберется, и почти ни с кем я особо не жажду встретиться.

Ни в столице, ни в провинции не нуждается писатель в такой опеке.

Писатель нуждается в одиночестве. Так что своим «прозябанием» в Гомеле дорожу.

Осторожней со словом «поэт».

Максим Богданович четыре великолепных стихотворения создал: «Зорка Венера», «Пагоня», «Слуцкія ткачыхі», «У светлай краіне». Стало ясно — поэт. Янка Купала доказал это «Курганом», Павлюк Трус написал драгоценнейшее «Не заспі…». Создал чудо, а его до сих пор в подражании Есенину обвиняют. Да это стихотворение выше! Какая несправедливость! Таким сокровищем обладают белорусы и ни разу не издали его так, как заслуживает этот поэт.

За ним следует Михась Башлаков. Кто еще? Услышал N, что рядовая поэтесса Елена Агина — лучшая в СНГ, и обиделся.

Можно даже посочувствовать… Оставим времени решать, кто гений, а кто так себе. Глядишь, и жизнь пройдет за решением этого вопроса. И два тома, которые вы издали, благополучно канут в Лету. Далеко не вы один там окажетесь — чуть ли не вся современная литература.

Не с вами соревнуется Елена Агина. Не встречал в жизни человека более равнодушного к своему творчеству. Не стремится проталкивать в печать свои рукописи, хотя каждому человеку, знакомому с ее стихами, приходят на память Анна Ахматова, Марина Цветаева.

Был Анатоль Сыс. Есть Нина Шклярова. Ее ни разу не издали так, как того она заслуживает.

Пора понять — поэтов *не тысячи, а единицы.* Если такие драгоценные люди в Беларуси есть, о них надо говорить. Их следует считать золотым запасом нации.

Я делаю безнадежное дело — пишу правду.

Полсотни литераторов в Гомельской писательской организации, дерзающих на толстовскую славу, а вспомнил я кого? Елену Агину, Нину Шклярову, Еву Дудоргу. Больше некого.

Нина Шклярова время свое отдает литературной смене. Повезло нам еще на одного благородного человека. Иван Васильевич Бисев. У предпринимателя ох как мало времени. И все-таки он находит его не только для работы, но и для того, чтобы подумать о будущем. Неизвестно, что получится из молодых, но Иван Васильевич постоянно думает о них. Не выпускает из поля своего зрения. Оказывает существенную помощь в издании первых книг. Первой издал Машеньку Малиновскую. Да! Как же я не вспомнил о ней до сих пор?

Раздается в телефонной трубке голос милой Машеньки. Она — нарасхват: Минск, Одесса, Питер, Лондон, Рим… И всюду побеждает. Ох, рано на нее свалилось это горе — раннее признание. А литература — особа жестокая. Не щадит ни старого, ни малого.

Кажется, Машенька, что так и будет продолжаться: Минск, Одесса, Питер, Лондон, Рим…

Пять книг молодых издал Иван Васильевич. Редкий человек. Есть у него тяга к настоящей литературе. Есть вкус. Щедрость, почти не встречающаяся ныне.

Хочется верить: не ошибемся в своем выборе.

Что может сказать сегодня Евгений Замятин?

«Возможно, будущее русской литературы — это ее прошлое». То же, что и раньше.

Возвращаюсь к началу статьи. Литература, чтобы спастись, отбросит, как ящерица, хвост современной литературы. Классика выживет.

Поражаюсь энтузиазму Бисева. По-моему, безнадежное дело — выращивать поэтов. Поэты рождаются непредсказуемо и всегда некстати. Милая Машенька, скоро сном вам покажется: Минск, Одесса, Ленинград, Лондон, Рим… Кто будет вашим соперником? Не знаю. Но не выращивается в пробирке гений. Как трудно черту быть ангелом.

ВАСИЛЬ ТКАЧЕВ,
Гомель

Что наше, то наше

Последний раз, когда я наведывался в Минск и зашел к народному писателю Ивану Петровичу Шамякину, он, встречая меня в пороге, первым делом поинтересовался: «Ну как там, на Гомельщине, наша писательская братия поживает? Рассказывай». Слушая меня, классик белорусской литературы и мой прославленный земляк суетился по кухне — собирал что-то на стол: гость ведь, привечать надо. Хотя я и сопротивлялся, перед гостеприимством Ивана Петровича не устоял. Мы пили кофе, и я рассказывал… О писательской братии, да-да: как и просил Шамякин. А поскольку я тоже вхож в эту «братию», то и о себе — о том, что пишу, где печатаюсь… Ему было интересно — это было видно по выражению его глаз и по тем вопросам, которые задавал.

Ивана Шамякина нет с нами уже без малого восемь лет. Многое изменилось за это время в жизни литераторов нашей Гомельской области, а многое — и нет: остались сложившиеся годами традиции, они продолжаются молодыми поэтами и прозаиками, и это главное.

Еще будучи школьником, а жил я в деревне Гута Рогачевского района, заболел так же литературным творчеством. Писал стихи, рассказы. Понемножку начал печататься в газетах, в журнале «Бярозка», а первый рассказ «Шчарбаты нож» увидел свет в «Вясёлцы». Радовался еще и потому, что меня представили в журнале не как ученика Ильичевской средней школы, а как писателя — фамилия дана полностью и вверху. Как и положено — рисунок. Первыми моими читателями стали дед Яков и бабка Поля, а также деревенская ребятня: тогда, приятно вспомнить, ту же «Вясёлку» многие выписывали и читали.

Меня заметили, стали приглашать на различные районные литературные мероприятия. А гомельский писатель Михась Даниленко, которому я осмелился послать первый «взрослый» рассказ, отнесся ко мне как только можно внимательно. Он полностью разобрал мое начинание, указал на недостатки. Одним словом, вдохновил. Михась Петрович и сегодня в свои неполных 90 лет пишет и печатается, показывает пример писательского долголетия. Низкий поклон ему.

К чему я все это? Так получилось, что мне пришлось возглавить нашу областную писательскую организацию и стоять у ее руля 15 лет. И когда ко мне обращались начинающие авторы, я вспоминал свою дорогу в литературу, вспоминал Михася Даниленко и Миколу Чернявского (это он подготовил и сдал в издательство мою первую книгу рассказов для детей, сам же я служил в армии далеко от

Беларуси), и, конечно же, всегда относился к молодым поэтам и прозаикам так, как они относились ко мне. Заботливо, внимательно и в то же время требовательно. Даже сейчас, став пенсионером (естественно, по документам), я охотно читаю рукописи начинающих авторов. Да и не только начинающих. Если они тянутся ко мне — значит, верят в мою помощь и поддержку. В литературе, согласитесь, без этого не обойтись. В этом я убедился и на своем собственном опыте.

В 1967 году у нас на Гомельщине была создана областная писательская организация, которую возглавил прозаик Леонид Гаврилкин. После его переезда в Минск бразды правления перешли к Ивану Серкову автору нашумевшей тогда повести для подростков «Мы с Санькой в тылу врага». С Иваном Киреевичем меня связывала тесная дружба до последних дней его жизни. Мы часто бывали в его родных Покалюбичах, это в каком-то километре от Гомеля, в той хате, где он рос, встречались и в городской квартире. После первой повести И. Серкова, увидели свет и две другие — «Мы — хлопцы живучие» и «Мы с Санькой — артиллеристы». Над заглавием третьей повести думали вместе — или, точнее сказать, Иван Киреевич советовался со мной. Могла повесть называться и чуток иначе — «Мы с Санькой — салаги». Но в конце концов точку поставил сам автор.

Так получилось, что с легкой руки И. Серкова избрали секретарем областного отделения Союза писателей меня. Тогда в нашей организации были такие известные поэты, как Владимир Веремейчик, Микола Янченко, Виктор Ярец, прозаик Александр Сопот. Они регулярно печатались, издавали книги. Издал значительно позже не без помощи Валентина Лукши, который тогда возглавлял «Юнацтва», и Иван Серков три повести под одной обложкой — «Мы з Санькам…» За гонорар купил холодильник — на большее не хватило. Наступали смутные для нашей литературы времена. Хорошо, что успел приобрести холодильник. Мог бы и вовсе опоздать…

Наша писательская организация постоянно пополнялась талантливыми авторами. Пришли прозаики Анатоль Боровский и Валентина Кадетова, поэты Изяслав Котляров, Софья Шах, Иван Кирейчик, Таисия Мельченко и Нина Шклярова. Вернулся из России в Гомель Юрий Фатнев. Но, к большому сожалению, мы потеряли Владимира Веремейчика, Ивана Кирейчика и Миколу Янченко. Позже — и Ивана Серкова. А совсем недавно ярких, самобытных поэтов Феликса Мыслицкого и Игоря Журбина.

Рогачевщина, где жил и творил Микола Янченко, увековечила память о нем, назвав одну из улиц райцентра именем поэта. На доме в Покалюбичах, где жил Иван Серков, появилась памятная доска… Читал где-то, что в Ганцевичах, на малой родине Ивана Кирейчика, его именем названа улица.

Но ведь Гомельщина — и малая родина лауреата Государственной премии нашей страны Анатоля Гречаникова. А где это видно? В названиях улиц, библиотек? Отнюдь. Хотя, должен заметить, в Тереховке Добрушского района библиотека носит имя Леонида Гаврилкина, а в Житковичах создан литературный музей поэта и прозаика Миколы Гомолки.

Классики, конечно же, у нас в почете. В Глинищах, на малой родине лауреата Ленинской премии, народного писателя Ивана Мележа давно принимает посетителей музей. Недавно широкая экспозиция, посвященная жизненному и творческому пути народного писателя Ивана Шамякина, развернута и в Добрушском краеведческом музее, а на его родине, в деревне Корма, установлен памятник. В Старых Журавичах на Рогачевщине действует музей народного писателя драматурга Андрея Макаенка, также установлен памятник.

В вопросе увековечивания знаменитых писателей еще много белых пятен. Стереть их — задача, верится, ближайшего времени.

А литературная жизнь в моем Гомеле и в моей области продолжается. Издаются новые книги, выходит альманах «Літаратурная Гомельшчына». Примеча-

тельный факт: если раньше писатели группировались в основном в Гомеле, то сегодня они живут в самых разных уголках области. Михась Слива, к примеру, в Рогачеве, Виктор Ловгач — в г. п. Октябрьский, Валентина Кадетова — на Жлобинщине, Александр Коляда — в Мозыре… Да и сам председатель нашей областной организации Союза писателей Беларуси, прозаик и публицист Владимир Гаврилович — вовсе не гомельчанин, живет он в Житковичах, что не мешает ему успешно руководить отделением. Такое расселение литераторов по области, согласитесь, способствует развитию талантов на местах. Есть с кого брать пример, есть на кого равняться.

Нина Шклярова, надо отдать ей должное, организовала и ведет занятия в школе юных писателей, которая действует на базе Славянской библиотеки. Имеются и первые успехи. Студент Гомельского университета им. Ф. Скорины Александр Барановский издал уже два сборника стихотворений, принят в Союз писателей Беларуси. А поэтесса Мария Малиновская зарекомендовала себя и на международном уровне.

Но нельзя не отметить и то, что во многих районах перестали существовать даже на бумаге литературные объединения. Не выходят литстранички. А там, где и печатают изредка произведения местных авторов, не выплачивают им даже мизерный гонорар. Для своих сотрудников гонорар есть, для внештатников — не-а. Так, дескать, устав состряпан. Не победнеете, господа! Дайте поэту-школьнику на конверт, чтобы он отправил свои стихи в столицу. Да и на пирожок. Написать то же стихотворение — не каждому дано, это, согласитесь, труд, а каждый труд должен оплачиваться. Это мы и без Ленина знаем.

А вот городской газете «Гомельские ведомости» и ее редактору Тамаре Суботко хочется сказать отдельное спасибо. Несмотря на малую газетную площать, здесь находят возможность освещать литературный процесс в области.

Образцом для подражания может стать литературное объединение «Пралеска», которое работает при центральной библиотеке Гомельского района. В настоящее время его возглавляет член Союза писателей Беларуси прозаик Ева Дудорга. Результатом этой плодотворной работы стал коллективный сборник, который и назвали так, как называется объединение. Под одной обложкой — десятки авторов. Тут и профессиональные литераторы, и самодеятельные. За издание этой книги авторы благодарят свой районный исполнительный комитет и коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Тепличное». А ведь спонсоров можно найти и в каждом районе. Было бы желание. А его, к сожалению, кое-где и нет.

Похвален и следующий пример. В последнее время в Гомеле увидели свет коллективные сборники «Настрой», в котором собраны лучшие произведения работников культуры области, «Сиреневая свежесть», где представлены произведения медиков, «Вуліца Настаўніцкая» і «Пад небам Палесся» — с литературными произведениями работников образования и науки. Все эти сборники изданы по инициативе и полной финансовой поддержке отраслевых профсоюзов области.

Конечно, сегодня нашу писательскую организацию трудно представить также без Михася Болсуна, Алеся Дубровского, Олега Ананьева, Лилии Величко, Евы Дудорги, Александра Атрушкевича, Анны Атрощенко, Бориса Ковалерчика, Геннадия Говора, Юрия Арестова, Елены Матвиенко, Эммы Устинович, Лидии Возисовой, Александра Джада, Ивана Лосикова… У каждого из них свой творческий почерк, но цель одна — верно служить слову, служить родной литературе.

Приятно также отметить, что мы, писатели трех граничащих между собой областей — Гомельской, Брянской и Черниговской — часто проводим совместные литературные мероприятия. Нас печатают там, мы их — здесь. Как и должно быть у соседей. Поэтому на Гомельщине хорошо знают имена украинцев Станислава Репьяха, Петра Куценко, Василя Буденнова, россиян Владимира Сорочкина,

Николая Постнова, Николая Мельникова и многих других литераторов.

Наша Гомельщина — солнечный, уютный уголок родной Беларуси. Здесь живут трудолюбивые и талантливые люди, и когда на их долю выпадали серьезные испытания и в годы Великой Отечественной войны, и после аварии на Чернобыльской АЭС, они всегда с еще большим усердием и старанием продолжали и продолжают благоустраивать свою жизнь. На полях и фабриках, на фермах и заводах, в студенческих аудиториях — всюду, где можно приложить свои силы и знания, мои земляки добиваются заметных успехов. Не выбиваются из этой колеи и писатели. Издано много и талантливых книг, и, чего греха таить, не совсем таковых… Надо мириться: перед деньгами сегодня трудно устоять издателю. Но когда-то это должно уйти в прошлое, кануть в Лету…

…На улице лето, теплое, солнечное. Под окном у меня давно отцвела персидская сирень, а на клумбе, которая появилась несколько лет назад благодаря стараниям женщин — соседок из первых двух этажей девятиэтажки, по-прежнему благоухают цветы. Прохожие, а место здесь бойкое, нет-нет да и придержат шаг, залюбуются. Валентина, соседка и кондуктор автобусного парка, не без гордости и за свой труд как-то, наблюдая за такими прохожими, сказала: «Что наше, то наше». И женщина счастливо улыбнулась: приятно видеть плоды своего труда, а вдвойне приятно, когда они кого-то трогают, не остаются незамеченными.

Это — о цветах. А мне подумалось: так можно сказать и о писателях Гомельщины и их произведениях: что наше, то наше.

Ничего больше не добавляя.

ГЕННАДИЙ АВЛАСЕНКО,
Червень

Писатель и провинция

Я — типичный провинциал, ибо проживать изволю в маленьком районном центре, общая численность населения коего едва за десять тысяч перевалила. А так как я еще и пишу помаленьку (стихи, пьесы, прозу), то, по всему выходит, я — типичный провинциальный писатель.

Или, скажем более обтекаемо, провинциальный литератор…

А есть писатели (литераторы) столичные, в городе Минске обитающие…

И существует ли между нами разница, а ежели существует — то в чем она, эта разница?

Итак, чем же отличается жизнь столичного, скажем так, писателя от жизни писателя провинциального? Творческая жизнь, я имею в виду… не бытовая…

И что, собственно говоря, можно считать литературной провинцией?

Ну, Минск, ясное дело — центр! Политический, административный, промышленный. Культурный, а значит, и литературный центр нашей страны.

А Витебск?

А Могилев, Гродно, Брест?

Провинция это или тоже центры? Не только областные, но и литературные.

Впрочем, почему бы тогда не считать литературным центром Полоцк? Или Бобруйск?

Сто человек — толпа, один — далеко не толпа. (Это вроде всем ясно.)

А пятьдесят человек — толпа? А двадцать пять? А десять?

Где та грань, которая отделяет толпу от «еще не толпы»?

И где грань, которая отделяет литературную провинцию от литературного центра? Общее количество жителей данного населенного пункта? Или общее количество писателей, обитающих в оном? Или процент пишущих относительно общего количества населения?

Впрочем, в последнем случае любая захудалая деревушка с одним-единственным живущим в ней писателем оставит далеко позади себя не только областные центры, но и сам двухмиллионный Минск…

Дабы не углубляться в философские сии дебри, согласимся считать провинцией маленькие районные центры (как пример, город Червень, в котором я вот уж, считай, тридцать лет проживать изволю) и еще более мелкие населенные пункты (поселки, деревни), достаточно удаленные от столицы.

Итак, я — типичный писатель из провинции.

А хорошо это или плохо: быть писателем из провинции?

Поэты рождаются в провинции, а умирают в Париже… так или приблизительно так гласит известный французский афоризм (или, скорее, пословица). И такое действительно имело место и в давнем, и в относительно недавнем прошлом…

Париж, Лондон, Берлин… именно туда всегда стремились начинающие французские, английские, немецкие литераторы (а также художники, композиторы, музыканты или актеры), дабы прославиться, стать известными и востребованными. Становились они таковыми или не становились — вопрос, как говорится, десятый…

Но стремились! Жили впроголодь, ютились в бараках и на чердаках, брались за любую, самую грязную и низкооплачиваемую работу…

И мечтали, мечтали, мечтали…

А многие так и умирали безвестными, непризнанными мечтателями…

Минск для писателей нашей республики — тоже весьма притягательный центр. Именно туда всегда устремлялся отечественный литературный молодняк со всех концов республики, и именно с той же благородной целью: добиться успеха, стать известными и т. д. и т. п. И мы, литераторы провинциальной глубинки, всегда с известной долей зависти посматривали на писателей-минчан. У них было то, чего нам не хватало.

Редакции и издательства под самым, как говорится, носом — раз!

К их услугам театры, музеи, библиотеки, которые можно хоть по два раза в день посещать — это уже два!

Ну и реальная возможность устроиться работать, так сказать, по литературной специальности в редакции или издательстве — это уже три, кажется…

Я уже не говорю о спонсорах, которых в Минске несравненно легче отыскать, нежели в небольшом (да еще и сидящем на дотациях) городке, тем более в деревне…

Впрочем, с появлением и развитием «всемирной паутины», то бишь Интернета, тяга молодых дарований к литературным столицам стала заметно ослабевать. И молодой начинающий литератор, проживая, к примеру, в приморской испанской деревушке, вполне способен вести литературные дела не только с Мадридом, но и, если пожелает, с Мехико или Сантьяго, не покидая даже своего кабинета (ежели таковой имеется). Было бы желание да элементарный доступ в «сеть»…

Ну и литературный талант, как же без оного…

Так что, в наше время молодые белорусские таланты не стремятся уже «завоевать столицу»?

Стремятся, да еще как! Пресловутый «квартирный вопрос», талантливо отмеченный еще Булгаковым, немного их сдерживает, а не то б…

А ежели не в столицу, так хотя б в областной центр!

Если честно, было и у меня такое стремление когда-то. А сейчас — нет! Мой маленький городок Червень вполне меня устраивает. А Минск…

Бываю там иногда (где-то раз в месяц), причем стараюсь каждую поездку завершить с максимальным результатом (в смысле посещения редакций и издательств, встреч со знакомыми писателями и т. д., и т. п.). А в остальное время Интернет выручает.

Как раньше телефон выручал. И почтовое отделение.

А если порой взгрустнется за свое провинциальное существование, тут же вспоминается второй афоризм, принадлежащий, кажется, самому Юлию Цезарю: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме!»

Каково сказано!

Вспомнишь — и сразу же некое моральное удовлетворение ощущаешь! Вас, мол, в Минске, вон сколько, а тут я — один-единственный!

Завидуйте!

Впрочем, завидовать особо нечему. Ежели начну сейчас хвастать, что меня тут все узнают, когда по улицам городским неторопливо шествую… так это совсем даже не так. Узнают меня на улицах лишь мои знакомые (впрочем, таковых, за почти тридцать лет, набралось предостаточно), остальные же прохожие проходят мимо с полным, надо сказать, безразличием. Да, еще узнают меня на улицах многие молодые люди (парни и девушки), которые в то или иное время постигали под моим руководством азы биологии и химии. Я многих из них уже и не узнал бы (выросли, изменились), а вот они помнят. И вежливо здороваются. Но не как с писателем, а как с бывшим своим учителем…

Что ж, и на том спасибо!

А как насчет вдохновения?

Наверное, у нас, в провинции с этим даже получше будет…

Вот какие такие действия должен совершить столичный писатель, дабы из города на природу-матушку выбраться? По грибы, по ягоды, на рыбалку, для простого общения с природой, в конце концов…

Выйти из квартиры, дождаться лифта. Потом до ближайшей автобусной (троллейбусной, трамвайной) остановки пешочком дойти, какое-то время затратить на ожидание этого самого автобуса (троллейбуса, трамвая), дабы на нем до ж/д вокзала добраться. Там взять билет на ближайшую электричку, дождаться ее прибытия и…

Ну, а дальше по расписанию…

Впрочем, возможны варианты. На метро до автовокзала… взять билет на пригородный автобус и…

А нам, провинциалам?

Да вон же он, лес, грибной да ягодный, прямо из окошка моего наблюдается! Хочешь — пешком до него топай, не желаешь топать — велосипедные педали крути. Каких-то полчаса — и вот оно, вдохновение! Набирай хоть полную корзину, если грибов пока нет и ягоды еще не поспели!

Ну, а ежели серьезно…

Наверное, единственное, чего особенно не хватает писателям из провинции — общения. Простого человеческого общения с собратьями по перу. На секциях, на семинарах… да и просто за чашечкой горячего кофе или чего покрепче…

Минчанам в этом отношении куда как проще…

Я пишу стихи, пьесы, прозу, детские произведения. Казалось бы, могу хоть в каждой из вышеперечисленных секций самое деятельное участие принимать…

Ан нет, не могу! По причине своего провинциального местожительства!

Мне просто попасть в Минск — уже великое достижение! Ну а попав, стараюсь (как уже отмечалось выше) провести время с максимальной, так сказать, пользой (что не всегда, увы, удается). А проводя время, всегда стараюсь не забыть, что последний автобус в мою сторону — в девятнадцать сорок. А после этого уже ну никак не добраться!

Вот и сидишь, как на иголках, на том или ином столичном мероприятии. Все веселы, все получают, как говорится, истинное удовольствие… а ты нет-нет да и взглянешь на часы. Сколько ж мне этого удовольствия до последнего автобуса осталось… а еще и полчасика накинем, чтобы до вокзала вовремя добраться…

Так что в этом отношении нам, провинциалам, не позавидуешь.

Ну и не надо завидовать! Никому!

Ни нам, провинциалам, за то, что с природой куда более тесными узами связаны, ни им, столичным писателям, за то, что все блага цивилизации у них всегда под рукой.

Надо просто… творить!

В городе или на даче, в отдельном кабинете уютного коттеджа или в отгороженном ситцевой занавеской уголке простой деревенской избы…

Из ничего, из фантазии, из нахлынувшего вдруг вдохновения создавать свой собственный мир… мир, населенный придуманными тобой людьми. Разными людьми: хорошими и плохими, добрыми и злыми, веселыми и печальными…

Но обязательно живыми! Это главное!

Иначе это не литература уже, а так… низкопробное чтиво для простого убиения времени…

НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ,
Полоцк—Минск

Между центром и окраиной

Именно так я назвал один из своих коротких рассказов, где вспоминал свое детство, прошедшее на окраине Полоцка. И мне даже сегодня не хочется говорить, что оно прошло в провинции, ведь Полоцк — это первая наша столица, а для меня это — и столица моей души.

«Если вы так любите свой Полоцк, почему же вы из него перебрались в Минск?» — такой вопрос задали мне однажды на одной из многочисленных встреч в студенческой аудитории столичного вуза.

«Ну, во-первых, я перебрался уже в очень зрелом возрасте, — ответил я, — а во-вторых, — чтобы полней реализовать свои замыслы, в том числе и для того, чтобы рассказывать о своем родном городе».

Действительно, после переезда в Минск у меня вышли книги «Полацк — бацька гарадоў беларускіх», альбом «Я ад дрэва твайго лісток», посвященные родному городу, сборники стихов и прозы, многочисленные статьи в центральной периодике, передачи по радио и телевидению... В Минске состоялась любимая работа, настоящая дружба с прекрасным поэтом и человеком Алесем Письменковым, судьбоносные встречи со многими замечательными людьми…

Отсюда пролегли интереснейшие маршруты во многие европейские страны, далекий Китай, здесь вместе с коллегами пришлось практически заново создавать международное радио «Беларусь», которое ежедневно на семи языках рассказывает миру о нашей любимой стране.

Тем не менее Полоцк по-прежнему в моем сердце, в моих снах и мыслях, и еду я туда с трепетным чувством верности и любви…

А ведь я не хотел уезжать из Полоцка, хотя уже и был членом Союза писателей, автором четырех поэтических книг, вышедших в издательстве «Мастацкая літаратура», и работал собкором Белорусского радио в регионе. Более того, мы с товарищами по литобъединению «Крыніцы» были полны решимости доказать, что и на так называемой периферии можно реализовать самые амбициозные замыслы, да и просто жить интересной творческой жизнью, создавать атмосферу, не худшую в творческом плане, чем в столице. И это некоторое время удавалось. Мои друзья по литобъединению активно печатались в республиканской прессе, становились лауреатами престижных премий, художники выставлялись не только в стране, но и за рубежом… Мы выпускали литературно-художественный альманах «Край», в котором публиковались интересные произведения наших земляков, переводы, эссе, выходил альманах «Калоссе»,

был создан Полоцко-Глубокский филиал областного отделения Союза писателей…

Теперь все, за редким исключением, мои земляки живут и работают в Минске, некоторые — в других крупных столицах мира. Я часто встречаюсь на разных мероприятиях с известными уже в стране писателями, художниками, учеными, музейными работниками, с которыми вместе мы когда-то делили радости и огорчения, переживали общие проблемы на родной Полоцкой земле.

Почему же не получилось то, о чем мы мечтали, почему мы не победили провинциальность, оставив ее тем, кто и сегодня живет и трудится в родных местах?..

Причин тут достаточно много. Одна из них — хаос 90-х, когда разрывались привычные связи, когда рушились прежние устои, когда в одночасье литература и искусство стали доступны множеству любителей, претендующих (за деньги, связи, громкие заявления) на звание вершителей дум, когда из-за появившейся вдруг политической активности выставочными залами, страницами газет и журналов, экранами телевизоров завладели случайные люди…

Любой графоман мог выпустить солидный том чуть ли не в любом издательстве, были б только деньги. Творческие союзы переживали глубокий кризис, под маркой нового мышления зачеркивалось многое значимое, созданное предыдущими поколениями…

На некоторое время творческие люди оказались практически никому не нужными, и на периферии это было куда ощутимее, чем в столице.

Но это только одна из причин. Другая, извечная, — отношение между творческими людьми и местным социумом. В любом небольшом городке или поселке всегда существовала местная элита. Именно от нее зависело место писателя в жизни региона. Именно она определяла отношение к нему со стороны общественности, властей. И, несмотря на роль и значение земляка в общественной жизни страны, его роль и значение в родном городе или поселке определяли на местах.

С, мягко говоря, недопониманием воспринимались в Гродно Василь Быков, в Орше — Владимир Короткевич. Это, наверное, наиболее яркие примеры. Достаточно было писателю чем-то не угодить местному начальству, и он попадал в опалу. Легче было напечататься или организовать творческую встречу в столице, чем в родном городе. Но это еще полбеды. Нужно было жить, работать, а ни бытовых условий, ни нормальной работы в подобных случаях у такого человека на родине чаще всего не было. Вот и стремились многие покинуть родные места, перебраться поближе к редакциям и издательствам, к сообществу родственных душ.

Не скажу, что всем удалось найти в столичных коридорах свое творческое счастье. По разным причинам некоторые яркие в молодости таланты как-то растворились в общей массе, не нашли своего места. Но в большинстве своем для отечественной литературы они состоялись именно в Минске, который несравненно больше давал возможностей для этого.

К сожалению, проблема взаимоотношений между центром и провинцией не исчезла, хотя определенные сдвиги есть. На местах появились свои издательства, оживилась жизнь литературных объединений, писатели из периферии чаще стали публиковаться в центральной прессе, но назвать в полной мере равными возможности «провинциалов» и «столичных» пока трудно.

Не секрет, что по-прежнему больше шансов напечататься у того, кто чаще посещает редакционные кабинеты. Это касается и презентаций, внимания средств массовой информации. Писателю из провинции нужно приложить куда больше усилий, чтобы обратить на себя внимание литературной критики, широкой общественности.

Я всегда с трепетным чувством глубокого уважения относился к своим товарищам по перу Юрке Голубу и Олегу Салтуку, Софье Шах и Изяславу Котлярову, Алесю Жигунову и Владимиру Сауличу, Валерию Гришковцу и Анатолию

Шушко, Миколе Прокоповичу и Алесю Каско, Сергею Рублевскому и Францу Сивко, Лявону Невдаху и Ирине Жерносек, Надежде Солодкой и Герману Кириллову, Марии Боровик и Игорю Прокоповичу, Марьяну Дуксе и Алесю Жамойтину, Петру Ламану и Виктору Ярацу…

Не сказать, что они совершенно обделены вниманием критики, что не печатаются в нашей центральной литературной периодике, но порой ловлю себя на мысли, что и книг, и публикаций у них могло бы быть больше, если бы они были чуть поближе географически.

А какой значительный вклад в отечественную литературу внесли «провинциалы» Алексей Пысин, Владимир Колесник, Нина Матяш, Давид Симанович!..

Я не могу перечислить всех, кто плодотворно трудится на благо нашей литературы вдалеке от столичных проспектов. Но даже по тем фамилиям, которые я уже назвал, можно судить о том огромном вкладе в наше общее дело, который внесли и вносят наши так называемые «провинциалы». По сравнению с ними провинциалами выглядят как раз некоторые из тех «старателей», которые ежедневно обивают пороги редакций, строчат жалобы, что их не печатают, назойливо «окучивают» зрительские аудитории своим «творчеством».

Нет ничего страшней духовной провинции. Она не зависит от географии, она одинаково разъедает души людей, где бы они ни жили. С другой стороны, от тех, от кого зависит ход нашего литературного процесса да и, что греха таить, от всех нас, требуется не так и много: не делить творческих людей на столичных и нестоличных, а проявить больше участия к тем, кому по известным причинам сложнее реализовать свои творческие возможности.



ДЕНИС МАРТИНОВИЧ

Прогулки по театральной Москве

Что такое театральная Москва? Пожалуй, Мекка для всего постсоветского пространства. Хадж в нее — как приобщение к таинствам Мельпомены. Осенью 2011 года автор этих строк на протяжении месяца работал в московских архивах и, разумеется, не мог не использовать возможность познакомиться с последними премьерами в лучших московских театрах.

Правила игры в театральной Москве

В каждом монастыре — свой устав. В каждом обществе — свои законы. Уверен, что театральная Москва не может являться исключением. Было бы наивно утверждать, что все правила игры можно понять за одну поездку. Тем не менее, определенными наблюдениями (как театральными, так и околотеатральными) можно поделиться уже сейчас.

Одним из важнейших впечатлений является достаточное финансовое благополучие большинства коллективов. Если минские театры один за другим вступают в полосу реконструкции и капитального ремонта, то московские радуют глаз евроремонтом, новой отделкой зрительных залов и фойе. Большие площади позволяют практически каждому театру иметь свою малую сцену. Некоторым — сразу две основные, старую и новую. Поэтому репертуар театров достаточно насыщен. Например, на разных площадках в МХТ имени Чехова может идти одновременно три спектакля.

Достойные финансовые условия позволяют московским коллективам на достойном уровне представить свою историю. Разумеется, в большинстве случаев используются традиционные формы: стенды с портретами кумиров былых лет, старыми программками и афишами. В театре Моссовета я видел отдельный стенд, посвященный Ростиславу Плятту и Фаине Раневской, а в МХТ — выставку, посвященную Евгению Евстигнееву. Однако парадокс в том, что далеко не всегда современный уровень развития труппы хотя бы отчасти соответствует истории. Например, здание Театра на Таганке потрясает воображение своей сопричастностью к общесоветской и, возможно, даже общеевропейской истории искусства. Но новейший этап истории коллектива никак не соответствует его былой славе.

Было бы чрезвычайно смелым сказать, что все театральные постановки, которые зрители видят на сцене, соответствуют высшей категории качества. Значительное число спектаклей представляют собой банальное развлекательное шоу, с той только разницей, что их сущность спрятана под известными брендами. Отмечу любопытный штрих: организаторы многочисленных антреприз зачастую не видят разницы между потенциальной публикой и постоянными посетителями большинства театров. Практически после каждого спектакля я становился свидетелем ситуации, когда распространители предлагали зрителям рекламу очередной кассовой комедии. Но что интересно: около Студии театрального искусства

под руководством Сергея Женовача, одного из лучших московских коллективов, я ни разу их не встречал. Наверное, знают, что интеллигентная публика на антрепризу не пойдет?

Тем не менее, существует аспект культуры, который проявляется во всех московских театрах: они спокойно относятся к отрицательным отзывам о результатах своего труда. На сайте каждого коллектива выложены все рецензии на спектакли — от восторженных до отрицательных. Что касается наших театров, то, к сожалению, не все из них имеют даже свой сайт в Интернете. Лишь отдельные выкладывают на сайте рецензии, а не восторженные отрывки из «рекламно-завлекательных материалов». И только единицы находят смелость размещать мнения критиков.

Попасть на московские спектакли достаточно просто. В столице России уже несколько лет назад исчезли старые кассы с пожилыми билетершами, держащими в руках стопки билетов. Вместо них по всему городу, в том числе и в метро, находятся киоски «Ticketland», которые объединены в общую систему. Перед сотрудницами киоска находится компьютер, через который можно просмотреть общее количество билетов на любой спектакль и купить свободный. В Беларуси такая система действует пока только в Театре оперы и балета, некоторые театры также дают возможность выкупить отдельные места через Интернет, а в остальных случаях зрителю приходится бегать от кассы к кассе в поисках билетов. Но со временем переход на электронную систему неизбежен. Правда, у московской модели есть два недостатка. Во-первых, 10-процентная надбавка к цене билета, которую забирает себе компания. Во-вторых, продавцы, стремясь получить большую выгоду, стараются сначала продать более дорогие билеты. Поэтому названия некоторых театров даже не вносятся в афиши, расположенные на стене киоска, ибо там билеты достаточно дешевые.

Общее количество московских театров, театров-студий и центров уже перевалило за 150. Разумеется, познакомиться со всеми за короткое время практически нереально. Поэтому акцент я решил сделать на коллективы первого «театрального эшелона» Москвы, а также на бренды, известные еще с советских времен.

Театральный рай внутри МКАД

Те из читателей, кто хотя бы раз бывал в Москве, не могли не почувствовать особую атмосферу мегаполиса, которая очень часто напрямую влияет на театральные постановки. Тем не менее в столице России есть творческая среда, которая, казалось бы, не изведала стороннего влияния, где до сих пор в почете классика и хороший вкус. Речь идет о Студии театрального искусства (СТИ). Почему меня заинтересовал в первую очередь этот коллектив? Знатоки театра включают его в число лидеров современной российской сцены.

История студии ведет начало с 2005 года, когда выпускники мастерской Сергея Женовача, которую тот вел в ГИТИСе, приняли решение остаться вместе и продолжить играть дипломные спектакли. В том же году в Москве появился новый театр, который с 2008 года разместился в уникальном здании на улице Станиславского, где когда-то родился великий режиссер. Одновременно С. Женовач по-прежнему преподает в Российской академии театрального искусства (раньше ГИТИС), является художественным руководителем мастерской совместного обучения режиссеров и актеров на кафедре режиссуры, благодаря чему СТИ периодически пополняется новыми учениками мастера.

Одно из самых мощных впечатлений моей московской театральной одиссеи — спектакль «Брат Иван Федорович», поставленный С. Женовачем по Ф. Достоевскому (вернее, по 4-й части II книги романа «Братья Карамазовы»). Он достаточно свежий, премьера прошла в марте 2011 года. Сюжет спектакля основан на ожидании суда, перед которым должен предстать один из бра-



Сцена из спектакля «Брат Иван Федорович». Алеша — Александр Прошин, Лиза — Мария Курденевич. Фото с сайта театра http://www.sti.ru

тьев, Митя (А. Обласов), обвиняемый в убийстве отца. Его невеста, Катерина Ивановна (К. Васильева), Грушенька (М. Шашлова), которую любит Митя, брат последнего Алеша (А. Прошин) пытаются спасти невиновного. И лишь Иван Федорович (И. Лизингевич) знает настоящего убийцу отца…

Обращение С. Женовача к проблематике «Братьев Карамазовых» и выбор определенной части романа неслучайны. Первым спектаклем его Студии являлись «Мальчики», созданные на основе этого же произведения (только другой части). С. Женовач как бы возвратился к истокам, только на новом уровне прочтения текста. К тому же, стоит отметить склонность режиссеров, работающих в жанре психологического театра (Петр Фоменко, Григорий Козлов и Женовач, кстати, ученик Фоменко), к инсценизации прозы. Например, в репертуаре СТИ идут произведения по Н. Лескову («Захудалый род»), Ч. Диккенсу («Битва жизни»), А. Платонову («Река Потудань»). Причем обратим внимание на существенную разницу: режиссеры-модернисты зачастую стремятся перенести на сцену все произведение, благодаря чему в итоге нередко получаются спектакли-эпопеи (например, 5,5-часовой «Идиот» Эймунтаса Някрошюса). Адепты психологического театра чаще берут определенный раздел произведения, являющийся единой смысловой частью и фокусирующий авторский замысел.

Фрагмент романа основан на ожидании суда, и это становится лейтмотивом постановки. Аскетическая сценография А. Боровского представлена лишь казенными скамейками, расставленными на авансцене. Они могут находиться в тюрьме, суде и даже в церкви (присутствуют как в католических костелах, так и в некоторых православных церквях, например, болгарских).

Первая часть спектакля, состоящая из диалогов героев, объединена образом Алеши. Младший из Карамазовых выступает в роли ангела-херувима, он выслушивает и успокаивает героев, готовя их к человеческому и Божьему суду. Вторая часть «Брата…» выводит на первый план Ивана Федоровича. Диалог главного героя со слугой Смердяковым (С. Аброскин) выглядит как дознание, позволяющее определить истинного убийцу. Появление Гостя Ивана Федоровича (С. Качанов) — Черта, является символом обвинения, предъявляемого героем себе. А борьба за Ивана, которая происходит между Алешей и Гостем, символизирует споры о приговоре, ведущиеся между светом и тьмой, верой и безверием. В пользу версии свидетельствует и световое решение постановки (художник Д. Исмагилов): потоки света направлены так, что часть лица героев освещена, а часть находится в тени.

В финале спектакля перед зрителями открывается пустое пространство зала суда. С одной стороны, такое режиссерское решение свидетельствует о том, что главный суд все-таки происходит в сознании человека. С другой, оно символизирует, что решение ни человеческого, ни Божьего суда еще не вынесено. А значит, героям еще предстоит сделать свой окончательный выбор.

* * *

Довелось мне посмотреть в Москве и спектакль «Три года» этого же театра, созданный по одноименной повести А. Чехова, премьера которого состоялась в 2009 году. Казалось бы, ее нельзя назвать этапной в творчестве писателя. Тем не менее отдельные мотивы, встречающиеся в произведении, являются достаточно типичными для его творчества и своеобразным художественным кредо. Одним из таких мотивов можно считать тему провинции. Ведь в сочинениях Чехова, родившегося и выросшего в провинциальном Таганроге, прожившего часть жизни вдалеке от Санкт-Петербурга и Москвы, сквозной линией проходит контраст между образом жизни столиц и захолустий, между столичным и провинциальным мышлением.

Провинциальный дух с блеском передается в постановке «Три года» с первых сцен. В начале спектакля Женовач использует прием, повторенный позднее (правда, уже в других условиях) в спектакле «Записные книжки»: герои перед началом спектакля уже рассредоточены на сцене, где, как бы не замечая зрителей, живут собственной жизнью. Этим достигается эффект правдоподобности происходящего, а также феномен концентрации и насыщенности действия, куда сразу оказываются вовлечены все герои.

Множество смыслов спрятано в сценографии А. Боровского, которая представляет собой нагромождение железных кроватей, где отдыхают герои. У каждого из них есть маленький мирок, но при этом все находятся рядом и связаны общими заботами и интересами. Привычный образ жизни подчеркивается остроумным приемом режиссера: на протяжении спектакля большинство героев занимают горизонтальное положение на кроватях. Проще говоря, банально спят или отдыхают. Причем так звучит большинство монологов героев.

Действие начинается в маленьком городке, где служит главный герой, Алексей Федорович Лаптев (А. Вертков), являющийся сыном московского купца. Алексей влюбляется в молодую девушку Юлию Белавину (О. Калашникова), которая, изнывая от провинциальной скуки, соглашается выйти за него замуж, не испытывая каких-либо глубоких чувств. Молодые переезжают в Москву, и очень быстро оказывается, что между ними слишком много противоречий, слишком различны их взгляды на жизнь… И оказывается, что провинция не всегда географическое обозначение. Поэтому визуальный образ спектакля можно воспринимать и как символ столичной скученности и одновременно человеческого одиночества. Казалось бы, в таком повороте сюжета проявляется типичная черта Чехова как творца: дисгармоничность его произведений и внутреннего мира героев. Но Женовач, наверное, не был бы самим собой, если бы не интерпретировал текст писателя по-своему. В результате спектакль получился куда более светлым и гармоничным, чем оригинал.

Три года — именно такой период из жизни героев охватывает повесть и постановка — становятся длительным и трудным путем героев навстречу друг другу. На развитие образа Алексея, которому одинаково чужды как нелюбящая его жена, так и интеллигентские рассуждения друзей о необходимости преобразования России, больше влияют внешние обстоятельства. Болезнь и смерть отца, сумасшествие брата заставляют его взяться за управление семейным капиталом. Но на протяжении спектакля герой А. Верткова так и не избавляется от своего трагического одиночества.

Куда большее изменение характерно для образа Юлии. Героиня О. Калашниковой проходит долгий путь к пониманию своего мужа. Провинциальная, наивная девушка постепенно превращается в великосветскую даму, затем в мать, думающую лишь о своей дочери. И лишь смерть ребенка сближает ее с Алексеем. Спустя три года после свадьбы Юлия признается своему мужу в любви. Любопытно, что в повести этот фрагмент интерпретируется скорее в юмористическом ключе. Однако финал спектакля выглядит удивительно светлым и оптимистич-

ным. Думается, взяв в союзники Чехова, режиссер стремился убедить зрителя в простой мысли: в личных взаимоотношениях главным является все-таки человек, его личность, мысли, чувства, а не эпоха, страна и место действия. Потеряв родных и близких, многое пережив, герои «Трех лет» понимают, что нужны друг другу. В результате в спектакле, который сначала воспринимается как типичная семейная драма, неожиданно возникает мотив надежды.

Made from Tuminas

Отсчет новейшего периода в истории Государственного академического театра имени Вахтангова можно смело вести с 2007 года. Именно тогда его художественным руководителем стал знаменитый литовский режиссер Римас Туминас. Стоит отметить, что для Вахтанговского театра всегда были близки традиции не столько переживания, сколько представления, повышенный интерес к форме спектакля. Возможно, именно поэтому Туминас легко вписался в его пространство. В числе последних премьер режиссера — «Маскарад» М. Лермонтова и «Ветер шумит в тополях» Жеральда Сиблейраса.

Свой знаменитый спектакль по драме Лермонтова Р. Туминас сначала поставил в Литве, на сцене вильнюсского Малого театра. Однако премьеру на Вахтанговской сцене, прошедшую в январе 2010-го, режиссер рассматривал не как механический перенос, а как переосмысление прежних находок.

Как мы помним, сюжет «Маскарада» основан на взаимоотношениях Арбенина (Евгений Звездич) и его жены Нины (М. Волкова), которую супруг приревновал к князю Звездичу (Л. Бичевин). Однако для Туминаса эта история становится лишь частью, элементом постановки. В основе его спектакля… маскарад. Как символ эпохи, светского общества, дворянского, наконец, XIX века. С другой стороны, как символ переодевания, игры. Во что только не играют в спектакле: в снежки, в карты, в дуэль и даже в любовь. Но при этом никто из героев не забывает, что это всего лишь игра. И только Арбенин трагически серьезен. Наблюдая за событиями со стороны, он остается ироничным и защищенным. Как только вмешивается в ход событий и пытается играть по правилам, не понимая их смысла, он обречен.

Символическую роль играют в «Маскараде» музыка и сценография. Знаменитый вальс А. Хачатуряна, написанный именно для премьеры «Маскарада», состоявшейся в Вахтанговском театре накануне войны, 21 июня 1941 года, становится лейтмотивом постановки и передает атмосферу игры. Ту же роль выполняет и «снежная» сценография Адомаса Яцовскиса. Белый круг в центре сцены — и бальный зал, в котором кружатся в танце герои, и каток, попадая на который, оказываешься в эпицентре игры, и что существенно, с ледяным покрытием, ступив на которое, начинаешь скользить, не в силах остановиться. Последнее обстоятельство не случайно. Снежный шар, который катает и катает по сцене Человек зимы (О. Лопухов) становится символом рока и фатализма. Признаюсь, «Маскарад» Туминаса стал для меня одним из главных открытий театральной Москвы, продемонстрировавший безупречность сценического вкуса и стиля.

* * *

Действие спектакля «Ветер шумит в тополях» по пьесе французского драматурга Жеральдо Сиблейраса (премьера февраля 2011-го) происходит в приюте для ветеранов. Именно там, на одной из террас каждый день встречаются три героя: нервный, чувствительный, раздражительный Густав (В. Вдовиченков), флегматичный Фернан (М. Суханов) и чопорный, правильный, серьезный Рене (В. Симонов). Жизнь бывших фронтовиков Первой мировой войны (Густав

участвовал еще и во Второй) медленно подходит к концу. Густаву не разрешают выходить за пределы приюта, Фернан периодически падает в обмороки, и лишь Рене, находящийся в приюте 25 лет и экономящий свои силы, может совершать небольшие прогулки в окрестностях.

Период жизни героев, во время которого разворачивается действие пьесы, — осень их жизни. Весна и лето припали на военную пору. Именно вспоминая о ней, три товарища оживляются и начинают жить по-настоящему. Но эти рассказы непродолжительны и коротки, и после короткой вспышки энергии бывшие фронтовики вновь возвращаются в свою элегическую осень, из которой им уже никогда не выбраться. В приюте все тихо и спокойно, лишь ветер качает верхушки тополей, растущих на возвышенности.

Однако Густав, попавший в приют относительно недавно, всего 6 месяцев тому назад (тогда как Фернан находится там 10 лет, а Рене — 25), еще не может смириться с бездействием. Поэтому он предлагает своим друзьям совершить путешествие к тополям. С одной стороны, это попытка избежать забвения, обмануть смерть, вырваться из «осени» в настоящую жизнь. С другой, реализация плана может повлечь за собой смерть героев, которые не вынесут тягот пути. Поэтому тополя становятся удивительно многозначным символом: жизни — ведь колыхание их верхушек, пролетающие в небе птицы свидетельствуют о неизменном движении природы; смерти — ибо путешествие к тополям стало бы дорогой в иной мир. Наконец, символом Вечности, потому что ветер будет шуметь в тополях и когда героев уже не будет на свете. Характеризуя спектакль, хотелось бы отметить впечатляющий ансамбль трех исполнителей. Особенно стоит выделить В. Вдовиченкова, чья индивидуальная пластика убедительно передает образ пожилого человека.

Финал постановки элегический и светлый. Поднимается ветер, который сбрасывает с пюпитров, стоящих на заднем плане, листки с нотами. Они воспринимаются как чьи-то жизни, исчезнувшие из реальности.

Театр.doc

Среди московских коллективов особое место занимает Театр.doc. Практически все другие столичные являются государственными репертуарными театрами, имеют сцену, большой зрительный зал, фойе, служебную часть. Он размещается не в отдельном здании, не во флигеле или пристройке, а всего лишь в подвале обычного московского дома. Он был создан в 2001 году несколькими драматургами. Как утверждают создатели, «это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе».

Большинство спектаклей, идущих на его сцене, поставлены в жанре документального театра. Это не просто рассказ о подлинных событиях, происходящих с героями. Это реконструкция их судеб на основе документальных свидетельств (писем, дневников, интервью, встреч с реальными людьми) и художественное переосмысление.

Именно так стоит воспринимать постановку «Час восемнадцать» (премьера 2010 года), номинированную на российскую национальную премию «Золотая маска». В основе спектакля по одноименной пьесе Елены Греминой — реальная история юриста Сергея Магнитского. Он раскрыл крупную аферу, из-за которой государство ежегодно теряло огромные деньги. Далее Магнитский был арестован, провел год в тюрьме. Там его состояние здоровья резко ухудшилось. Несмотря на симптомы острого панкреатита, ему на протяжении одного часа и восемнадцати минут не была оказана необходимая помощь, из-за чего юрист скончался. Постановочная группа и режиссер Михаил Угаров использовали при создании спектакля тюремные дневники Магнитского и его письма домой,



Сцена из спектакля «Час восемнадцать». Фото с сайта театра http://teatrdoc.ru

выслушали свидетелей и изучили доклад Общественной наблюдательной комиссии. Итогом поисков и осмысления трагической судьбы героя и стал спектакль «Час восемнадцать».

По структуре постановка делится на десять сцен. В каждой из них выступает один из участников событий: мать Магнитского, судья, следователь, врач, фельдшер. Постановка могла превратиться в банальное осуждение тех, кто не помог и не спас человека, хоть мог это сделать. Это было бы актом справедливости, но в художественном плане вряд ли бы стало открытием.

М. Угаров пошел по иному пути. В «Часе восемнадцать» был с успехом применен принцип, использованный еще кинорежиссером М. Роммом в фильме «Обыкновенный фашизм», где нацистские преступники показаны как обыкновенные люди, отчего масштаб их преступлений становился еще более ужасным. В спектакле каждый из исполнителей получает возможность оправдать свое поведение. Более того, зрители могут решать, кто из «подсудимых», стоящих перед ними, прав, а кто виноват.

Например, судья (А. Жиряков), который отклонил просьбы о лечении, смягчении условий содержания и отказал Магнитскому в стакане кипятку (тот получал сухой паек и находился сутки без горячего), оправдывается тем, что это не является сферой его компетенции. Следователь (Р. Маликов) убеждает присутствующих в виновности Магнитского. Врач (И. Вилкова) считает, что подследственный симулировал свою болезнь. Фельдшер (А. Куров) демонстрирует непричастность к событиям и т. д. С одной стороны, у каждого героя — свой характер, индивидуальная манера поведения, логика оправдания, что превратило каждую роль в яркий образ. С другой стороны, М. Угаров и артисты сумели предельно обобщить типажи, которые из преступников-одиночек превратились в винтики системы.

После спектакля в Театр.doc практикуется его обсуждение с участием актеров и зрителей. Как ни странно, оно стало одним из главных эмоциональных



Сцена из спектакля «Пер Гюнт». Пер Гюнт — Антон Шагин, Пуговичник — Сергей Степанченко. Фото с сайта театра http://lenkom.ru

потрясений того вечера. Перед началом спектакля рядом со мной в очереди стояли два московских парня и девушка, мои ровесники, обычные москвичи, разговаривавшие о делах. Во время обсуждения неожиданно выяснилось: парни (кстати, оба юристы) сочувствуют как раз не Магнитскому, а сотрудникам правоохранительных органов. А один с улыбкой на лице честно признался, что будь судьей, тоже отказал бы подследственному в стакане кипятку.

Смысл жизни — в самой жизни?

Этот театр всегда притягивал зрителя, актеров, режиссеров, критиков. В советское время труппа, работающая на Малой Дмитровке, называлась Московским театром имени Ленинского комсомола. В 1990-м он получил современное название — «Ленком». Почти сорок лет, с 1973-го, коллектив бессменно возглавляет Марк Захаров. Невозможно перечислить всех звезд «Ленкома», среди которых блистали Олег Янковский, Евгений Леонов, Александр Абдулов…

Спектакль «Пер Гюнт», который мне довелось увидеть в «Ленкоме» (премьера — март 2011 года), по-своему символичен. Постановка, показанная в рамках трехлетней программы празднования 150-летия со дня рождения Станиславского, открывала седьмой по счету фестиваль «Сезон Станиславского». М. Захаров выступил в «Пер Гюнте» в двух ипостасях: в качестве одного из постановщиков (Олег Глушков являлся автором хореографии) и автора сценической версии. Драматическая поэма Г. Ибсена велика по объему, поэтому было интересно понять, как был интерпретирован авторский текст.

Бунт молодого Пера, его стремление к свободе приобрело в спектакле некоторый оттенок обреченности и тщетности. Нет, этого, пожалуй, не скажешь, глядя на молодого А. Шагина. Эдакий норвежский Уленшпигель — он живет свободой, дышит свободой и даже любовь к Сольвейг (А. Юганова) воспринимает как сво-

боду от серости и традиционности жизненного уклада. Судьба Пера Гюнта становится символом поисков. Причем поисков не столько «блудного сына», сколько вообще человека, появившегося из праха и обреченного рассыпаться в прах.

В пользу такой версии говорит одно из принципиальных решений М. Захарова: переосмысление образа Пуговичника (С. Степанченко). У Г. Ибсена герой появлялся лишь в конце произведения, стремясь переплавить Пера Гюнта в пуговицу. В ленкомовском спектакле Пуговичник становится одним из главных действующих лиц, эдаким Мефистофелем. Его роль многозначна. Он — спутник Пера, его спаситель в ряде безвыходных ситуаций. Кроме того, искуситель, прельщающий героя соблазнами и забирающий у него годы жизни. А еще своеобразная тень Пера, его второе «я», носитель прагматизма и хитрости, уравновешивающая фантазии и мечты главного героя. И, наконец, неумолимое напоминание Перу Гюнту о скоротечности его приключений.

Образ Пуговичника напрямую повлиял на структуру спектакля. Первая часть, где Пер еще молод, а влияние персонажа Степанченко минимально, становится величественной симфонией, гимном свободе, удали, решительности главного героя. Удачно чередуются драматические и хореографические сцены, сочетаются возможности сценографии и музыки, что становится мощным каркасом постановки, действие которой поочередно переносится то в мир людей, то в безлюдные горы, то в царство троллей. Хореография становится равнозначной частью спектакля.

Однако вторая часть, посвященная путешествиям главного героя, когда Пуговичник начинает доминировать над ним, показалась не такой удачной. Для показа на сцене всех странствий не хватило бы времени, поэтому Захаров был вынужден выбирать. В итоге он остановился на сюжете с восточной «красавицей» Анитрой (А. Виноградова) и показе сумасшедшего дома, куда попадает Пер Гюнт. Можно понять стремление постановщика показать бессмысленность и тщетные поиски героя, потратившего впустую лучшие годы жизни. Именно поэтому вторая часть явилась разительным контрастом первой. Динамизм в действии исчезает, сюжет развивается более медленно и неспешно. Но и отдельные элементы общего замысла перестают выполнять свои задачи. Отсутствие хореографии, слабое использование сценографии привели к некоторому «зависанию» отдельных фрагментов спектакля. Несколько ситуаций, в которых Пер не выдержал искушения, становятся символами чуть ли не всей его жизни. На мой взгляд, таких обобщений этого все-таки недостаточно.

В произведении Г. Ибсена финал (возвращение Пера Гюнта домой, где его встречает только Сольвейг, и смерть героя) выглядит неизбежной платой норвежского Икара за стремление подняться к небесам. В ленкомовском спектакле он приобретает дополнительные оттенки: история Пера Гюнта становится олицетворением человеческой судьбы и символизирует человека, искавшего смысл существования едва ли не с рождения и лишь на пороге смерти понявшего, что смысл заключается в самой жизни.

Стоит ли проходить кастинг?

На Большой Садовой, рядом с «Домом Булгакова» и Московским театром сатиры расположен Государственный академический театр имени Моссовета. «Золотым периодом» в развитии коллектива по праву считается время, когда на протяжении почти сорока лет его главным режиссером был Юрий Завадский (1940—1977). В этот период в театре играли Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Вера Марецкая, Георгий Жженов. С 1985 года коллектив возглавляет Павел Холмский.

В марте 2011 года на этой сцене прошла премьера спектакля «Casting/ Кастинг». По сюжету в провинциальный город приезжает известный хореограф Анна Пав-

ловна (Алла Сигалова), чтобы набрать для постановки мюзикла исполнителей на небольшие роли. На сцене местного театра она организует с этой целью кастинг. Алла Сигалова выступила в спектакле и в качестве хореографа-постановщика. Постановка и сценография Юрия Еремина. Он же написал и пьесу по мотивам либретто Дж. Кирквуда «A. Chorus Line» (в 1975 году по нему был поставлен знаменитый бродвейский мюзикл, а в 1985 г. в США был снят режиссером Р. Аттенборо фильм «Кордебалет»).



Сцена из спектакля «Кастинг». Анна Павловна — Алла Сигалова, Михаил Новиков — Алексей Овечкин. Фото с сайта театра http://mossoveta.ru

Перед создателями спектакля стояла достаточно сложная задача: удержать внимание зрителей на протяжении действия и до последнего сохранить интригу. На первый взгляд, это удалось. Во время первого действия участники кастинга по очереди показывают героине Сигаловой свои номера. Чтобы разнообразить действо, показ предваряется монологами, в которых будущие артисты рассказывают о себе, после чего показывают номер. Во второй части «Кастинга» хореограф проводит общее занятие, после которого определяет выбывших.

Однако при более внимательном анализе спектакля становится очевидным ряд спорных моментов. Наиболее существенный из них касается общей концепции. К сожалению, мне так и не удалось понять, какие же цели ставила перед собой постановочная группа, кроме банального переноса на русскую почву американской продукции.

Чтобы воспринимать спектакль всерьез, нужно все-таки привлекать профессиональных танцовщиков, а не только драматических актеров. Замечу, что такие исполнители у театра есть. В мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», который идет на сцене театра уже два десятилетия и по-прежнему находится в прекрасном состоянии, они демонстрируют достойный уровень. Что касается артистов, то впечатление от них неоднозначное. В финале, о котором речь пойдет позже, А. Сигалова смогла удивить зрителей. Выступление ее труппы выглядело достаточно эффектно, а для артистов драмтеатра — так просто здорово.

Но вот на протяжении спектакля впечатление было совсем другим. Эта мысль хорошо прослеживается на примере образа Михаила Новикова, бывшего мужа главной героини, роль которого исполнил профессиональный танцовщик Алексей Овечкин. (Начав карьеру в нашем Белорусском Большом академическом театре оперы и балета, он впоследствии переехал в Ригу, где является ведущим танцовщиком Латвийской национальной оперы.) До «Кастинга» Алексей несколько раз принимал участие в проектах А. Сигаловой, поэтому его участие в драматическом спектакле не вызывает удивления. Речь о другом. По сюжету, Новиков приезжает на кастинг не в форме. Разумеется, Овечкин честно пытался скрыть свой класс. Но где там! На фоне его разминки потуги его партнеров смотрелись просто убийственно.

Может быть, мы имеем дело с комическим произведением? Отчасти да. В фарсовой манере был интерпретирован образ Елены Крысановой (Т. Храмова) и ее балетный номер. В качестве блестящей интермедии воспринимались пери-



Сцена из спектакля «Ревизор». Хлестаков — Даниил Страхов.
Фото с сайта театра http://mbronnaya.theatre.ru

одические появления в зале старого актера Адама Васильевича (А. Адоскин). Однако образы других героев оказались не столь удачными.

Разочаровывали монологи в стиле дружбы народов, внезапное отключение света — все это выглядело достаточно банально. Вершиной «развлекательности» стал мужской стриптиз, доведенный почти до логичного завершения. Складывалось впечатление, что большинство ходов было придумано постановщиками не для развития сюжета, а с целью удержать внимание зрителей.

Внешне эффектный финал оставил после себя много вопросов. Какой смысл постановочная группа вкладывала в отношения Михаила Новикова и Анны Павловны? Может быть, профессионального танцовщика ввели в спектакль только для участия в страстном дуэте А. Сигаловой (кстати, интересном с точки зрения хореографии)? Однако дальнейшая судьба героя и перспективы на личном фронте не понятны. Но более существенно другое. В финале спектакля под руководством хореографа танцевали все участники кастинга, включая тех, кто не прошел по конкурсу. Если воспринимать вердикт Анны Павловны серьезно, возникает логичный вопрос: а что они там делали? Если нет, то какой был смысл в спектакле? Может, стоило показать только финальную сцену? А то и вовсе отказаться от кастинга?..

«Ревизор» в стране Развлекляндии

Своему названию Московский драматический театр на Малой Бронной обязан улице, на которой находится. Слава театра в наибольшей степени связана с творчеством режиссера Анатолия Эфроса, работавшего в коллективе в 1967—1984 годах. В 2007-м коллектив возглавил Сергей Голомазов, который в ноябре 2010-го осуществил постановку бессмертной комедии Николая Гоголя «Ревизор».

Признаюсь, начало спектакля заинтриговало. Часто среда, в которой разворачивается действие пьесы, красноречиво говорит о замысле режиссера. События

легендарного «Ревизора» Н. Коляды, поставленного в Екатеринбурге, происходили в непонятном русско-азиатском пространстве. Спектакль в версии В. Мирзоева, который осуществил постановку в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, переносил зрителей в тюрьму. У С. Голомазова действие разворачивается в очень глухой провинции. Чтобы это обстоятельство выглядело убедительным, режиссер доводит отдельную часть действия до гротеска. Например, высшие чины города, накинув на себя непроницаемые плащи, передвигаются друг к другу на лодках. Комично воспринимается картина в номере гостиницы, когда Хлестаков (Д. Страхов) и его слуга Осип (Д. Сердюк) страдают от голода, причем до такой степени, что главный герой едва не становится каннибалом. Эта сцена зародила определенные сомнения относительно общей концепции спектакля. Ибо при внешней эффектности этот «Ревизор» оказался в художественном смысле достаточно спорным продуктом.

Наибольшее удивление вызвало необъяснимое, на первый взгляд, стремление режиссера «реабилитировать» Хлестакова, городничего (Л. Каневский) и чиновников. В одних театрах поведение героев (сцену хвастовства и эпизоды с вручением взяток) показывают через сатирические краски, в других — доводят до абсурда черты персонажей, в третьих используют реалистическую манеру порицания персонажей. А у С. Голомазова градоначальники показаны как обычные, достаточно симпатичные люди, вынужденные по правилам игры делиться деньгами со старшими по званию. Именно поэтому эпизоды об унтер-офицерской вдове, учителе, ломающем стулья, воспринимаются как милые шалости взрослых людей. Символом такого подхода выступает образ Хлестакова, милого и обаятельного лгунишки, случайно воспользовавшегося подарком судьбы. Именно поэтому, когда начальство узнает, кем же был в действительности герой Д. Страхова, начинаешь едва ли не жалеть несчастных и доверчивых «отцов города».

Ставил ли С. Голомазов перед собой цель показать равнодушие и обыденность в восприятии феномена «хлестаковщины»? Вряд ли. Скорее постарался приблизить действие к сегодняшнему дню и одновременно максимально развлечь публику. Хлестаков и Осип играют друг с другом в бадминтон. Хлестаков качается на турнике. Марья Антоновна (Т. Ручковская) делает растяжку, садится на шпагат, а то и, надевая очки для купания, ныряет в воду под сцену, да так, что брызги воды попадают на зрителей в первом ряду партера. Поэтому не обличительно-сатирическое, а скорее юмористическое отношение к проблемам, поднятым Н. Гоголем в своей пьесе, стало составной частью общего замысла этого развлекательного спектакля.

Заключение

Прогулки по театральной Москве подошли к концу. Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное, а значит, посетить все постановки всех театров. Да и жанр прогулок подразумевает обязательное возращение путешественника домой.

Как передать общее впечатление от месяца, проведенного в Москве и насыщенного бурной театральной жизнью? В очередной раз перефразировать Хемингуэя и назвать театральную российскую столицу «праздником, который всегда с тобой»? Вслед за Генрихом Наваррским в свое время изрекшим «Париж стоит мессы», согласиться с тем, что Москва Женовача, Туминаса, Театра.doc стоит обедни? Трудно предположить, что через несколько лет в Минске может быть та же интенсивность театральной жизни, что и в Москве. И иногда мне кажется, что белорусские зрители стоят на какой-то полупустой театральной станции. А рядом набирает ход поезд, который увозит своих пассажиров в совершенно другую, не обязательно лучшую или более легкую, но куда более интересную и содержательную театральную жизнь.

ТАТЬЯНА КУВАРИНА

Суворовцы

Среди множества разнообразных учебных заведений Минска есть одно особенное. Сюда с детства стремятся попасть ребята, окрыленные мечтою о будущей профессии и четко представляющие, кем они хотят стать в своей взрослой жизни. Защитниками Отечества, офицерами, людьми, хорошо подготовленными, развитыми как интеллектуально, так и физически. Имя этому заведению — Минское суворовское военное училище.

Для многих замечательных людей оно стало первой ступенькой, с которой они начали восхождение к воинским званиям, заслугам и наградам. А для страны оно стало своеобразной кузницей кадров и той школой воспитания и реальной профориентации, которая близка и понятна не только молодежи, но старшим поколениям. К ней всегда было уважительное отношение.

Не могу забыть того впечатления, которое сложилось у меня, когда еще в школьные годы довелось побывать в этом училище...

Где-то совсем близко звучала танцевальная музыка. В холле Минского суворовского военного училища ребята, подтянутые, аккуратные, встречали девушек и, трогательно поддерживая их, вели по широкой мраморной лестнице вверх, к раскрытой двери, откуда и доносились эти звуки. Очень хотелось посмотреть, как там танцуют. Видно, это почувствовал и офицер-воспитатель, разговаривавший с бабушкой, когда мы с ней пришли навестить моего брата, который учился здесь уже три года.

— Александр, пригласи свою сестру на вечер, — тоном, не принимающим возражений, почти приказал офицер.

Брат, сославшись на то, что ему надо что-то еще делать, проводил меня в актовый зал и оставил одну, а я, растерявшись, стала у входа, у стены.

Осмотрев тот торжественный зал, я собралась уходить. И тут меня пригласили на танец. Высокий парень был прекрасным партнером. А я, девятиклассница из сельской школы, старалась не упасть в грязь лицом — не зря меня мама учила танцевать вальс. Потом был еще один танец, и еще... Пока брат не пришел за мной: «Хватит, пошли, меня отпустили в увольнительную». А уходить так не хотелось...

Это было очень давно, но тот вечер не забыла до сих пор. Никогда, ни на школьных, ни на студенческих вечерах, не было такой атмосферы — огромный актовый зал со сверкающими люстрами, звуки оркестра, воспитанные, галантные ребята, умеющие хорошо танцевать...

И вот через много лет я в сопровождении работников училища — командира роты, библиотекаря — хожу по святая святых — там, куда редко попадает посторонний — классы Суворовского училища, библиотека, музей, кабинеты руководства. Внутри здание такое же добротное, как и снаружи, — огромные потолки, большие окна, просторные светлые аудитории.

И вновь я вспомнила о том вечере, когда впервые пришла в Суворовское училище. Как и тогда, из актового зала доносились звуки музыки. Спросила у сопро-

вождавшего меня офицера, какое мероприятие происходит здесь днем. «Смотр художественной самодеятельности», — услышала в ответ.

В коридорах училища никого не видно: суворовцы заняты после обеда: кто самоподготовкой, кто на факультативах или спортивных секциях. Здесь с первого дня приучают ценить время, распределять его так, чтобы успеть и уроки сделать, и спортом позаниматься, и всевозможные кружки по интересам посетить. Здесь просто не бывает того, что можно встретить среди их ровесников «на гражданке»: праздношатание по улицам с сигаретами, а то и с пивом...

В училище поступают ребята, уже имеющие какую-то цель. И для того, чтобы ее достичь, они приезжают сюда из родительского дома, из-под маминой опеки, из домашней среды в почти военную обстановку — строгий распорядок дня, казарменное положение. Встречи с родными бывают не столь частыми: отпускают в увольнительные по выходным, если хорошие отметки и дисциплина.

Суворовец… Одно это слово вызывает в сознании образ благородного, воспитанного, хорошо образованного юноши. Здесь, в училище воспитывают желание стать кадровым офицером, формируют из подростка человека и гражданина в высоком понимании этого слова. Весь воспитательный процесс направлен на формирование у суворовцев понятий чести, смелости, товарищества, верности долгу, слову.

— Как показывает история Суворовских училищ, и в частности Минского суворовского, подавляющее большинство выпускников достойно проявили себя на службе в офицерском звании, а те, кто избрал мирную профессию, нашли достойное место в обществе, — рассказывает заместитель начальника училища МСВУ по идеологической работе полковник Дмитрий Зигмундович Воробей. — Конкурс в училище постоянно высокий, последние два года — не менее 5—6 человек на место. В настоящее время к нам поступают ребята с 12—13 лет. Они сдают два, три экзамена — математика, русский или белорусский язык. И соответствующие требования по здоровью, практически такие, как и для поступления в высшие военные учебные заведения.

С первых же дней занятий жизнь в училище подчиняется общему распорядку: подъем, физзарядка на улице при любой погоде, умывание, утренний осмотр, завтрак, занятия. Во время занятий — второй завтрак. После обеда — свободное время, факультативы, спортивно-массовая работа, самоподготовка. Это дисциплинирует, помогает справиться со всеми делами. Именно поэтому курсанты успевают за день сделать множество полезных дел — и к урокам подготовиться, и спортом позаниматься, и кружки посетить.

«Бывших суворовцев не бывает»

Перед тем как начать работу над очерком, попросила своего брата, выпускника 1970 года (в училище поступил после четырех классов общеобразовательной сельской школы) Александра Викентьевича Дереха, рассказать правдиво о годах, проведенных в Суворовском. И вот что ему запомнилось:

— *Учеба давалась нелегко, особенно в первое время. Но то, как нам преподавали, неизгладимо. Я тяготел больше к гуманитарным наукам. Любил иностранный язык, литературу, историю. Особенно запомнились уроки по русскому языку и литературе, которые вел бывший фронтовик майор Н. П. Вонаршенко. Родом был он из станицы Вешенской, учился вместе со всемирно известным писателем Михаилом Шолоховым. Каждый год ездил на свою родину и привозил массу впечатлений. Учил нас не только грамоте, но и как правильно произносить вызывающие затруднения слова и выражения. У каждого суворовца были заведены специальные толстые записные книжки, куда вносились пословицы, поговорки, изречения из классической литературы. Все рекомендуемые стихотворения, поэмы выучивались нами неукоснительно. Вплоть до того, что стихи*

у нас прослушивали во внеурочное время помощники офицеров-воспитателей. Многие стихотворения помню до сих пор. Николай Петрович организовал и вел литературный кружок, в котором мы все участвовали. Писали письма поэтам и писателям-фронтовикам, получали от них в подарок книги с дарственными надписями. В Минске посещали писателей — участников Великой Отечественной войны и поздравляли с праздниками.

Многие суворовцы запомнили старшего преподавателя физики майора Л. И. Чистовского, которого в шутку называли «Тошачка». Он часто вместо плохой отметки ставил точку, которую с ярко выраженным белорусским произношением называл «тошачка». Это значило для нас, что надо пересдать, т. е. ответить не только за невыученный урок, но и за все предыдущие в четверти. Иначе, говорил он, эта «тошачка» превратится в «двоечку». А значит, тебя в субботу и воскресенье в увольнение не отпустят. Думаю, многие суворовцы вспоминают этого преподавателя с улыбкой и уважением, потому что он был требовательным и справедливым. Никогда не забуду, как я не выучил закон Гука. Стыдно признаться и спустя много лет: я вырвал из учебника лист (чего раньше никогда не допускал). Меня вызвали к доске — она была разделена на четыре части, сразу четыре суворовца готовились к ответу по разным вопросам. Я вытащил лист, отвернулся лицом к классу и стал готовиться. Вдруг за моей спиной кто-то угрожающе засопел. Оборачиваюсь — преподаватель. Он меня выставил из класса. Какой стыд мною овладел — не рассказать. Потом он сказал, чтобы я без нового учебника не приходил. Перед тем как к нему идти, я основательно засел за учебник по физике, даже перестал посещать спортивные секции. Он меня принял и опрашивал на выбор все темы, пройденные за полгода. Надолго я запомнил этот урок. И с тех пор бережно отношусь к книгам.

Конечно, строгость по отношению к нам со стороны преподавателей была. Без этого нельзя. Система образования и воспитания была четко устроена и выверена.

Свободное время у нас было занято спортом — существовали различные спортивные секции. Зимой часто ходили на лыжах.

Между нами существовали хорошие отношения. Была взаимовыручка. Не помню случая, чтобы успевающий в учебе суворовец отказал в помощи товарищу. С удовольствием вспоминаю своего командира отделения Александра Хапалюка, окончившего училище с золотой медалью. Он всегда в старших классах приходил на помощь. За отличную учебу его даже награждали поездкой в Артек. Немецкий язык у меня был на высоте, поэтому мы часто с ним общались на немецком, чтобы совершенствовать языковую практику. Кстати, после окончания училища Александр поступил в Минский медицинский институт и окончил его с отличием. Стал доктором медицинских наук, профессором.

Во взаимоотношениях суворовцев приветствовалась искренность, открытость. Категорически отвергалось «стукачество». Когда кому-нибудь присылали посылки из дому, особенно к праздникам, все радовались. Посылка ставилась посреди класса, и каждый подходил и брал конфеты, угощения.

Надолго запомнились военные парады. В то время — с 1963 по 1970 годы — парады проводились два раза в год — 1 мая и 7 ноября. Иногда парады проводились и 3 июля — в День освобождения Минска. Я был в роте барабанщиков. Нередко тренировки надоедали, но потом, когда шли мимо трибун и зрителей, ощущали особый душевный подъем. После парада мы, отобедав в торжественной обстановке, отправлялись на каникулы.

После окончания Минского суворовского училища я вместе с несколькими товарищами-суворовцами поехал учиться в Донецкое высшее военно-политическое училище. Конкурс при поступлении был очень большой: 17 человек на место. Мы, суворовцы, прошли собеседование и были зачислены. В дальнейшем учились только на отлично. Вот такую замечательную образовательную подготовку

мы получили в родном СВУ. В высших военных училищах, как мы потом делились друг с другом, суворовцы всегда пользовались авторитетом, потому что всегда оказывали помощь курсантам, были борцами за справедливость.

Судьба нас разбросала, после развала СССР многие оказались в разных странах, по-разному сложились наши судьбы, но мы никогда не забываем светлых дней учебы в Минском СВУ.



Николай Иванович Смирнов проводит презентацию своей книги.

В этом рассказе суворовца — хотела написать бывшего, но вспомнила, как Дмитрий Зигмундович сказал, что бывших суворовцев не бывает, суворовец на всю жизнь, — очень коротко рассказано о самом главном — о том, какая царила обстановка в училище, о суворовском братстве и взаимопомощи, благородстве.

— И фирменный нагрудный знак — «краб», как его называют суворовцы, и погон, которые получают они при выпуске, носят под пиджаком, под мундиром, как дорогую реликвию, в знак верности своему училищу, своему братству, — рассказывает полковник Д. З. Воробей.

А как удается воспитать это чувство чести и локтя, хорошо знает Николай Иванович Смирнов, выпускник 1968 года. Николай Иванович — автор и соавтор нескольких книг, посвященных родному училищу: «Минское суворовское… (в фотографиях и документах)», «Минское СВУ… (листая документы)», «Мы помним алые погоны», «Минское СВУ и кадетское братство», и совсем новой — «С именем Александра Суворова».

Николай Иванович очень много сделал и для музея училища. «Он все свое свободное время работал над созданием музея, когда мы его попросили помочь. Очень любит училище, часто приходит сюда, выступает перед суворовцами. Был период, когда он после окончания 30-летней службы некоторое время в СВУ преподавал язык, занимался общественной работой. Больше, чем Смирнов, об училище не знает никто», — так охарактеризовал подполковника в отставке Николая Ивановича Смирнова культорганизатор МСВУ и секретарь Республиканского совета общественного объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз» Андрей Анатольевич Стовба.

— 1 сентября 1953 года прозвенел первый звонок в стенах Минского суворовского училища, а 6 ноября ему было вручено Красное (потом оно называлось Боевое) знамя, — этот день и считается Днем Минского СВУ. Основой учебно-воспитательной работы в училище на протяжении всех лет его существования являлось сочетание военной требовательности с отеческой заботой о детях. Менялось время обучения в училище — было и семь лет, и два года и три, теперь пять, но незыблемым было одно — воспитание всесторонне образованной личности и будущего офицера, по Суворову — носителя чести, — рассказывает Николай Иванович Смирнов. — Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, что бы получилось, если бы не Суворовское училище. Оно воспитало чувство ответственности, собранности, умение концентрироваться, работоспособность. Системность, и с точки зрения человеческих качеств, здесь и дружба, и кадетское братство, и многое другое, что в этих условиях может выработаться и сложиться.

Хотя существует у некоторых мнение: зачем это? Можно и после обычной школы поступить. Я не знаю, может, у меня по-другому и судьба бы сложилась, если бы я даже после окончания школы поступил, допустим, в высшее военное учебное заведение. Но уверен, что здесь мы приобрели большую широту взглядов, на природу вещей вообще, на жизнь. Я более осознанно выбирал свою дорогу. Мы постоянно встречались с выдающимися людьми и в военной сфере, и сфере искусства. Василя Быкова мы впервые увидели в стенах Суворовского училища, здесь он выступал перед нами, я прекрасно помню, у меня есть книга с его автографом. С Иваном Шамякиным, со всем цветом творческой интеллигенции. Все к нам приходили на встречи. Артисты Оперного театра считали за честь выступить именно на сцене нашего актового зала. Мы часто участвовали в массовках в спектаклях Оперного театра. Участвовали во всех гала-концертах, которые в нем проходили, — в качестве фанфаристов, барабанщиков.

Суворовцы постоянно посещают все театры — эстетическому воспитанию уделяется большое внимание.

Все мы там были и пионерами, и комсомольцами, но не было особо идеологической зашоренности. Наши офицеры-фронтовики и воспитатели нас учили жизни без фанфарного звона. Мы воспитывались самим укладом, традициями. Допустим, заканчивался учебный год, мы выезжали на реку Вилию. Там мы были полтора месяца. Тут и инженерная подготовка, и огневая, и спорт, и плавание, и сбор грибов и ягод, и рыбная ловля, и походы — никто не скучал. И в то же время была прекрасная возможность для изучения родного края. Мы ходили в походы с военными егерями — за 20, 30, 50 километров, а последний у нас был 140-километровый — от Вилейки и до Минска с привалами, во время которых были встречи с местным населением, партизанами, знакомство с памятными местами, связанными с писателями. Были походы на озеро Нарочь. Мы ночевали в палатках, по-боевому. Теперь все немного иначе.

Спрашиваю у Николая Ивановича, почему суворовцы иногда называют себя кадетами.

— Это надо было еще заслужить — кадетами называться, — поясняет мой собеседник. — Поскольку само по себе постановление об образовании суворовских училищ в 1943 году содержало фразу: по типу старых кадетских корпусов. А граф Игнатьев, известный русский агент — так назывался раньше военный атташе, стоял у истоков их создания. Он сам окончил Киевский кадетский корпус. И основой положения о суворовских училищах стало положение о кадетских корпусах царских времен — т.е. весь уклад, отделения, помещения, размещение, традиции, распорядок дня, форма одежды. Главными отличительными чертами кадетов во все времена были: самоотверженное служение Отечеству, верность своему долгу, патриотизм, глубокие профессиональные знания, широкая образованность и эрудиция. Среди девизов кадетов тех времен были известны такие как: «Кадет — звание на всю жизнь», «Кадет кадету — друг и брат», и конечно, знаменитый суворовский — «Жизнь — Родине, честь — никому». Думается, что и сегодня любой воспитанник Суворовского военного училища с честью подпишется под этими словами. Высоко развитое чувство войскового товарищества, порядочность и честь. У нас так исторически получилось, что каждый кадетский корпус имел свою форму по цвету — по околышу, — у кого-то был вишневый, у суворовцев — красный, так, как было ранее у Полоцкого кадетского корпуса. У них был красный околыш с белым кантом. Еще был Варшавский суворовский кадетский корпус — с таким же сочетанием. Когда-то Царство Польское был в составе Российской империи, — о чем кое-кто не хочет вспоминать. Так же как не хотят понимать ту благородную роль самого Суворова для белорусского народа. Ведь выдающийся полководец вместе со своими сподвижниками-белорусами спасли православную Беларусь от полного окатоличивания, а народ — от польской ассимиляции. Именно за это настоящие патриоты чтят память великого гене-

ралиссимуса, глубоко почитаемого не только у нас, но и в Швейцарии и других европейских странах.

Мой собеседник сам из военной династии — отец и дедушка были военными. И он с детства тоже мечтал стать военным, поэтому и пошел в СВУ, хотя и страшновато было сдавать экзамены после четвертого класса, появились сомнения: правильно ли? Жалко было оставлять школу, друзей.

— Но это быстро прошло. Экзамены я сдал хорошо и сразу поступил. Первое время, конечно, все немного тосковали, так обычно бывает. Но сам по себе уклад жизни, традиции, офицеры, командиры взводов, воспитатели, вся атмосфера (внимание к маленькому человеку — все относились к нам с пониманием, с учетом возраста) сделали свое дело: мы быстро адаптировались к новым условиям. В первый год — одно отношение, во второй, когда мы стали более взрослыми, — правила стали более близкими к военным. И уже с первого года обучения — с 1 сентября 1961-го, мы начали готовиться к параду, учились ходить строевым шагом. Тогда парады были на Октябрьской площади — мы, самые маленькие, впервые прошли строем впереди колонны. Был страх перед товарищами в том плане, что ты что-то нарушишь. Это была такая ответственность коллективная — за всех и за себя, конечно. Потому что это уже шла рота. Потом мы были барабанщиками, а когда уже стали взрослыми, высокими, — фанфаристами проходили впереди сводного оркестра. За семь лет, проведенных в училище, 14 раз прошел на параде. Некоторые кадровые офицеры не могут насчитать такое количество.

СВУ я окончил на «хорошо» и «отлично». Без экзаменов поступил в училище ПВО в Ленинграде, после его окончания служил. Потом другие учебные заведения оканчивал, в том числе и с языковым уклоном. Полученное в СВУ удостоверение переводчика немецкого языка и стало определяющим — моя работа была связана с немецким языком.

Когда в Питере учился, мы, курсанты, часто бывали в Царском Селе, и там у меня возникали мысли, что и у нас так было, как и у царскосельских лицеистов времен А. С. Пушкина: дружба, общение, жажда познания. У нас, как и в лицее, были замечательные преподаватели — они вызывали интерес, любовь к своему предмету. Это были лучшие преподаватели. Чтобы попасть в Суворовское, им надо было пройти через конкурс. Это были заслуженные учителя республики, отличники образования, которых мы до сих пор чтим, помним. К сожалению, многие уже ушли. Конспектами Петра Яковлевича Погребного, Михаила Ивановича Ливенцева мы, курсанты военных училищ, пользовались и на первом, и на втором курсах, потому что было все логично, четко и на все времена.

Страницы летописи

Вся история Минского суворовского училища бережно собирается и хранится здесь, в Музее истории училища. Он был создан в 1958 году и вначале занимал небольшую комнатку. Теперь экспонаты музея расположены в большом просторном помещении и вмещают множество экспонатов — здесь можно узнать обо всех важных этапах развития училища, о его выпускниках, о форме, которая несколько раз видоизменялась. Создан был музей благодаря преподавателю истории и обществоведения Борису Ефимовичу Фарберу, очень увлеченному человеку. Вместе с преподавателями истории Петром Яковлевичем Погребным, Михаилом Ивановичем Ливенцевым они осенью 1963 года создали исторический кружок. Кружковцы занялись поиском документов, которые бы рассказали историю самого здания, впоследствии ставшего основой для возведения Суворовского училища. Выяснилось, что в этом здании с 1840 года находилась духовная семинария, которая была передислоцирована из Слуцка в Минск и просуществовала до 1917 года. С 1920 года были 81-е курсы крас-



Старшие суворовцы вручают погоны вновь поступившим.

ных командиров, потом Объединенная Белорусская военная школа имени ЦИК БССР, затем Минское пехотное училище им. Калинина. Кружковцы собрали богатый материал и о судьбах выпускников этих военных заведений. Объединенную Белорусскую военную школу заканчивали такие выдающиеся люди, наши земляки, как Маршал Советского Союза И. И. Якубовский, генерал армии В. М. Маргелов, командующий войсками Белорусского военного округа генерал армии В. А. Пеньковский и многие другие военачальники. 11 выпускников этой школы были удостоены звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Так что это здание словно соединило вчерашнюю и нынешнюю историю училища, которую бережно здесь хранят.

Во время войны здание было разрушено не полностью, и в 1952 году, когда было принято решение о создании МСВУ, архитектором Заборским оно было восстановлено. На входе в актовый зал четыре колонны, на которых размещены четыре ордена Великой Отечественной войны. Четыре колонны символизируют четыре фронта, которые освобождали Белоруссию.

Здесь же, в музее, рассказывается о курсанте Рожневе, который первым надел форму суворовца и этим вошел в историю. Он жив. Дослужился до звания полковника. Теперь в отставке. Живет в Москве. Служил достойно в пехоте. Прошел не одну горячую точку — Вьетнам, Афганистан…

В музее есть стенд, посвященный выпускникам, погибшим при выполнении воинского долга. Здесь не забывают о подвиге своих выпускников. Их чтят, о них рассказывают вновь поступившим курсантам.

Николай Иванович Смирнов в разговоре со мной сказал, что музей — дело всей его жизни. Это увлечение началось с исторического кружка… И где бы он и как далеко ни служил, но всегда прилетал в Минск и заходил в свою альма-матер. В музей. И писал книги о суворовцах. А экспозиция музея, кстати, и называется «Как главы книги».

«Кузница кадров»

Среди выпускников училища большинство стали кадровыми военными, и почти все достойно служили и были примером для других.

Из справки училища

За 58 лет из его стен вышло около 12 тысяч выпускников, более 50 из них стали генералами, более 100 имеют ученые степени и звания. Более 300 окончили его с золотой и свыше 400 с серебряной медалью.

Выпускник 1956 года П. Г. Чаус стал генерал-полковником и был первым министром по делам обороны Республики Беларусь, министром обороны



Виктор Александрович Гуминский.

нашей страны являлся выпускник 1967 года Л. С. Мальцев, а ныне занимает должность Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь. В Вооруженных Силах РФ закончили свою службу генерал-полковники В. А. Иванов и А. И. Мазуркевич.

Выпускникам училища довелось участвовать во многих военных и миротворческих операциях. За период боевых действий в Афганистане и других горячих точках более 250 были награждены боевыми орденами и медалями, 32 погибли в боях, в память о них в 1993 году на территории МСВУ установлен обелиск.

Четверо выпускников стали Героями России: полковник А. М. Раевский, подполковник И. А. Касьянов, майор П. Н. Гапоненко (посмертно), подполковник В. А. Белявский.

А часть выпускников, которые по тем или иным причинам продолжили свою учебу в гражданских вузах, стали хорошими специалистами.

Из справки училища

Более 150 выпускников посвятили свою жизнь науке — стали докторами наук — В. Неумержицкий, Ю. Богатырев, В. Козловский, А. Хапалюк, С. Осьмачко, В. Тымчик, В. Хавинсон... и кандидатами наук — А. Курулев, Г. Маньковский, В. Кухарев, Ю. Тегин, В. Лагутин и многие другие.

Многие суворовцы после службы в армии стали ответственными государственными деятелями. Один из них — **Виктор Александрович Гуминский**, выпускник 1972 года, теперь является заместителем Председателя Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь — недавно был награжден орденом Отечества III степени.

— С детства, как и любой мальчишка той поры, я зачитывался книгами о войне, прежде всего о Великой Отечественной. В нашем клубе не пропускал ни одного военного фильма, где показывались героизм и стойкость воинов Красной Армии, партизан, подпольщиков, — рассказывает Виктор Александрович о своем выборе стать военным. — Солдаты, вернувшиеся с фронта, были для нас образцом для подражания. Но для меня, конечно, главным примером всегда был мой дед Василий. Я знал его только по рассказам моих родных — он погиб при взятии Будапешта. Но я всегда гордился им и хотел быть на него похожим. Поэтому и поступил в Минское суворовское военное училище.

— Трудно ли было Вам, еще не взрослому человеку, привыкать к распорядку в училище? — спрашиваю у Виктора Александровича.

— Я ведь крестьянский сын, и мои родители приучили меня к порядку и дисциплине. Привычка переносить трудности у меня, как и у всех моих сверстников, тоже сформировалась достаточно рано. Ведь наше детство пришлось на послевоенные годы, и мы тогда были, наверное, более самостоятельными, чем нынешние подростки. Я вовсе не хочу сказать, что мы были лучше. Мы так же учились, играли, проказничали. И все же времени на развлечения у нас было меньше: надо было помогать родителям по хозяйству. Это нелегко, но что делать, если в семье четверо детей, а я старший. Летом, во время каникул, работал в колхозе, чтобы

купить школьную форму и учебники. Так что жизнь в Суворовском училище мне не казалась особенно трудной. Хотя одна проблема все-таки была: я тяжело переживал разлуку с родителями, братьями и сестрой, скучал по друзьям.

— Что дали Вам годы учебы в МСВУ?

— Прежде всего, они заложили прочный фундамент моей будущей офицерской профессии. Я получил знания, как общие, так и воинские, отличную физическую подготовку, обрел способность мыслить самостоятельно, принимать верные решения и отвечать за свои поступки. Жить по правилам суворовской «науки побеждать» стало для меня внутренней потребностью. Но самое главное — учителя прививали нам чувство беззаветной любви к Родине, готовность защищать ее и, если потребуется, жертвовать ради нее собой. Кроме того, в стенах училища нас реально старались воспитывать всесторонне и гармонично. Гуманитарные дисциплины, предметы эстетического цикла, основы этикета и даже бальные танцы — все это впоследствии оказалось не только востребованным, но и помогло добиваться успехов в службе. И, конечно же, училище подарило мне замечательных друзей. Наша дружба проверена уже десятилетиями.

— Как сложилась Ваша военная карьера?

— В сущности, я никогда не думал о карьерном росте, просто старался честно исполнять свой воинский долг. Я закончил службу в должности заместителя командира армейского корпуса, не миновав при этом ни одной нижестоящей ступеньки. Если это карьера, то для крестьянского сына, считаю, вполне неплохая, тем более что у нас в семье, да и в роду вообще кадровых военных не было. Никто из родных не мог дать совет, и помочь было некому. Многому я научился у своих товарищей, у командиров, с которыми, считаю, мне в жизни очень повезло. Все они были люди разные. Но среди них не было ни одного непорядочного человека или непрофессионала.

— Вы теперь занимаете ответственный пост в Палате Представителей Национального собрания Республики Беларусь. Находите ли в Вашем напряженном графике время для встреч с товарищами по МСВУ и нынешними курсантами?

— Да, нахожу, но хотелось бы, чтобы это случалось чаще.

— Может быть, у Вас есть сыновья, и они пошли по Вашим стопам — выбрали профессию военного?

— Да, мой сын Александр кадровый офицер, подполковник. И я горжусь этим.

— Часто ли вспоминаете годы, проведенные в Суворовском училище?

— Постоянно, тем более что я часто проезжаю мимо здания училища. Говорят, что с годами плохое забывается и люди склонны помнить только хорошее. Но я, на самом деле, не могу припомнить ни одного плохого случая, связанного со временем, проведенным в Суворовском, — это искренне. И мне хочется пожелать всем суворовцам крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, а нынешним суворовцам — быть целеустремленными, стойкими и всегда помнить, что для военного человека верность Родине и честь превыше всего.

Как красноречиво это небольшое интервью с Виктором Александровичем! И как оно созвучно с тем, что я услышала о годах учебы в Суворовском от остальных моих собеседников — и тех, кто окончил училище давно, и тех, кто там еще учится.

* * *

Игорь Сакович, курсант 13-го взвода, учится в выпускном, 11-м, классе. Игоря встретила в библиотеке. Он рассказал мне, что поступал сюда после 7-го класса, минчанин.

— Папа был военным. Отчасти это повлияло на мой выбор. И, несомненно, на выбор профессии военного повлияло то, что оба дедушки воевали, оба удоста-

ивались многих наград. Я сам выбрал с детства эту профессию и не поменяю свое решение, — уверен Игорь. — У меня три сестры. Я средний. Отец одобрил мой выбор. Не только одобрил, но и напутствовал, чтобы служил Родине с честью и достоинством, чтобы всегда был в приподнятом настроении и всегда так шел по жизни.



Суворовец Игорь Сакович.

В школе, рассказывает Игорь, учился средне, но готовился к поступлению серьезно и поэтому выдержал большой конкурс.

— Здесь, в Суворовском, у меня переменилось отношение к учебе, к жизни, к окружающим людям, ко всему тому, что происходит в мире, стране, в обществе, — сказал юноша.

Моему вопросу, не скучает ли по семейной обстановке, все-таки в СВУ сугубо мужское общество, и дружно ли живут ребята, мне кажется, Игорь даже удивился.

— Мы в нашей роте устраиваем много различных мероприятий, которые не позволяют нам скучать, помогают развиваться, быть в курсе того, что происходит в обществе.

В училище с первого и до последнего курса нас обучают танцам. И мы выступаем на училищных концертах и не только. У нас танцевальные вечера проходят, приглашаем девочек.

— Какие предметы в Суворовском считаются основными?

— Физика, математика, большой уклон на иностранные языки, русский и белорусский языки.

— Мне заведующая библиотекой представила Вас как победителя одной из районных олимпиад. По какому предмету?

— По обществоведению. У нас замечательные учителя, отличная база для развития всех направлений. Это была олимпиада Центрального района, на которой мы заняли второе место.

— Ваша мечта о будущей профессии связана с общественными науками?

— Я ставлю цель быть просто военным. А может, и выберу что-то связанное с общественными науками: профессию военного юриста или специалиста по международным отношениям.

— Какие отношения между ребятами взвода?

— С первого дня, с первой минуты мы живем дружно. У нас сильно развито чувство коллективизма. Во взводе 28 человек. Минчан 13 человек. Мы не делимся на деревенских и городских.

— Успеваете ли участвовать в художественной самодеятельности?

— Вот сейчас готовимся к смотру самодеятельности. У нас в училище есть курсы по музыке, пению, хореографии, суворовский хор, ансамбль народных инструментов, так что все находят себе занятие, которое им нравится. Сегодня наша рота представляет свою художественную самодеятельность.

Настоящие наставники

Со времени создания Минского суворовского училища сюда направляли работать самых опытных педагогов и офицеров. В последующем сложилась



Урок физики ведет преподаватель Виталий Николаевич Жилко.

традиция, что офицерами служили те, кто сам когда-то был суворовцем. Так что они, как никто другой, понимали ребят, находили с ними общий язык и помогали преодолевать проблемы, возникающие во время адаптации на первоначальном этапе обучения. Подполковник **Андрей Леонидович Шашенько**, командир 1-й роты, которого заместитель начальника училища по идеологической работе Д. З. Воробей охарактеризовал как одного из лучших офицеров в училище, чья рота по итогам первого полугодия 2011—2012 гг. признана лучшей в училище, не исключение из правил. Он тоже выпускник Суворовского, 1988 года. Минчанин. О военной службе стал думать под влиянием отца, который, как Андрей Леонидович говорит, сам мечтал быть подводником, но здоровье подкачало. А родители, как правило, хотят, чтобы дети реализовали их несбывшиеся мечты. Потом была учеба в Ленинградском высшем общевойсковом командном дважды Краснознаменном училище.

— Оканчивал училище в 1992 году, и когда произошел развал СССР, все, кто были направлены из Беларуси, могли поехать домой, а кто хотел, остался в России служить, — рассказывает подполковник Шашенько. — Я выбрал Беларусь. А многие мои друзья остались там и до сих пор служат. Приехал сюда в 26 лет. Здесь, старшим лейтенантом, женился. Служил в Минске во многих частях. А потом зашел, как обычно заходят бывшие выпускники, в гости к своему командиру роты Владимиру Георгиевичу Тарнавскому, который меня выпускал. Он мне и предложил перейти сюда на работу — была вакансия офицера-воспитателя. И с 1999 года здесь работаю — тогда был эксперимент: в училище стали принимать на учебу на 6 лет. Когда я учился — здесь были только 2 года учебы, потом 3, а в 1999-м в порядке эксперимента брали на 6 лет. Я пришел на 2-й курс командиром взвода и четыре года вел суворовцев — до выпуска. Во взводе было 29 человек, выпускал 23. Тоже были реорганизации, реформирование внутри роты — из взвода во взвод переводили. Некоторые ребята ушли. Их немного, но все же есть и такие.

— По какой причине?

— Некоторые переосмыслили, решив, что это не их выбор. Некоторые ушли по здоровью, очень малое количество — не справились с учебой.

— Не выдержали нагрузок?

— Основная причина, что далеко родители. Это тяготит детей. Они хотят находиться поближе к дому, к родителям.

— А у них нет возможности часто ездить домой?



1-я рота во главе с командиром подполковником А. Л. Шашенько.

— Минчане или те, кто близко живет, — их отпускают в субботу и воскресенье в увольнение. В середине четверти у нас есть так называемое большое увольнение. Начальник училища полковник Виктор Александрович Лисовский разрешил отпускать детей в пятницу — практически двое суток они могут быть дома, а к понедельнику приехать.

Один курс выпустил, следующий набрал — мои подопечные также учились четыре года. Год не доучились — командир роты ушел на пенсию и порекомендовал меня на свою должность. Так в 2007 году стал командиром роты. К этому времени я уже хорошо знал жизнь училища. Эта должность уже более ответственная: другие требования, другие обязанности, все немножко по-другому.

— Основные Ваши обязанности?

— Основная обязанность и задача — формировать личность курсанта и нацеливать на то, чтобы он был защитником Отечества в первую очередь, т. е., чтобы шел по военной линии. Хотя в Уставе училища записано, что мы можем направлять выпускников, по их желанию, и в другие учреждения образования. Основу составляет образовательный процесс. Естественно, воспитывает и распорядок дня, чтобы суворовец не только в училище, но и за его стенами был достаточно организованным человеком. Я, как командир роты, можно сказать, организовываю процесс, чтобы он не давал никаких сбоев. А мои подчиненные — офицеры-воспитатели проводят занятия непосредственно по всем военным дисциплинам — огневой подготовке, тактической, строевой. В роте кроме командира роты работают еще старший офицер-воспитатель, четыре офицера-воспитателя, старшина роты, психолог, помощник воспитателя. Это все военные должности. Единственно, у нас могут заменяться должности психолога и помощника воспитателя гражданскими людьми. У нас в роте, например, психолог гражданский человек.

— Когда вы делали первый выпуск, трудно ли было расставаться со своими воспитанниками?

— Расставаться всегда сложно. Даже когда на каникулы отпускаешь, волнуешься, как они доберутся, как они там дома, чем занимаются. Всегда об этом думаешь. Тем более выпуск... И они переживают, волнуются. Но, как правило, когда в училище проводятся большие мероприятия, такие, как День училища — большой праздник, выпуск или набор на первое сентября, многие выпускники

приходят. Здесь они рассказывают, что у них произошло за время расставания, какие проблемы возникают.

Из первого выпуска Андрея Леонидовича — из роты — около 40 человек остались в Беларуси — пошли в военные училища, около 18—20 человек поехали учиться по направлению в РФ. В настоящее время они уже стали старшими лейтенантами и капитанами.

— Из моего взвода Егор Михайлевский окончил Суворовское училище с золотой медалью, поступил в Москву, в Военный институт, и получил специальность, связанную с информационными технологиями, — рассказывает подполковник Шашенько об одном из своих воспитанников. — Он из семьи военного. Мы с ним теперь встречаемся часто. Егор — старший лейтенант, работает недалеко от училища, в военно-информационном агентстве «Ваяр».

— Теперешние ребята отличаются чем-то от предыдущих, от тех, кого вы в первый раз выпускали?

— Все они очень разные, на характер многие обстоятельства влияют. Иногда кажется, что с каждым годом ребята все лучше и лучше. Другие качества какие-то проявляются. Этим выпуском я очень доволен. И по учебе они очень хорошо идут — намечается 9 кандидатов на получение золотых медалей. Участвуют активно в предметных олимпиадах. Например, Евгений Хмелевский является заместителем командира 2-го взвода, старший сержант, активно участвует последние два года в олимпиадах по обществоведению. В этом году занял второе место по районной олимпиаде по этому предмету. Игорь Сакович очень хорошо занимается: оценки у него «восемь» и выше. Он тоже принимал участие в олимпиаде по обществоведению и занял первое место на районной олимпиаде. В прошлом году принимал участие — был награжден Дипломом 3-й степени, а в этом году — 1-й.

— В Суворовское поступают, наверное, много детей военных?

— Да, в основном династии. Они уже знают, на что идут. Такие ребята осознанно делают свой выбор.

— Можно ли сказать, что суворовцы в будущем — это элита в армии, в обществе?

— Мы к этому стремимся. Мы воспитываем таких людей, чтобы они выделялись. Они и выделяются везде и всегда. Даже если не становятся военными. В гражданские институты идут — они и там отличаются самоорганизацией. И по жизни суворовцы в основном тоже показывают себя с лучшей стороны. Училище дает закалку на всю жизнь.

— Есть один момент, как мне кажется, сложный: воспитать у ребят отношение к девушке, женщине. И, наверно, это делать не так просто, потому что в училище учатся одни ребята?

— У нас есть предмет — танцы. В основном преподают бальные. Самый любимый танец курсантов — вальс. Несколько раз суворовцев приглашали в Оперный театр, там торжественно отмечают старый Новый год — проводят бал. Недавно прошел очередной. Я там тоже был и остался очень доволен тем, как ребята выглядели и танцевали. Они вели обходительно, достойно, по-гусарски, можно сказать. Там были как постановочные танцы — танцевали с девушками из хореографического училища, так и обычные — танцевали со всеми. Они приглашали и их приглашали. В училище проводили суворовский бал. Приглашали в основном девочек из хореографического училища, чтобы они могли танцевать вальсы и другие бальные танцы. Мы хотим, чтобы это была не просто дискотека, как везде, а именно бал — бальные танцы, а у девушек — соответствующие наряды. Конечно, у нас проводятся и дискотеки, и вечера отдыха. Они проходят примерно раз в четверть. Но меня больше впечатляют балы.

— Бывают ли случаи, когда суворовцы — ребята все же — шалят, и как Вы с этим справляетесь?



Прощальный вальс.

— Весь процесс как раз и направлен на то, чтобы этого не случилось. Энергия ребят уходит на учебный процесс, во внеклассную работу, выплескивается в спорте, танцах. Конечно, бывает, и пошалят, естественно, прорабатываем.

— Во многих школах, не секрет, на переменках собираются где-то за углом и курят. А у вас?

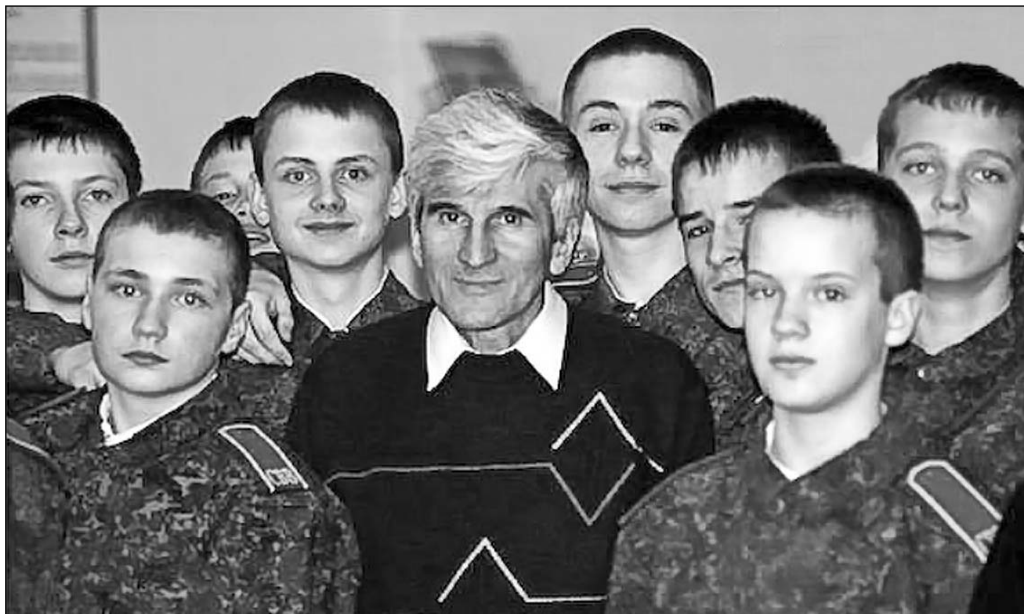
— Теперешний начальник училища — полковник Лисовский, да и предыдущий, обращали особое внимание на то, чтобы таких нарушений не было. Практически никто не курит. Конечно, как и все дети, бывает, и балуются. Но серьезных нарушений нет. Во-первых, режимное учреждение. С нарушителями борьба ведется.

— О каких важных эпизодах из жизни роты еще можете рассказать?

— Наша рота парад 3 июля 2011 года, на День Независимости, открывала. Практически все суворовцы — 64 человека плюс запасные — участвовали в подготовке парада. Тренировки начались примерно с марта. Только снег сошел, и мы уже на площадке возле училища начали тренироваться. Сначала индивидуально с каждым суворовцем занимались — с барабаном и без. Ребята не роптали — участвовать в параде большая честь для любого суворовца. В этом году каждому, кто участвовал в параде, было вручено именное Благодарственное письмо Президента Республики Беларусь.

— Вы уже, наверное, интересуетесь у своих ребят, кто куда собирается идти после окончания училища?

— В основном все в военные училища. Некоторые хотят служить в мотострелковых, по моему примеру, и связистами, и артиллеристами, кто-то мечтает о военном факультете БГУ, где есть специализация «международные отношения», туда производят набор всего 6—8 человек. Поступают без экзаменов, если окончат училище на 6 баллов и выше, в Военную академию на командные специальности — в мотострелковые, артиллерийские и танковые войска. В остальные все вузы будут поступать на общих основаниях. Сейчас в республике проходит централизованное тестирование, в котором они могут участвовать, пробовать свои силы. Бывает, что ребята выбирают гражданские профессии, — у них есть такое право. Но мы, конечно, хотим видеть своих выпускников военными.



Поэт Михась Башлаков с членами литературной студии «Да Зор».

Не хлебом единым

Самое популярное, пожалуй, место в училище — библиотека. Ребята сюда приходят готовиться к рефератам, взять книгу, журнал и просто почитать. Уютный зал библиотеки располагает к этому. **Беляева Галина Петровна,** заведующая библиотекой МСВУ, работает в училище с апреля 2008 года. За это время здесь организована литературная студия, суворовский пресс-центр и литературная гостиная.

— В сентябре 2008 года я попросила поэта Михася Башлакова, чтобы он руководил литературной студией. Ее открытие состоялось в октябре, — рассказывает Галина Петровна. — Было трудно придумать название студии — даже конкурс устроили. В итоге выбрали — «Да Зор». В этом названии и стремление к звездам, и стремление к поэзии — о чем еще мечтал Максим Богданович: «Усе мы разам ляцім да зор...» Суворовцы — будущие офицеры, поэтому реализация в военной жизни для них так же важна, как и творчество. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, т. е. получить больше звезд на погонах. К тому же созвучие со словом «дозор» — это защитники стоят на страже Отечества. В студии занимается около 25 человек. М. Башлаков проводит с ними мастер-классы. На них он приглашает поэтов и писателей.

Члены студии участвуют в различных творческих конкурсах, в частности, в проекте «Натхнёны водарам Радзімы», который проводила газета «Переходный возраст». За что получили Благодарственное письмо от редколлегии газеты за активное участие. В 2010 году военное агентство «Ваяр» проводило конкурс «Мы защищаем мир». Суворовец 1-й роты Дмитрий Моров стал победителем в номинации «Литературный жанр» — «Письмо солдату». И он в своей возрастной группе получил Диплом II степени. Стихи суворовцев печатаются в «Белорусской военной газете», в нашем информационном вестнике «Честь имею». Члены литстудии — активные участники всех мероприятий, проходящих в городе. Сотрудничаем с 20-й библиотекой, там были на мероприятиях: «Поэзия во фронтовой шинели», где читали стихи; на вечере, посвященном Владимиру Короткевичу; 9 декабря 2011 года — на Дне памяти Максима Богдановича.

И это только малая часть работы, проводимой литературной студией. Недавно выделено помещение для «Литературной гостиной», где и проходят встречи с

писателями. Здесь встречались с суворовцами писатели и поэты: Алесь Савицкий, Николай Иванов, Михаил Токарев, Владимир Федосеенко, Александр Суслов, Владимир Коризна, Михась Башлаков, Михаил Поздняков, Андрей Тявловский, Алексей Дударев, Николай Иванов, Виктор Правдин, наш выпускник Николай Смирнов, Анатолий Сульянов, Сергей Трахименок, Евгений Коршуков...

— У нас состоялась презентация книг бывших суворовцев — Николая Смирнова: «Василий Мудрый», «С именем Суворова», «Секретный узел»; Виктора Ефремова — «Возмездие срока не имеет», в которой автор, бывший офицер ГРУ, один из директоров знаменитой тюрьмы Шпандау в Западном Берлине для высокопоставленных военных преступников гитлеровского режима, рассказывает об этом уникальном периоде своей службы; Николая Кунца — «Гордость суворовского братства», «Минское СВУ», «Твои сыновья, училище», — рассказывает Галина Ивановна. — Несколько суворовцев мечтают о профессии журналиста. Мы им помогаем готовиться к поступлению. Например, выпускник СВУ Илья Лицкевич стал журналистом, Влад Великий и еще несколько человек — студенты факультета журналистики. Они сотрудничали с разными республиканскими газетами, активно писали в нашу газету «Честь имею». А в этом году суворовец Максим Вечер пришел к нам с просьбой помочь в подготовке материалов — он тоже мечтает о профессии журналиста.

Все в училище делается для того, чтобы молодой человек нашел себя, выбрал профессию по душе.

«Суворовское братство в нас и с нами»[1]

Крепки узы суворовского братства. И в общественное объединение «Белорусский суворовско-нахимовский союз», образованное в мае 1992 года, пришли ветераны и выпускники суворовских военных и военно-морских училищ, а также спецшкол и кадетских корпусов. Этот союз является учредителем и активным членом Международной ассоциации суворовских, нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство». Благородны цели этого союза — патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе традиций армии и флота, основанных на чести, достоинстве, мужестве, оказание социальной и моральной помощи и поддержки суворовцам, нахимовцам, кадетам, командно-преподавательскому составу бывших и действующих СВУ, НВМУ и КК, членам их семей и семьям погибших или умерших ветеранов. В настоящее время союз возглавляет выпускник училища полковник Ю. П. Сеньков.

— С Белорусским суворовско-нахимовским училищем у нас теснейшие связи, — говорит Дмитрий Зигмундович. — Мы — единое целое. Подавляющее большинство наших выпускников состоят в этом союзе. У нас очень часто проводятся совместные мероприятия. Главное из них — это День училища 6 ноября. Все наши выпускники приглашаются. И традиционно проходит в конце ноября встреча, которая приурочена ко дню рождения Суворова — 24 ноября, а мероприятие проходит в ближайший к этому дню выходной. В этом году встречались 27 ноября. Суворовское братство складывается из маленьких кирпичиков. Достаточно прочно складывается. Суворовское братство для нашего училища — это то, что каждый выпускник — будь ему 50—60—70 лет — приезжает сюда, как к себе домой, приводит сюда своих детей, внуков. Кроме традиционных встреч летом сюда приезжают постоянно все выпуски. Бывает, собирается до 30 человек, бывает, один приезжает. Недавно к нам зашел один полковник в отставке, говорит, я окончил училище в 1960 году с медалью. Мы пригласили его в зал, где на стенде есть его фамилия как окончившего училище с золотой медалью. Ему было приятно.

[1] Из стих. Геннадия Чунишкова «Суворовское братство».



Скульптура Владимира Жбанова «Маленький генерал».

Особенно тронул меня рассказ секретаря Республиканского совета общественного объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз» Андрея Анатольевича Стовбы о том, что каждому суворовцу БСНС дарит на Новый год сладкие подарки. Ведь это в хороших семьях принято поздравлять родных с Новым годом.

Есть еще одна акция у союза, о которой невозможно не рассказать. В этом году международной ассоциацией проводится международная акция «Незабытые могилы».

— Мы сделали керамические суворовские погоны и наклеиваем их на могилы наших товарищей — выпускников суворовских училищ. В этом мероприятии участвуют выпускники и теперешние суворовцы. Мы, конечно, спрашиваем разрешения у родственников. В мае проводили центральное мероприятие. В этой акции приняли участие представители ассоциации из Москвы и других суворовско-нахимовских объединений — Литвы, Латвии, других стран, где живут суворовцы. Все они держат связь с Москвой, а выпускники МСВУ — с Минском. Наши суворовцы в разных странах — но все помнят о своей кадетской юности, а многие, кто учился после четвертого класса, и о своем кадетском детстве.

* * *

При входе в училище на ступеньках контрольно-пропускного пункта стоит скульптура Владимира Жбанова «Маленький генерал»: озорной босоногий мальчишка примерил на себя шапку и мундир со всеми регалиями своего деда — генерал-полковника. И на его лице столько гордости! Он сразу стал серьезным, выпрямился, рука потянулась к шапке, чтобы отдать честь своему деду-командиру. Так и стоит он, приветствуя всех входящих в училище, и сомнения нет, что он и сам пойдет по стопам своего заслуженного деда и путь его будет таким же достойным. Символическая скульптура! На эти ступеньки приходят такие же мальчики, но в мыслях они примеряют мундир генерала и будут идти непростым путем, чтобы ступенька за ступенькой постигать азы военной науки, принимая эстафету у своих отцов и дедов.

Фото Инны Ращинской
и из архива Виктора Гуминского.



Рецензия на жизнь: роман Наталии Костюченко «Верба над омутом»

Прежде всего не могу не поделиться сугубо личным переживанием, связанным с романом Наталии Костюченко, главы из которого публиковались в журнале «Нёман» еще в 2007 г. До сих пор помнится то грандиозное впечатление, которое произвели на меня уже первые страницы… Удивление, граничащее со стрессом. Глаза бегали по строчкам, а в мыслях пульсировало известное чеховское: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». …А что бы вы почувствовали, если бы прочитали в литературно-художественном журнале свою собственную историю? Да еще с такими подробностями и деталями, которых никто, кроме вас, не мог знать по определению? Да еще с описанием наитончайших ваших чувств, эмоций, переживаний?

А случилось именно это. Я читала о себе. Узнавала себя, узнавала свои чувства — прежние и настоящие, узнавала эпизоды своей жизни, вспоминала почти забытые ощущения. Казалось, будто мне заглянули в душу и теперь предают огласке мое, очень личное, даже сокровенное... Начиная от таких мелочей, как, например, ностальгия по детству, сожаление о себе прежней — той, которой я была когда-то… «В детстве, когда воспринимался иначе весь мир: и солнце, и звезды, и трава, — я тоже была другая. В той маленькой девочке, в которой сегодня так трудно найти общее с собой, еще не успело исчезнуть что-то очень важное — то, что есть почти в каждом ребенке, и чего, к сожалению, ни у меня, ни, наверное, у любого другого взрослого человека уже нет».

Даже если допустить, что подобное ощущение не уникально и присуще многим из нас, то следующий эпизод романа меня по меньшей мере ошеломил. «...В детском саду, куда меня, пятилетнего ребенка, определили родители, я молчала полгода. Не в том смысле, что мне просто подолгу не хотелось говорить, а в том, что за полгода я не произнесла ни слова». Дело в том, что все это было и со мной. Детство в деревне, сильная и нежная привязанность к бабушке, переезд в Минск и полугодовое молчание. С той несущественной разницей, что мое молчание случилось в первом классе школы. Вероятно, в это совпадение трудно было бы поверить, но когда-то я опубликовала свою историю. Это было небольшое эссе «Случайная встреча» («ЛіМ», 24 марта 2006 г.), где речь шла именно о моих детских впечатлениях от города, о моем одиночестве, о моем молчании — единственном средстве защиты от чуждого мира… Схожесть ситуаций с той личной, о которой рассказала Наталия Костюченко, поразила меня до глубины души. Стоит ли говорить, какими жадными глазами я читала главы романа в журнале?..

И вот издана книга «Верба над омутом», получившая одноименное название с завершенным романом. Я взяла ее в руки и вновь ощутила волнение, своеобразный трепет и предвкушение...

Думается, сказать, что роман Наталии Костюченко автобиографичен, будет не вполне точно. Как бы пафосно ни звучало, это исповедь. Это необычайно искренняя история, где я верю

каждому слову. Это история, где автор не пытается себя возвысить, но и не занимается унизительным саморазоблачением. Это история, рассказанная очень достойно.

Но перед тем как обратиться непосредственно к произведению, считаю необходимым сделать оговорку. В литературоведении, как известно, не принято отождествлять автора с лирическим героем. Существует масса условий и условностей, определяющих границы автобиографизма и так называемые формальные признаки исповедального дискурса. Так вот в данном случае позволю себе не придерживаться правил и буду рассматривать произведение именно как подлинную историю автора, не подвергая сомнению ее достоверность и не пытаясь дифференцировать уровни реальности и художественного вымысла.

По своей сути роман «Верба над омутом» — это история женщины. Женщины, которая чувствует свой внутренний потенциал и пытается самореализоваться, которая стремится к гармонии с собой и с внешним миром... Женщины, которая, по большому счету, просто хочет быть счастливой. Но если бы Наталия Костюченко не обратилась к самым ранним своим воспоминаниям и впечатлениям, связанным с ее детским воприятием окружающей действительности, глубинные и сокровенные начала личности автора, вероятно, не стали бы столь понятны, какими они в итоге явились.

Глава «Молчание» выступает неким прологом ко всей истории. В ней отражены ключевые моменты, повлиявшие в дальнейшем и на судьбу героини, и на ее мировосприятие в целом. «Родители привезли меня из деревни, где я росла у бабушки, в Минск. Здесь они жили и работали, и к этому городу предстояло привыкнуть мне. Однако в то время воспринять и полюбить Минск, почувствовать себя комфортно в городской среде мне не удавалось. <…>

Детский сад — непонятное и чудовищное для моего восприятия заведение. Родители решили, что мне нужно привыкать к окружению детей, чтобы учиться общаться. До этого я не знала ограничений в свободе и привыкла к непритязательности корректировки моего поведения бабушкой. Здесь же, в саду, я испытала настоящее потрясение от того, что нужно строиться в пары или в шеренгу, одновременно с другими детьми садиться и вставать из-за стола, произносить хором: «здравствуйте», «спасибо», ложиться спать в кровать, где со всех сторон были такие же кровати, и лежать только на правом боку… И казались чужими и неприятными из-за какого-то искусственного, казарменного духа стены, асфальт, песочницы и стриженые, словно выровненные под линейку, газоны и кусты… И даже сам запах города угнетал и отталкивал.

И это все после тех белесых песчаных деревенских дорог, по которым я любила ходить босиком, после трав, звенящих кузнечиками, разноголосицы птиц, после ласковой бабушкиной хаты с ее странными, терпкими и одновременно сладковатыми ароматами…»

Детство, проведенное в деревне, доверительные отношения с бабушкой, роскошная природа, ощущение свободы и внутренней раскрепощенности… Все это, словно потерянный рай, будет манить героиню на протяжении всех последующих «взрослых» лет. В родную деревню она будет возвращаться в самые тяжелые моменты жизни, по сути — здесь она всегда будет искать спасения и, несомненно, находить его.

…С переездом в город появляется новый жизненный опыт. Естественно, это осознание своей зависимости от мира взрослых. Это необходимость следовать определенным правилам. Это первая попытка протеста, которым стало молчание… И одновременно, как подчеркивает автор, приходит опыт иного характера: «Тогда впервые проявилось во мне еще одно качество — меркантильность. Я в первый раз поступилась своими, пусть даже глупыми, детскими, но все-таки принципами. Отказалась от них из страха, из чувства выгодности или невыгодности определенного поступка». Иначе говоря, Наталия Костюченко очень тонко показывает, как формируется у ребенка представление о мире, складывается стиль поведения, как появляется первый опыт взаимоотношений с

обществом… «Молчать — это плохо или хорошо? Это больно или приятно? Грустно или радостно? Все зависит от того, почему ты молчишь: из-за комплекса неполноценности, стеснительности или затем, чтобы полнее слышать и видеть окружающий тебя мир. <…> С раннего возраста человека усиленно обучают навыкам речи, но если бы взрослые, наряду с этим, оставив свой субъективный деспотизм, в каждом еще хрупком и беззащитном ребенке также пытались сохранять и развивать его способность к молчанию! Иногда с удивлением сама себе признаюсь: как часто в жизни я раскаивалась в том, что говорила, — но никогда, что молчала». Автор показывает то, с чем, полагаю, сталкивался каждый из нас — подчинение общественным нормам и правилам, зачастую в ущерб собственной индивидуальности, вопреки личным принципам; бесконечную череду вынужденных компромиссов, к которым мы то и дело прибегаем на протяжении всей жизни. По моему глубокому убеждению, способность возводить частное в ранг общего является одним из свидетельств одаренности писателя.

Роман Наталии Костюченко концептуален. Анализируя личный опыт, рассматривая частные эпизоды, автор одновременно исследует социально-психологические и нравственные проблемы жизни общества, извлекает из них глубинную суть. Исток психологизма в романе в напряженной саморефлексии, в правдивости и объективности наблюдений. Так, например, в разделе «Добро и зло — две половинки любви», рассказывая о бабушке, с которой связаны самые светлые и трогательные воспоминания, Наталия Костюченко обращается к эпизодам, которые когда-то немало ее смутили. Соседка просит у бабушки одолжить шампунь или мыло, а бабушка «самая добрая и щедрая <…> вдруг пожадничала». Куклу, купленную в деревенской лавке, бабушка просит припрятать, чтобы не обиделась другая внучка… Да, поступки людей неоднозначны. Тот, кто тебе близок и дорог, от кого ты всегда видел только добро, может проявить себя несколько иначе по отношению к другим людям. Это понимание складывается из каждодневных ситуаций, даже заурядных и бытовых… Вспоминается запись из Дневника 1898 года Л. Толстого: «Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека».

Композиция романа «Верба над омутом» по-своему оригинальна. Каждую главу можно воспринимать как самостоятельную и завершенную историю. Но в то же время каждая последующая глава существенно дополняет предыдущие, углубляет смысл ранее изложенного. Все элементы повествования находятся в тесной взаимосвязи и динамичном взаимодействии. В итоге произведение приобретает особенную содержательность, смысловую и эмоциональную концентрацию. Отдельного внимания заслуживает не только каждая глава романа, но буквально каждый эпизод. Для понимания личности автора — особенностей характера, этических и эстетических идеалов, диалектики души — важно все… Важна и история «Вне меня сущее», которая свидетельствует об обостренности мироощущения повествователя, важна и глава «Не сотвори себе кумира», где автор раскрывает свои приоритеты, и «Бесчестье», где речь идет о человеческом эгоизме. И все же среди всех стоит выделить главу «Предательство».

В своеобразном предисловии к этой главе Наталия Костюченко отмечает: «Я глубоко верю, что, оставаясь наедине с собой, далеко не каждый гордится своим прошлым, что многие, терзаясь чувством вины или стыда, хотели бы переписать те или иные страницы жизни наново.

Вряд ли кто способен огласить истинную свою биографию. Она так же редка, как и хорошо прожитая жизнь. Далеко не каждому дано соблюсти себя в полной чистоте, всегда быть свободным от страстей и искушений, тщеславия и зависти, словом, ни разу

не замарать свою душу и не стать предателем. Истинная биография — скорее не о достижениях, а о грехах». Действительно, человек так устроен, что скорее увидит чужие пороки и грехи, чем свои собственные. Мне еще никогда не приходилось сталкиваться с откровенностью такого порядка, как в книге Наталии Костюченко…

Если попытаться определить тему главы «Предательство», то совершенно правомерно будет сказать, что это история о любви — первой и, как мне кажется, единственной. Но история эта такова, что, анализируя события чужой жизни, я с трудом подбираю слова… История контрастна — светла и драматична, романтична и трагична.

…Взаимная симпатия юной городской девушки, порядочной и скромной, и деревенского парня «из плохой семьи» не могла остаться без внимания окружающих. «Людская молва… Люди судили, шептались, обговаривали, смакуя и передавая услышанное в глаза и за глаза. Окружающих, и даже подруг, моя дружба с Федором смущала.

И дедушка, услышав дурное обо мне, однажды зашел в хату и, окинув меня тяжелым гневным взглядом, процедил сквозь зубы:

— Ишь, какова оказалась внучка! Нашла с кем путаться… Дожить до такого позора!»

Во всем, что произошло далее, проще всего было бы обвинить родных и близких. Ведь они действительно предпринимали все возможное и невозможное, чтобы разрушить отношения молодых людей — не только увещевали, стыдили или ругали, но даже шли на изощренный обман… Меня восхищает предельная откровенность автора: «…Встречаясь с Федором, я стыдилась его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. <...> И вместе с моей душевной слабостью зародилось и быстро начало набирать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но настоящее».

Наталия Костюченко отражает свои чувства не только максимально искренне, но и психологически достоверно. …Все начинается с ощущения стыда и неловкости перед окружающими. Затем сомнения в чувствах усиливают письма молодого человека из армии. «Не скажу, что меня совсем не смущали ошибки в письмах Федора и некоторая ограниченность в его способностях выражать мысли. Нет, наоборот. То, каким я воспринимала его во время наших свиданий, и его письма — были разные вещи. Тот, с кем я встречалась, меня волновал и восхищал. Автор же этих писем вызывал во мне странное, противоречивое чувство и… разочарование».

Негативное мнение близких о возлюбленном, некоторое разочарование в своем избраннике и длительная разлука с ним, студенческая жизнь, насыщенная разнообразными событиями, внимание молодого авторитетного преподавателя… «Я нисколько не была влюблена в своего преподавателя, но мне нравилась реакция на его отношение ко мне окружающих. Чувствовала, как постепенно благодаря этому отношению возрастал в среде студентов и даже в глазах мамы мой авторитет. Каждый человек в той или иной степени тщеславен. Я не была исключением».

Во время чтения неоднократно возникало впечатление, что Наталия Костюченко писала свою историю без оглядки на гипотетического читателя. Здесь нет ни малейшей попытки оправдать мотивы своих действий. Все названо своими именами, обо всем говорится прямо и недвусмысленно. О том, например, что от брака с человеком, к которому не испытывала высоких чувств, совсем не ожидала феерического счастья, но, тем не менее, надеялась получить защиту, поддержку, покой… О том, что осознанно шла на этот компромисс. О том, как рассеивались иллюзии. В итоге брак обернулся не только разочарованием, но и трагедией — потерей ребенка. Трагедией, которую во сто крат умножило понимание, что стать матерью шансов больше нет…

Не могу не признаться, что об этих событиях я читала затаив дыхание. В первую очередь потому, что изложенное вызывало невероятное напряжение и сопереживание. Но еще и потому, что боялась излишней эмоциональной

экзальтации повествования. Казалось, голос автора вот-вот дрогнет, сорвется, как бывает с певцами, берущими очень высокие ноты… Ведь не нужно забывать, что автор — женщина, что само по себе подразумевает особенную чувственность и чувствительность. При этом женщина, рассказывающая о себе, о пережитой боли. И если бы Наталия Костюченко позволила себе написать что-то о мученичестве, жертвенности или душевной аскезе, я бы, конечно, не осудила ее. Но выдержанность тона, отсутствие неуместного пафоса и уравновешенность эмоций меня поразили.

В этой же тональности выдержано и дальнейшее повествование, где речь идет о встрече с Федором, о надеждах и планах на дальнейшую совместную жизнь. И о тех причинах, по которым этого не случилось… Известие, что у возлюбленного есть семья, что его жена ждет ребенка, поставило окончательную точку в отношениях. И хотя в романе Наталии Костюченко не содержится информации о том, что именно крах этих отношений подвиг ее к активной деловой жизни, логичная взаимосвязь между событиями прослеживается. «Человеку, как бы ему тяжело ни было, когда он принимает решение, становится легче. И если он решается закрыть одну дверь, перед ним открывается другая». Здесь в повествовании возникает иная эмоция, голос автора приобретает интонации, отличные от предшествующих. Чувство освобождения, своего рода раскрепощение и жажда деятельности… Как следствие — обретение уверенности в себе, новые знакомства, успешный бизнес. И встреча с человеком, в котором почувствовала родственную душу, надежную опору. «…Он был так добр ко мне, так искренне радовался каждому моему успеху, что я чувствовала себя сильной рядом с ним, все больше и больше раскрепощалась и познавала себя новую. Именно благодаря Володе я избавилась от годами изводивших меня неуверенности в себе и необщительности. Я стала вести деловые переговоры, давать интервью на радио, сотрудничать с прессой и телевидением».

Своеобразный оптимизм повествования, перечень позитивных событий, снова наполнивших жизнь яркими красками, создают иллюзию, что с прошлым покончено. Но, как известно, чувства можно «вытеснить», «заглушить» активной деятельностью, только вот окончательно избавиться от них невозможно… Эта аксиома находит убедительное подтверждение в романе. Известие о том, что в семье Федора случилась трагедия — погибла его маленькая дочь, — в одно мгновение разрушило устоявшуюся и размеренную жизнь нашей героини, лишило покоя. Каким явным и острым было страдание, свидетельствует следующий эпизод: «…Это тяжелое, гнетущее чувство, свое подавленное душевное состояние я не скрывала, да и не могла скрыть от Володи. Хотя и понимала, что так, как я, поступают люди, которые думают только о себе. Так поступают эгоисты. Володя же эгоистом не был.

— Что ты, Наташка, мучаешься, — сказал он однажды веселым, подбадривающим голосом, — хочешь, съездим к Федору?

<…>

Я стояла в подъезде этажом выше, когда Володя позвонил в нужную дверь. Я волновалась. Федора могло не оказаться дома, он вообще мог быть в командировке. Ведь мы с Володей ехали без предупреждения, на свой страх и риск.

— Федор вот-вот вернется с работы, — услышала я женский голос. — Проходите, подождете его.

— Спасибо, я подожду на улице, — отказался Володя, и когда закрылась дверь, поднялся на мой этаж».

Этот эпизод отражает и этическую сторону взаимоотношений в семье, и внутреннее состояние героини… Ведь очевидно, что только нестерпимая душевная боль женщины способна была подвигнуть супруга на такой отчаянный шаг, только любовь к ней и понимание ее состояния. Но кроме всего прочего, содержание эпизода добавляет несколько существенных штрихов к портрету автора, нашедшего в себе силы и смелость рассказать о своем довольно жестоком по отно-

шению к мужу поступке. И главное, как мне кажется, этот эпизод неизбежно вызовет у читателей ассоциации с какими-то личными ситуациями и событиями. Возможно, заставит задуматься о том, как часто, сконцентрировавшись на собственном переживании, мы забываем о чувствах наших близких, бываем к ним безразличны и даже беспощадны…

…Всякий текст, в той или иной мере, есть проекция духовного опыта автора. Убеждена, что опыт Наталии Костюченко обогатит читателя. И не только духовно, но интеллектуально и эмоционально.

А в заключение мне хотелось бы сказать вот о чем…

Я не стану полемизировать с авторитетными учеными, которые, цитируя друг друга, доказывают, что исповедь в литературе немыслима. Так, например, доктор филологических наук, профессор А. О. Большев (Санкт-Петербург) утверждает: «Да, искренняя исповедь невозможна, сам замысел быть искренним уничтожает искренность», — но лишь тогда, когда автор рассказывает о себе напрямую, без нарративной маски или же других защитных механизмов. Опосредованная же и завуалированная форма саморефлексии позволяет достичь очень высокой степени откровенности». …Наталия Костюченко написала свою исповедь без «нарративной маски». Было ли бы произведение «откровеннее», если бы автор «спряталась» за лирической героиней? Сомневаюсь. Думаю, что именно в этом случае повествование утратило бы и подлинность чувств, и глубину эмоций, и психологическую достоверность… По моему мнению, литература не всегда укладывается в строгие теоретические рамки и равно, как история, не знает сослагательного наклонения. А потому рассуждать о том, «как это было бы, если бы…», нет смысла. Роман «Верба над омутом» состоялся. Это действительно исповедальная автобиографическая история, содержащая черты философской и психологической прозы. Эта история глубока и содержательна.

И последнее. Должна признаться, что не ставила перед собой задачу написать рецензию. Хотела только поделиться личным мнением, своим восприятием романа. Ведь написать рецензию на эту книгу — все равно что написать рецензию на жизнь…

Лада ОЛЕЙНИК



Спасение через жертву

Новая повесть «Нежность звездного неба» известного белорусского писателя Алеся Мартиновича, создавшего около пятидесяти литературоведческих, документальных и историко-художественных книг, недавно вышла в издательстве «Літаратура і Мастацтва», пополнив собой ряды произведений, основанных на исторических документах.

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся Мартиновича — это некоторая обособленность автора, человека современного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. Он нередко высказывает мнение или дает оценки происходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в книге, герои которой живут в 16-м веке, можно встретить слова и выражения, никак не соответствующие языковой лексике того времени: инициатива, номинальная власть, оппозиция и др.

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и историческую ссылку на документ, сохранивший особенности средневекового языка: *«Милостивии королю, не имел еси то до сестры нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?»* Или пояснения, подобные этому: «кобылка» — карета, имеющая специальную подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же произведение написано языком легким, читается увлекательно и быстро.

Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что перед ним произведение о любви и страсти — история личной жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и правителя Речи Посполитой, короля польского и великого князя литовского Сигизмунда Августа.

Действительно, в повести, которая изобилует известными именами и фамилиями, речь идет не о государственной и политической деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, а, казалось бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с незапамятных времен. Но так ли это на самом деле? Не спорю, что о любви писать рука поэта, да и прозаика тоже, не устанет никогда. Однако, думаю, что серьезный автор, которым является Алесь Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. Попробуем разобраться. Для начала рассмотрим то, о чем заявлено открыто.

Итак — любовь и страсть.

По определению крупнейшего мыслителя конца 19-го столетия Владимира Соловьева, положившего в основу своего философского учения принципы христианской этики, *любовь* — это полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жизни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом заключается огромная нравственная сила любви, смысл которой есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма. Соловьев утверждает, что главной движущей силой в этой жертвенности является именно половая любовь (т. е. чувства между мужчиной и женщиной), так как только в ней сохраняется равенство между любимым и любящим. Она приносит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто имел счастье любить.

Признавая важность плоти, философ подчеркивает необходимость ее

одухотворения и просветления, иначе физическое соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою очередь, бывает безо всякой любви.

Словно иллюстрацией к вышесказанному является произведение Алеся Мартиновича «Нежность звездного неба».

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противоположного пола, отсутствие одухотворенности чувств нивелируют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзывчивой дочерью, стать верной женой своему суженому и настоящей матерью своим детям: «*А откуда мне знать, от кого ребенок? — дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по ее мнению, не произошло. — Да и разве это так важно?*». Анна даже не возражает против определения своих незаконнорожденных детей в монастырь, ее не тревожит их дальнейшая судьба. Это женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, прости ее, ибо не ведает, что творит!»

Совершенно другим подан автором образ прелестной Барбары, младшей сестры Анны. Это «*цветок, который радостные родители назвали Басенька... Он все больше распускался, и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... Бася отличалась от сестры своей целеустремленностью, настойчивостью.... Она не просто хорошо овладела письмом, но и умела выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать то, что по сути адресовалось Анне... Ее называли первой невестой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом Княжестве Литовском*».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за которого ее сосватали, не испросив ее мнения, так как это было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-настоящему, искренне.

Однако исторические документы, к большому огорчению, свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станиславом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица же, якобы, стала вести «веселый» образ жизни. Автору повести не хочется в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «*то, что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников — словно кто-то стоял у ног ее и подсчитывал, с кем очередным она встречалась*». Устами матери Барбары автор повести утверждает:

«Нет, не может такого быть! ...Все это только наговоры. Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не дает покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим — что Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать честного человека, причина всегда найдется».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скромной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказались какие-то порочные гены, открыто преобладающие у старшей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, но лично я склонна предположить, что «документы», дошедшие до современников, являются клеветнической грязью, сфабрикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины Литвы, а затем и избранницы короля.

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борьба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказываются пригодны. Интриги, клевета, отравления.

«*В XVI столетии особо прославились в отравлении Папа Римский Борджиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. —* Авт.*) состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде своеобразного коктейля «кантрателла» — в смеси с солями меди и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екатерина Медичи*

эти преступные традиции привезла во Францию. Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт...» Бона Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых из Радзивиллов, не остановилась она и перед новой невесткой — Барбарой Радзивилл.

Возможно, по ее же наущению популярный публицист Польши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти пасквили распространялись повсюду, так, что доходили и до самой Барбары, и до ее возлюбленного.

История знает немало примеров тонко сфабрикованной документальной (дневники, письма, справки, отчеты, газетные заказные статьи и т. д.) лжи, из-под которой с огромным трудом приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце (в зарубежной русской церкви — мученике) царе Николае II, его супруге Александре Федоровне, старце Григории Распутине. До сих пор сильна клевета. Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «*Удивительная и неблагодарная людская натура*!»

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельствует и книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись искусительному воздействию исторических источников, всетаки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившуюся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произведения убедительно ратует ее любовь к Сигизмунду Августу. Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося лишения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные физические боли (вследствие медленного действия яда) не дается людям циничным, пошлым, неодухотворенным, морально опустившимся.

Достаточно яркой личностью предстает в повести молодой король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о государственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчеркивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные дела не могли не требовать его пристального внимания.

Шла борьба между католичеством и протестантством, на сеймах решались реформационные вопросы, проблемы отношений с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединенное польско-литовское королевство (Люблинская уния — основание Речи Посполитой — целиком заслуга Сигизмунда Августа). Кроме того, он был покровителем изящных искусств, науки и литературы.

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл все же заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно — «полное изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос собственного интереса из себя в другое!

Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротивление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и до конца идет к поставленной цели — вознести ее не только до звания жены короля, но и до самого королевского трона. «*От Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарем я дал Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе*».

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так называемыми «постельными» сценами. Однако ему удается при этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат многие современные авторы.

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, например: *«Любовь бесчестной быть не может!»*, *«Так и большая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не оканчивается. Ее может забрать только смерть. И то, если один из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда останется в его памяти»*.

Есть в повести также размышления о такой сложной философской категории, как счастье, хотя с той интерпре-

тацией, в какой его подает автор, описывая сцену встречи Барбары с охотником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Генри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это — как разные породы собак».

Но это мое мнение, ведь представления о счастье и любви были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем Алесем Мартиновичем единодушны: «*Они (Барбара и Сигизмунд Август.* — Авт.*) были счастливы, как счастливы влюбленные во все времена. И как во все времена счастливы по-своему, ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви*».

Жан-Поль Сартр сказал, что «за любое счастье приходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кончилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и последовательно сделал свое дело — героиня умерла, оставив возлюбленного страдать.

Хочется обратить внимание читателей на один факт, являющийся исторической правдой, следовательно, побуждающий к серьезным размышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд II Август, хотя и женившийся еще раз, не оставили после себя потомков. Со смертью же короля вообще прервалась династия Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, попустил такую развязку?

Когда я читала книгу Алеся Мартиновича, меня не покидало ощущение постоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего «фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я ловила брошенные им завистливые взгляды, видела, как совершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как похотливыми руками богатые вельможи тащили в свои постели служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенности, как нарушались присяги и обеты, данные господину, государству, народу и самому Богу...

Нет, нет, не думайте, что все это я в подробностях вычитала в книге «Нежность звездного неба»! Далеко не все. Но я это чувствовала, когда читала ее, так мастерски показал писатель действительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполненная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой — любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок в настоящем и будущем, но и помогает сформировать правильное отношение к происходящему в современности.

Сейчас интерес к прошлому в нашем обществе приобрел широкое распространение. Это похвально, конечно, и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности — этой беды, поселившейся по статистике в каждой пятой семье? Может быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые грехи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на вымирание? Еще есть время покаяться…

Вот так. От любви — к спасению. Спасению души. Вспомним философа В. Соловьева: смысл любви есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву, в которую приносится собственный эгоизм.

Наталья РОДНАЯ



Встреча, обещающая продолжение

Пожалуй, не лучший художественный прием начинать рецензию на книгу с перечисления заслуг ее автора: где победил, что получил, кем отмечен, как зарекомендовал себя. При таком подходе невольно можно перейти к сплошному захваливанию. Какие еще могут быть в творчестве недостатки, если перед тобой звезда. Где тут уж искать на ней «пятнышки». Их нет и просто не может быть. Тем не менее, перечитывая книгу Марии Малиновской «Под прозрачной рукой» (М., Издательство «Щит-М», 2011), никак не могу преодолеть искушение, чтобы не перечислить успехи поэтессы.

Итак. В 2008 году она стала обладателем Гран-при Республиканского молодежного литературного конкурса Союза писателей Беларуси. Годом позже победила в Республиканском молодежном конкурсе «Дебют — Слово.doc». Еще через год была названа лауреатом премии имени академика Дмитрия Лихачева в номинации «Поэзия» (Санкт-Петербург, 2010). 2011 год для М. Малиновской также очень плодотворен: победитель IX Международного молодежного фестиваля литературного творчества «Волшебная строка-2011» в Екатеринбурге, лауреат Всероссийского литературного конкурса имени Николая Рубцова, дипломант Лондонского международного конкурса поэзии «Пушкин в Британии».

Не обошлось без участия М. Малиновской и в различных творческих встречах: 1-е совещание молодых русских писателей Беларуси, VII семинар детских писателей в Мелихово (Россия), X Форум молодых писателей в Липках. Конечно, и печаталась она немало. Стихи М. Малиновской публиковались в «Литературной газете», в московской антологии «Новые писатели». Знакомы с ее творчеством и читатели журналов «Новая Немига литературная», «Нёман», а также «День и ночь» (Красноярск), «Дон», «Петербургские строфы», «Невский альманах», «Второй Петербург», «Парадный подъезд» (Санкт-Петербург), «Вертикаль. XXI век» (Новый Новгород). Да и поэтический сборник «Под прозрачной рукой» — не первая ее книга. Первая, «Луны Печали», вышла в 2009 году, после чего автор ее сразу привлекла к себе внимание ценителей поэтического слова.

В подобном успехе М. Малиновской не было бы ничего удивительного, если бы не ее возраст. Родилась-то она в 1994 году. В родном городе Гомеле окончила государственный областной лицей. Теперь первокурсница Гомельского университета. Поэтому и не удержался я, чтобы не перечислить, сколь многого добилась М. Малиновская в свои — даже не верится! — семнадцать лет.

Воистину уж: не перевелись на земле белорусской таланты. Тем более отрадно, что среди них находятся такие, которые, как М. Малиновская, заявляют о себе очень рано, пробуя голос еще в утреннюю зарю своей жизни. Будто весенние жаворонки над полем, которое оживает после зимы, они сразу обращают на себя внимание. К их голосу — свежему, чистому, нежному — невозможно не прислушаться. Искренние, непосредственные, душа нараспашку, они в своем раз-

витии обгоняют собственный физический возраст. Поэтому и появляется желание вырваться за пределы его. В результате чего и в стихах лирический герой выглядит значительно старше, чем в реальности.

Об этом свидетельствует и новая книга М. Малиновской, эпиграфом к которой взяты строки Чингиза Айтматова «Любовь — антитеза смерти». Всепоглощающим чувством любви наполнены и стихотворения, представленные в этом сборнике. Лирическая героиня, несомненно, сама М. Малиновская, натура мечтательная, эмоциональная, чистая, открытая, она находится одновременно как бы в двух временных измерениях. Прежде всего, конечно, это сегодняшняя, по сути, еще девчушка, вступившая в ту пору своей жизни, когда с ней происходит немало необъяснимого. Однако такое, если можно так сказать, возрастное пробуждение требует отречения от себя прежней. Поэтому и появляется признание, звучащее как крик души:

Страшно быть ребенком, даже хуже,
Чем в тюрьме — оттуда хоть бегут.
Годы беспросветные и туже
Самых тяжких, самых крепких пут.

Чем дальше, тем сильнее этот крик. В нем уже просачивается та невыносимая боль, которая сродни физической. По правде говоря, в какой-то степени она настолько ощутимая из-за того, что приносит не только моральные страдания, а как бы выворачивает наизнанку всю душу, оголяя ее беззащитность. Да и по сути:

Жутко быть ребенком, просто дико,
Если бьется женщина внутри…
Ты не хочешь, ты не слышишь крика —
Ну, тогда хотя бы посмотри…

Это преодоление самой себя в себе, это душевное метание приводит к тому, что лирическая героиня М. Малиновской готова броситься в крайности от ощущения, как ей кажется, безысходности. Ей больно и трудно от своей неприкаянности. Поэтому лирическая героиня М. Малиновской и ищет выход. Ищет и не находит его. Остается только довольствоваться грезами. Поэтому и появляется в ее стихах то, что далеко от реальности. Все это, конечно, может быть. Но позже, когда наступит настоящее взросление. Пока же приходится, «с детской души обдирая кожу», жить мечтами. Отсюда и хотя бы такое признание: «…хочется вместо страницы // Склониться к мужскому плечу…».

Лирическая героиня М. Малиновской, наполненная любовью, живущая ею, жаждущая встретить истинную любовь наяву, вместе с тем не оторвана от окружающего мира. Я бы даже сказал, она является как бы его плотью и кровью. Понимает не только всю его красоту, но и сложность. Характерно в этом смысле стихотворение, суть которого раскрывается уже в его названии — «Мой маленький сАд». К нему примыкает еще одно — «[xxx] Падучие звезды взмывают назад…». Сад, который навсегда остался в памяти, это самые счастливые минуты прошлого. Однако одновременно это и то, что приносит и разочарования, и сомнения, и переосмысление.

Падучие звезды взмывают назад,
И неба не видно от звезд!
Шалеют, сияют, лучатся взахлест —
И это мой маленький сад?
……………………………

Но эта простая небесная быль
Останется даже тогда,
Когда и моя молодая звезда
Сорвется на звездную пыль.

В книге «Под прозрачной рукой» есть немало стихов, свидетельствующих в пользу того, что автор ее не просто не обделена талантом. У нее большие творческие возможности. Однако хотелось бы, чтобы М. Малиновская, будучи, как это видно из ее стихов, в частности, из тех, которые представлены в этой книге, человеком очень эмоциональным, перед тем как доверить свои переживания бумаге, все же более старательно обдумывала то, о чем хочет сказать. В отдельных случаях нелишним было бы лучше отшлифовывать свои строки, избавляться от неточностей. Взять хотя бы это стихотворение, помещенное в разделе «Верлибры»:

В системах исчислений формулах расчетах
Вы искали значение моих губ
Только их не решишь
А если и решишь
то результат не сложишь со своим
Потому что не бывает суммы губ
Это нарушение всех правил
пусть и не установленных
Да и зачем нам сумма
когда есть (крик вдогонку
порог и)
поцелуй
Правда?

Все же, если на то пошло, «значение губ» следует искать, а не решать. Тем паче невозможно решать «системы исчислений формулы расчеты». Впрочем, в данном случае должен был сказать свое слово редактор книги. Как и в некоторых других. К слову заметить, сомнительно: нужно ли было помещать в сборнике эту «головоломку»:

Мерзавец! У меня же… Я же … —
Ударила. И отпустил.

Сверкали звезды, как на страже, —
Его последний, грозный тыл.

Но свет не шел в каменоломню
Стихов моих. Не шел и сон.
Из камня высеку — запомню,
Как уходил Наполеон…

Если же подытожить разговор о новой книге М. Малиновской, то налицо тот редкий случай, когда, образно говоря, ранние цветы не только нежны своей неповторимой свежестью, но в чем-то даже лучше, прекраснее цветов, которые появляются позже — летом, а то и осенью. Правда, если иметь в виду цветы в природе, то некоторые из них такие, как, например, подснежники, появляющиеся рано, недолговечны. Поэтический же цветок М. Малиновской, уверен я, не только не завянет, а наоборот, со временем раскроет свои новые бутоны.

Виктор ЛАРИН



«Мой паратунак — слова»

В столичном издательстве «Минкопэйт» увидела свет книга стихов Марии Кобец «Кроплі».

На первый взгляд, это более чем рядовое событие в нашей (культурной) жизни — мало ли книг, притом не только стихотворных, выходит сегодня. Но это только на первый взгляд. «Кроплі» — первый поэтический сборник Марии Кобец. Правда, уже сегодня по нему можно с уверенностью сказать: в белорусскую литературу пришел серьезный автор. В том смысле, что стихи, по крайней мере, многие из тех, что составили книгу «Кроплі» — это Поэзия. А чем поэзия отличается от стихов? — спросит у меня кто-нибудь. Приведу отрывок из лекции «Слово о поэзии» Поля Валери, прочитанной им 2 декабря 1927 года: «…Поэзия, проза и множество их соприкосновений и переплетений, но сегодня я буду говорить лишь о различиях, о поэзии и о прозе как о крайностях. Настаивая на их противоположности, я позволю себе некоторое преувеличение и скажу, что язык одной своей стороной граничит с музыкой, а другой — с алгеброй».

Так в начале прошлого века выдающийся французский поэт Поль Валери охарактеризовал язык поэзии — он музыка, в отличие от обычного языка, который, как заметил поэт, алгебра. Но, оказывается, Поль Валери был не совсем нов в этом своем, согласитесь, весьма верном выводе, или, если быть точным, сравнении языка поэзии и прозы. Двумя столетиями назад, в XVII веке другой его соотечественник, поэт Франсуа Малерб сравнивал прозу с ходьбой, а поэзию с танцем. По-моему, гениальное сравнение, лучше и не придумаешь! Мы говорим о книге стихов, и думается, эта «справка» вполне уместна. А многим — даже весьма полезна, во всяком случае, узнать это будет совсем нелишним. Как и уместным, и даже обязательным (а иначе кто поверит?) будет пример (поэзии) из книги самой Марии Кобец:

Між водараў лясных,
Бярозавых, хваёвых,
У подыхах вясны
Мне захапленне — слова.
Між зімніх завірух,
Між павадкаў вясновых,
Паміж жыццёвых скрух
Мне адпачынак — слова.
Калі ж мяне адчай
Адолее нанова,
Тады ўжо, выбачай,
Мой паратунак — слова.

Так, совершенно не думая, а возможно, и не подозревая о сравнении поэзии с танцем, Мария Кобец провела свою параллель, сделала свой вывод: ее СЛОВО в данном случае — поэзия. Это тот же танец. Впрочем, танец — это тоже ПОЭЗИЯ, выражение человеческих чувств и эмоций. Правда, не словом, а движением. А какой же танец без музыки? Так что ПОЭЗИЯ — это и танец, и музыка, и, конечно же, Слово. Исключительно так, с заглавной буквы, с красной строки. Тем ПОЭЗИЯ и отличается от прозы и даже от просто стихов — зарифмованного писания «в столбик».

Ты — вада, я — агонь!
Маё сэрца — пажар!
Дакранецца далонь —
Невымерны цяжар.

Не кранай! Твой палон
Не прывабны душы.
Ты — вада, я — агонь!
Ты мяне не тушы!

О книге стихов можно писать много, о любой книге, даже, простите, о бездарной. В последнее время подобные опусы буквально заполонили прилавки. Еще и поэтому, наверное, людям все меньше становятся интересны книги, а тем более книги поэзии.

В самом начале этих заметок я хотел немного рассказать об авторе. Но, думаю, достаточно привести небольшой фрагмент вступительной статьи к сборнику «Кроплі» Анатоля Шушко, другого нашего талантливого земляка-поэта. «Паэзія становіцца для Марыі Кобец часткаю жыцця, яе лекарам…

Крок наперад…
Крок назад…

Штось трывожыць. Штось трымае. Тое так: нялёгка бытаваць таленту, калі ён сапраўдны. Ды верыцца мне, што менавіта апошні дапаможа ў будучым як творцы Марыі Кобец. «Палеская Мадонна з Валішча!» — хочацца ўсклікнуць мне, як земляку, аўтарцы зборніка вершаў «Кроплі».

Да, нелегко истинному таланту. Да еще в глубинке. Мария Кобец — яркая продолжательница лучших традиций ее выдающейся предшественницы с Пинщины, «палескай ластаўкі» Евгении Янищиц. С той лишь разницей, что Мария Кобец живет, работает и творит не в столице, а в родной деревне Валище. Но, повторяюсь, то, что выходит из-под ее пера, можно сравнивать с лучшими образцами белорусской лирической поэзии:

Клубіцца дым у камінах.
Імжыць па сцежках завіруха.
Насупраць злу і цяжкім скрухам
Ляціць душа — падбіты птах.

Или вот еще:

Схамянецца,
Страпянецца,
Хутка-хутка зноў заб’ецца.
Што, скажыце?.. Гэта сэрца!
То кахае, то хвалюе,
То гаруе, то балюе.
То ад шчасця ўскалыхнецца,
Хутка-хутка зноў заб’ецца.
Бо пакуль жыццё даецца,
Не пытае, б’ецца сэрца.

И пусть «б’ецца»! Пусть новые стихи и книги диктует оно талантливой нашей землячке. А еще хочется сказать спасибо руководству Пинщины, СПК «Валище», директору ООО «Деметра» А. М. Попку и директору ЧУП «МиленаАгро» М. М. Буткевичу за то, что поддержали талантливую поэтессу и профинансировали издание книги «Кроплі». Она займет достойное место в литературном строю Пинщины, в белорусской поэзии последних лет.

Валерий ГРИШКОВЕЦ



Максім БАГДАНОВІЧ.
Энцыклапедыя. Складальнікі І. Саламевіч, М. Трус.
Мн.: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011.

Это третья в нашей стране персональная энциклопедия. Ей предшествовали справочники «Янка Купала» и «Францішак Скарына». Работа над энциклопедией «Максім Багдановіч» началась еще в 1986 году по инициативе тогдашнего заведующего редакцией языка, литературы и фольклора БелСэ имени Петруся Бровки И. Соломевича, известного в среде ученых и широкой общественности как Янка Соломевич. Им был составлен словарь, приглашены для сотрудничества ведущие богдановичеведы. Но поскольку начинание имело частный характер, не было оформлено организационно и финансово, да еще вследствие ряда других причин, в начале 1990-х годов прошлого столетия дело остановилось, а подготовленные статьи оказались в архиве издательства. Работу удалось возобновить только в 2008 году по инициативе ученых Национальной академии наук Беларуси, сотрудников Литературного музея М. Богдановича, Национального архива Республики Беларусь, преподавателей Белорусского государственного университета. И вот результат — том, содержание которого можно коротко определить так: все о М. Богдановиче. Кроме статей, посвященных произведениям поэта, отдельным жанрам, образам, статей о его эстетических взглядах, о связи его произведений с фольклором и зарубежной литературой, о воплощении богдановичской темы в изобразительном искусстве, музыке, театре, кино помещен также «Летапіс жыцця і творчасці Максіма Багдановіча» и список основной литературы о его жизни и творчестве. Издание богато иллюстрировано.

Сяргей ДАВІДОВІЧ.
Званы часу. Кніга паэм.
Мн.: Харвест, 2011.

Однотомник Сергея Давидовича «Званы часу», пополнивший серию «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі», уникален не только тем, что в нем представлены 52 поэмы, но и тем, что это произведения разной тематики, в которых автор, а он, как известно, еще и прозаик, художник (кстати, сам же и проиллюстрировал свою книгу), публицист и юморист, неизменно остается самим собой. Лирическому герою С. Далидовича больно и за каждую сломанную травинку в поле, и за безвременно оборванную человеческую жизнь. Он может быть глубоким философом и тонким аналитиком. В его душе есть место любви ко всему живому на земле, но вместе с тем, он находит и сокровенные строки, чтобы искренне говорить о любви к самому близкому человеку на земле.

Міхась КАЗЛОЎСКІ.
Да кніжных скарбаў дакрануся... Нататкі бібліяфіла.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Рассказ о людях, которые очень любят книги, и о книгах, которые сохранились благодаря тому, что однажды попали в руки таких людей, — так можно коротко определить содержание этих «нататкаў бібліяфіла». Сам влюбленный в книгу, Михась Козловский с глубоким уважением относится к тем, для кого она является важнейшей ценностью. В рассуждениях М. Козловского нашлось место рассказу об истории белорусского экслибриса, с увлечением (и со знанием дела) повествует он и о малоформатных и миниатюрных изданиях, а также о судьбе некоторых мастеров книжной графики. Кстати, сама книга «Да кніжных скарбаў дакрануся...» — приятного небольшого формата, что еще больше притягивает к ней внимание, ибо такие издания воспринимаешь еще и хорошим подарком.

Лукаш КАЛЮГА.
Творы. Апавяданні, аповесці.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2011.

Лукаш Калюга принадлежит к тем белорусским писателям, жизненный

путь которых был коротким — родился в 1909 году, погиб в приснопамятном 1937-м. В литературе выступал и того меньше, но след, который оставил в ней, значимый, что видно из однотомника, в который вошли повести «Ні госць, ні гаспадар», «Нядоля Заблоцкіх» и рассказы. О жизненном и творческом пути писателя в предисловии «Чараўнік слова» рассказывает Евгений Лецко, а Нина Гаврош и Тамара Трипутина представляют «Слоўнік Калюгавай мовы», поскольку в произведениях этого писателя часто встречаются особая лексика и фразеология, характерные для родной ему Дзержинщины.

Максим КЛИМКОВИЧ, Владимир СТЕПАН.
Тень ангела. Роман.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2011.

Роман Максима Климковича и Владимира Степана «Тень ангела» — вторая книга в новой серии «Мастацкай літаратуры» — «Детектив — Боевик — Триллер». Это произведение примечательно тем, что написано в нечастом для белорусской литературы авантюрном жанре. Действие происходит то в 20-е годы прошлого столетия, то переносится во времена Великой Отечественной войны. Значителен и пространственный охват: Минск, Москва, Вильно, Варшава, Гданьск. Конечно же, не обойдена вниманием и современность.

Мікола МАЛЯЎКА.
Коласаў абярэг. Дзецям пра Якуба Коласа.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2011.

В предисловии «З любоўю і адказнасцю» сын Якуба Коласа Михась Мицкевич отмечает то главное, что характеризует это издание: «Кніга Міколы Маляўкі — спрасаваны і паэтызаваны аповед пра асноўныя падзеі жыцця і творчасці Якуба Коласа. Аўтар шырока выкарыстоўвае аўтабіяграфічныя сюжэты з жыцця Коласа, выказванні і ўспаміны пісьменнікаў, а таксама блізкіх яму людзей. Тэкст аздоблены паэтычнымі радкамі, вытрымкамі з апавяданняў, аповесцей і п’ес Коласа, рэдкімі фотаздымкамі». Кстати, это третья книга, вышедшая в серии «Гісторыя ў асобах» в издательстве «Мастацкая літаратура» о классиках белорусской литературы, адресованная детям. До этого появились художественные биографии Янки Купалы и Максима Богдановича, написанные соответственно Владимиром Липским и Алесем Мартиновичем. На подходе новые издания, которые, без сомнения, также будут востребованы юными читателями.

Валентин МАСЛЮКОВ.
Рождение волшебницы. Жертва. Роман.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Для тех, кто ценит Толкиена и Льюиса, новая книга Валентина Маслюкова — хороший подарок. А также для знатоков исторических реконструкций и почитателей славянского фэнтези. Впрочем, читатели, которые уже познакомились с романом В. Маслюкова «Клад», улыбнутся. Мол, зачем Америку открывать, и без того известно, что все это так. Первая книга «Клад» быстро нашла сотни своих почитателей, несомненно, это ожидает и ее продолжение, которым и является роман «Жертва».

Нам засталася спадчына. Нарысы, вершы.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

«Наша спадчына» — так называется одна из рубрик известного детского журнала «Вясёлка». Материалы, помещенные в ней в разное время, и составили содержание книги «Нам засталася спадчына», составленной Миколой Малявко, Тамарой Тарасовой и Владимиром Мозго. Получился своего рода учебник по истории родной Беларуси, который от традиционного учебника отличается тем, что написан образно, живо. Это и не удивительно, поскольку среди авторов произведений много известных белорусских писателей, от классиков до тех, кто плодотворно работает в литературе сегодня. Пред-

ставлены разделы «З Богам у сэрцы», «Постаці», «Дзе мы жывём». Автор предисловия главный редактор журнала «Вясёлка», в «Слове да чытачоў» отмечает: «Хочацца верыць, што такія кнігі будуць выдавацца і далей, бо гістарычная спадчына нашай Бацькаўшчыны багатая і цікавая. Ведайце карані сваіх прашчураў. Шануйце традыцыі вашых сем’яў. Любіце Беларусь!»

Анатоль САБАЛЕЎСКІ.
Майстры, падзеі і акалічнасці. Нарысы, артыкулы, эсэ.
Мн.: Кнігазбор, 2011.

Имя Анатоля Соболевского хорошо известно в театральных кругах. Эта книга, конечно, также будет с интересом встречена почитателями его таланта. Как говорит в предисловии «Беларуская школа тэатральнай крытыкі» известный театровед Татьяна Горобченко, «у выданне ўвайшло найбольш істотнае і паказальнае з напісанага А. Сабалеўскім за апошнія дваццаць гадоў. Лічу, што кніга пакуль лепшае яго дасягненне ў названай галіне творчасці. У ёй прадстаўлены фактычна ўсе жанры тэатральнай крытыкі. І па іх матэрыялах можна вучыцца прафесіі. Пры разборы і аналізе апублікаваных рэчаў зусім не абавязкова прымаць іх за ўзор ці вышэйшае дасягненне, але карысць і добрая спажыва для студэнтаў і навучэнцаў, як і ўвогуле для аматараў мастацтва, будзе безумоўнай».

Ганад ЧАРКАЗЯН.
Ноша. Поэзия и проза.
Мн.: Издатель И. П. Логинов, 2011.

Проза и поэзия — словно два крыла творческого полета самобытного писателя Ганада Чарказяна, талант которого и в его новой книге раскрывается в этих двух ипостасях. Как поэт и как прозаик, он и на этот раз верен тому пути, которым идет. Пристально всматриваясь в жизнь, Г. Чарказян чутко улавливает самые тонкие изменения в ней. Так же точно постигает он звучание струн души своего лирического героя, который прежде всего отмечается четкостью своей гражданской позиции, совестливостью, умением чужие радости, беды воспринимать как свои собственные. Такова эта, с позволения сказать, ноша писателя. Поэтому неслучайно и книга названа именно так — «Ноша», но смысл, вложенный в ее название, значительно шире его словарного значения. В этом убедятся все, кто познакомится с книгой, переведенной с курдского языка Валерием Липневичем и Казимиром Камейшей.

Владимир ШУГЛЯ.
Дорога к дому. Книга лирики.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Названия двух разделов новой книги «Дорога к дому» Владимира Шугли — «Мамина тропка» и «И душа, устремленная к Богу» — показывают, благодаря чему поэт чувствует себя уверенно в этой жизни. Обращение к самому дорогому на земле человеку — это возможность ощутить силу своих истоков. Рядом же — размышление о том, с чего начинается вечность, начало которой опять-таки на земле, ибо что бы ни делал человек, живя днем сегодняшним и живя во времени, отведенном ему судьбой, он не может не задумываться над тем, что будет после всего. В. Шугля, как и в предыдущих своих книгах, выступает и как проникновенный лирик, и одновременно ему присущи и публицистические мотивы. Привлекает в стихах и то, что лирический герой поэта — человек, которому не чуждо ничто земное, что он, как и все люди, может в чем-то ошибаться, что-то делать не так. В стихотворении, завершающем книгу, он признается: «За все плачу земную цену: // За счастья дни, что не ценил, // За чувств возвышенных поэмы, // За боль, что близким причинил… // А мог бы, глупый, по-иному — // Не по стремнине… // И не в омут… // Сейчас бы чувствовал покой, // Но то б не я был… То другой…» Этим, как говорится, все и сказано.

Василь СЛУЦКИЙ

Василь ТКАЧЕВ.
Булочка. Юмористические рассказы.
Гомель: Барк, 2011.

У меня в руках новая книга, которая еще хранит запах типографской краски. Это сборник юмористических рассказов моего земляка, известного белорусского писателя Василя Ткачева с довольно аппетитным названием «Булочка». Книга прочитана, но я еще нахожусь под впечатлением. О чем же она? В книге — жизнь в довольно забавных ее проявлениях. Удивляет особое умение, дар писателя находить, видеть смешное, и не только видеть, но и умело использовать это для создания своих произведений.

В книге критикуются человеческие недостатки, которые, конечно же, мешают ее героям жить, заставляют их порой совершать глупости и попадать в неприятные истории.

Взять хотя бы того же Ложкина из юморески «Импортные туфли», который находится под пятой у своей жены и поэтому не может купить себе понравившуюся ему обувь. Или бедолагу Рудькина, который так разнервничался, прячась от контролера в автобусе, что даже смял в руке и выбросил неиспользованный талон на проезд. Герои смешат нас своим поведением и в то же время вызывают сочувствие и даже определенные симпатии. И так — в каждом из рассказов. Книга вся пропитана юмором. А как известно, чем чаще человек умирает от смеха, тем дольше он живет.

Один из героев книги «Булочка», любитель куда угодно записаться, случилось, так промахнулся, что даже попал в списки умерших. В отличие от него, В. Ткачев никогда не промахивается. Он, как хороший стрелок, всегда попадает в цель. И при этом в десятку! А для писателя это значит, что каждая написанная им книга вызывает значительный читательский интерес. К слову, из-под пера В. Ткачева вышло уже девятнадцать книг, а за одну из них, «Снукер», он был удостоен большой награды — стал лауреатом литературной премии Федерации профсоюзов Беларуси.

Борис КОВАЛЕРЧИК



Чтить память предков

В Рогачеве стало уже доброй традицией ежегодно проводить торжественную церемонию вручения приза «Золотой рог». Обладателями почетных статуэток в виде символа города становятся жители региона и уроженцы Рогачевщины, проживающие за пределами области и Беларуси, внесшие значительный вклад в социально-культурное развитие города и района. Среди тех, кому присужден приз в номинации «За личный вклад в формирование преемственности поколений, патриотизм и укрепление национальных традиций», есть и наш соотечественник Александр Ужанов, директор Института социальной памяти Академии военных наук России.

Александр Евгеньевич Ужанов родился 23 июля 1961 года в деревне Каменка Рогачевского района. В 1978 году с золотой медалью окончил Довскую среднюю общеобразовательную школу, в 1983 году с золотой медалью окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В дальнейшем заочно продолжал образование по различным специальностям, более двадцати лет отдал кадровой службе в Вооруженных Силах СССР и России, в звании полковника ушел в запас и занялся научной и общественной работой. Член-корреспондент Академии военных наук, кандидат социологических наук.

В 2005 году Александр Ужанов инициировал создание в Академии военных наук Института социальной памяти, директором которого является по настоящее время. Концептуальная идея этого учреждения — сохранение, укрепление и развитие социальной памяти как гаранта духовно-культурной преемственности поколений, возрождение и популяризация творческого наследия выдающихся государственных и общественных деятелей науки, культуры и искусства. В круг научных интересов и практических целей — ценностей Института социальной памяти — входят такие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, государственность, гражданственность, уважение к прошлому, культурная идентичность, межэтническая толерантность, народный героизм, духовная стойкость.

Вначале под руководством Александра Ужанова было проведено исследование биографии совершенно неизвестного доселе военачальника — генерал-майора Георгия Владимировича Бурмана (1865—1922), родоначальника противовоздушной обороны Петрограда. В конечном итоге оно воплотилось в памятнике Бурману на Новодевичьем кладбище в Москве, открытом 8 декабря 2010 года.

Затем Институт социальной памяти развернул комплексное историко-социологическое исследование, уже международного характера, под названием «Жизнь и творчество во имя и во благо Отечества» — о государственной службе и творческой деятельности русского генерала и писателя с белорусскими и прусскими корнями Владимира Людвиговича Кигна-Дедлова (1856—1908). К настоящему времени в рамках проекта «Полное собрание сочинений В. Дедлова» издано семь книг. Об этом сам автор только мечтал при жизни. В Беларуси восстановлены памятники К. Кигну, его отцу и матери, первой белорусской фольклористке Елизавете Ивановне Павловской. В белорусские и российские библиотеки на безвозмездной основе направлены книги, достойные изучения современниками.

Интересным и очень полезным оказалось исследование А. Ужанова в области отечественного стрелкового оружия, увенчавшееся монографией о прославленном русском конструкторе-оружейнике Михаиле Тимофеевиче Калашникове (родился в 1919 году). Книга вышла в серии «ЖЗЛ. Биография продолжается» в книжно-журнальном издательстве «Молодая гвардия», стала бестселлером 2009 года, автор награжден тремя премиями, в том числе Академией военных наук — престижной премией Александра Суворова.

В числе других исторических персонажей, исследованием которых занимается А. Ужанов, — генерал-майор Николай Михайлович Пржевальский (1839—1888) — путешественник, географ, выхо-

дец из знатного белорусского шляхетского рода; Николай Васильевич Склифосовский (1836—1904) — выдающийся русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии; Адриан Викторович Прахов (1846—1916) — великий русский археолог и реставратор, первый профессор искусствоведения, участник «Мамонтовского художественного кружка», уроженец бывшей Могилевской губернии; Александр Николаевич Лодыгин (1847—1923) — выдающийся русский инженер-электротехник, изобретатель электролампочки и угольной нити накаливания; Иван Васильевич Туркенич (1920—1944) — Герой Советского Союза, капитан, командир молодежной подпольной организации в годы Великой Отечественной войны «Молодая гвардия».

В 2011 году в Москве вышла новая книга члена Союза писателей России, члена Союза журналистов Александра Ужанова «То говор был души моей...». В статьях, интервью представлен уникальный материал о подвижнической деятельности ученого-социолога и журналиста Александра Ужанова по сбережению историко-культурного наследия славянских народов. Впечатляют осведомленность, эрудиция автора, прекрасный стиль изложения материалов, отличный литературный язык текстов книги.

Особую симпатию вызывают идеи А. Ужанова, связанные с формированием корневой культуры в современном обществе, восстановлением семьями во многом утраченных знаний о своих предках, истории своих родов. Ведь в результате грандиозных социальных и экономических преобразований в обществе утрачена общая культура родовых связей. Фактически речь идет о проблеме национальной безопасности, грозящей России и другим постсоветским странам — национальным сиротством.

«Об отце, матери дети еще могут кое-что рассказать, а вот уже о бабушках, дедушках, прадедах, увы, почти ничего, — пишет в своей книге А. Ужанов. — Вот и получается национальное сиротство. Как сказал в свое время поэт Николай Рубцов, надо «преодолеть сиротский смысл семейных фотографий». Социологи подсчитали, что 95 процентов знаний и представлений об истории народа и страны человек получает за пределами семьи и только 5 процентов черпает из семейных архивов, из семьи, своего Рода. Во многих семьях почти ничего не знают о своих предках...». Изучая историю Отечества, социолог и писатель А. Ужанов призывает помнить, что история страны складывается из конкретных семейных историй, базирующихся на генезисе и эволюции родственных связей и отношений.

В своей книге «То говор был души моей....» ученый призывает вернуть в квартиры и дома фотографии дедушек и бабушек, вырастить в каждой семье родословное древо (в духе народной заповеди «посадить и вырастить дерево»), завести в каждом районе и городе Книгу памяти, по аналогии с опытом в Беларуси. Автор полагает, что исторические знания, полученные только через школу, книгу или кинематограф, без личного эмоционального участия не возымеют должного воздействия.

Просвещать и воспитывать в духе социальной памяти — значит подводить каждого человека к главной мысли и основной заботе его жизни — осмыслению себя частичкой своего народа, познания истины бытия народа, человечества и своего предназначения, подчеркивает автор книги. И продолжает: «Чтобы не быть послушным орудием в чужих руках, чтобы до конца жизни сохранять ясное сознание и память, а также ощущать себя цельной личностью с определенным и неизменным набором нравственных ценностей, в числе которых — следование традициям нации, преданность своему роду, любовь к Отечеству и малой Родине, уважение к своей стране и ее гражданам, верность принципам, честность и совестливость и пр., — каждый человек должен быть гармонично встроен в генеалогию и культуру предков, должен беречь и умножать семейный уклад, узнавать и передавать по наследству информацию о своих прародителях. В общем, быть корневым человеком, к чему настойчиво призывал современников русский ученый и богослов Павел Флоренский».

Любовь к своему Отечеству, верность традиции, долгу, последовательность и целеустремленность, подвижничество и духовность — эти святые понятия и качества, свойственные ему самому, Александр Ужанов активно культивирует в обществе.

Михаил КОВАЛЕВ

БРАВО Алена (Елена Валерьевна). Родилась в Борисове. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книги прозы «Каменданцкі час для ластавак» и ряда коллективных сборников. Живет в Борисове.

ШИКУН Семен Семенович. Родился в 1953 г. в г. Иваново Брестской области. Окончил Гомельский государственный университет. Автор книг для детей и взрослых «50×50», «Ток-шоу нашего двора», «Бабушкины заморочки», «И нашим и вашим». Живет в Бресте.

МИЛАНОВИЧ (Тумилович) Жанна Владимировна. Родилась в Минске. Окончила Белорусский государственный политехнический институт. Печаталась в журнале «Нёман», автор поэтического сборника «Напиши мне о счастье». Живет в Минске.

ГУРИНОВИЧ Федор Федорович. Родился в 1950 г. в д. Кривичи Солигорского района Минской области. Окончил Белорусский государственный университет. Автор многих книг поэзии и прозы. Лауреат Литературной премии имени Янки Мавра. Живет в Солигорске.

МАРЧУК Георгий Васильевич. Родился в 1947 г. в Давид-Городке Столинского района Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Прозаик, драматург. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Секретарь Союза писателей Беларуси. Живет в Минске.

ПИСЬМЕНКОВ Алесь (Александр Владимирович). Родился в 1957 г. в д. Ивановка Костюковичского района Могилевской области. Окончил филологический факультет Белгосуниверситета. Автор книг поэзии «Белы камень», «Чытаю зоры» и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси. Умер в 2004 г.

ФЕРБЕР Эдна. Родилась в 1885 г. в г. Каламазу (Мичиган, США). Известная американская писательница. Автор сборников рассказов «Непрожаренный ростбиф», «Эмма Мак-Чесни и К°», романов «Плавучий театр», «Ледяной дворец», «Вот тако-о-ой» и др. Лауреат Пулитцеровской премии. Умерла в 1968 г.